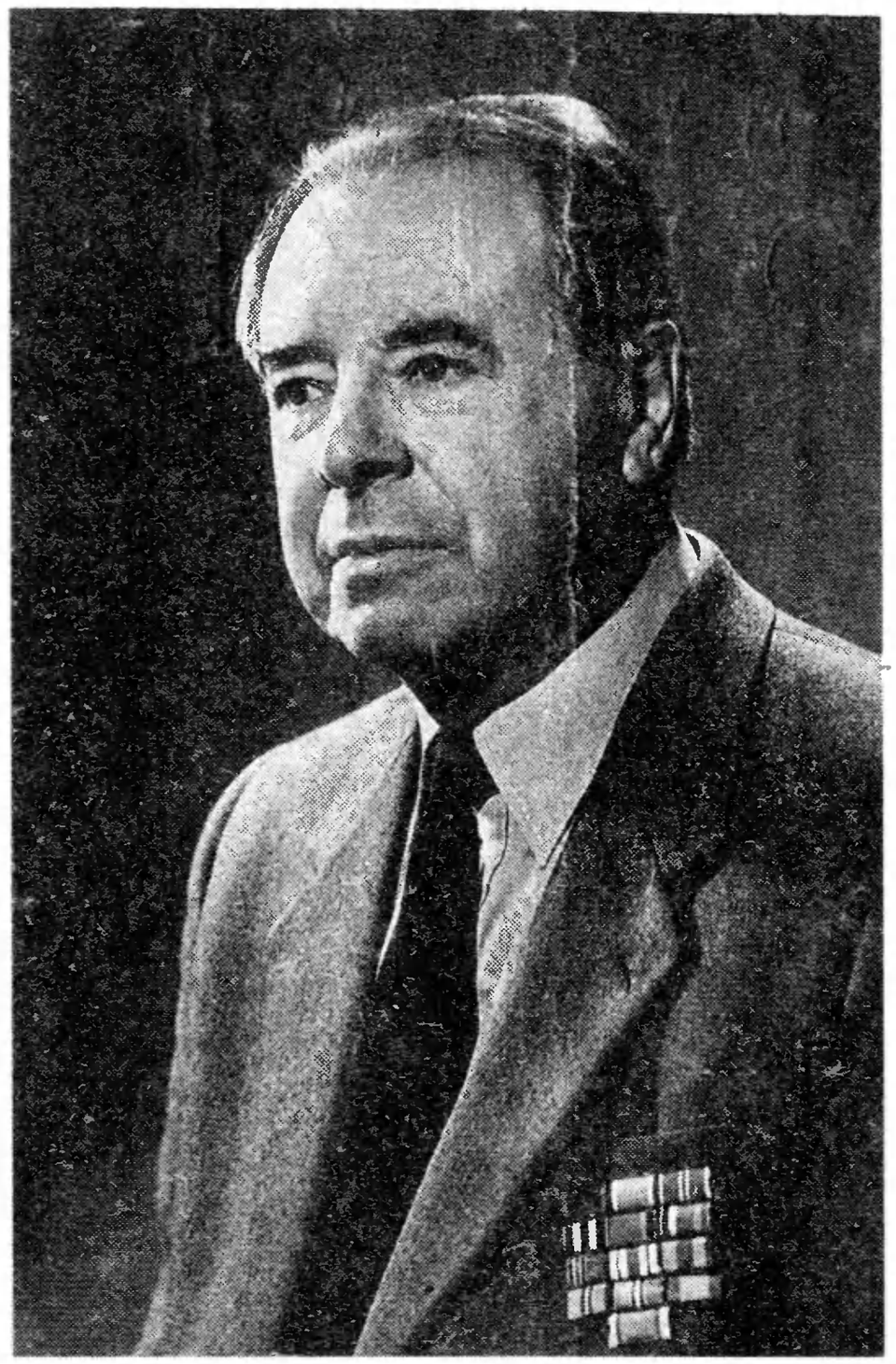
ISSN 0131-6044

РОМАН-ГАЗЕТА

(1157) · 1991

Владимир Успенский

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК ВОЖДЯ



Владимир Дмитриевич Успенский родился в 1927 году в городе Одоеве Тульской области. Участник Великой Отечественной войны. До 1951 года служил в Военно-Морском Флоте. Окончил заочно исторический факультет Архангельского учительского института и Литературный институт имени А. М. Горького. Впечатления юности определили начало творческого пути. Из-под пера В. Успенского вышли повести «Колокол заговорил вновь», «Тревожная вахта», «Бой местного значения», «Ухожу на задание», «Поход без привала», «Афганские перевалы». Он автор двухтомного романа «Неизвестные солдаты», документальных произведений о М. И. Калинине, К. Е. Ворошилове, А. А. Андрееве, Зое Космодемьянской.

Работа в экспедиции в Восточной Сибири, путешествия по Дальнему Востоку дали Владимиру Успенскому материал для создания книг «Дальние рейсы», «Клады и загадки Таймыра», «Утро большой реки», для серии очерков об экономике и перспективах освоения промышленной зоны Байкало-Амурской магистрали.

Более тридцати лет трудится автор над романом-исповедью «Тайный советник вождя».

Владимир Успенский — член Союза писателей СССР, член Коммунистической партии Советского Союза с 1947 года. Имеет боевые и трудовые правительственные награды. Живет в Москве.

РОМАН-ГАЗЕТА
НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ · МОСКВА
7 (1157) · 1991
Основана в 1927 г.

Владимир Успенский
ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК ВОЖДЯ

Книга первая

НЕОБХОДИМОЕ ПОЯСНЕНИЕ АВТОРА

Книга эта серьезна, сложна, в чем-то даже противоречива на первый взгляд, поэтому читателю придется смириться с некоторыми авторскими пояснениями. Когда вышел в свет мой роман-эпопея «Неизвестные солдаты», самый уважаемый наш современный литератор Михаил Александрович Шолохов дал мне рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР. Потом мы обменивались письмами, телеграммами. Я отправил своему Учителю большое послание, в котором весьма нелестно отзывался о мемуарах генерала С. М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны», упрекал автора не столько в фактических огрехах, сколько в стремлении всеми силами скрыть ошибки, просчеты И. В. Сталина и свои собственные. Ради этого генерал использовал малопочтенные способы: умалчивание, передержку, однобокий показ людей и событий. И говорилось в моем послании, что к каким бы ухищрениям ни прибегал Штеменко, а правда только одна, рано или поздно все тайное станет явным.

Резкое было письмо. А Михаил Александрович ответил мне так:

«Дорогой Успенский!

Правда-то одна, но ее нет ни в рецензируемой тобой книге, ни в самой рецензии... С одной стороны — желание обелить, с другой — очернить.

Я вовсе не за «золотую» серединочку, но холодная объективность нужна в обоих случаях. В одном только ты прав: книга Штеменко рассчитана на обывателя (в том числе и военного), и очень жаль, что автор висел над редакторами, а не наоборот!

Обнимаю. М. Шолохов.

21.4.69 г. Вешенская».

Вот тогда и созрело у меня решение с «холодной объективностью» разобраться в том, что связано с жизнью и деятельностью выдающегося человека нашей эпохи — Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну и взялся за это.

© В. Д. Успенский, 1988.

Мне было трудно, очень трудно, особенно в то время, которое называем теперь периодом застоя, когда все, что было связано с именем Сталина, хранилось за семью печатями, когда сам писательский интерес к этой теме вызывал раздражение и подозрение властей предержащих. Работал я без всякой моральной и материальной поддержки, на свой страх и риск, ради дела отказывая себе во многом. Разыскивал, собирал почти исчезнувшие крупицы прошлого, сопоставлял их, обдумывал, пускался на всякие ухищрения, чтобы добыть необходимые материалы.

Помог случай. А может быть, и не случай, а закономерность. Давно известно: когда очень хочешь, когда неотвратимо хочешь и стремишься к чему-либо, тебе поможет даже враг. И уж тем более помогут друзья, единомышленники.

Я искал нужные мне сведения, нужных людей, а в то же время кто-то искал и меня.

* * *

Все началось как в заурядном детективе — с телефонного звонка. Многие писатели в первой половине дня к телефону не подходят, не отрываются от стола — рабочее время. Но я был не особенно занят и снял трубку.

— Товарищ Успенский?

— Да.

— Меня зовут Николай Алексеевич. Здравствуйте.— Говорил явно старик: с хрипотцой и придыханием.

— Здравствуйте.

— Мне очень нужно с вами увидеться.

— По какому поводу?

— Не будем вдаваться в подробности. Вопрос такой, что его не следует обсуждать по телефону.

Да, конечно, это был очень пожилой человек, каждое слово давалось ему с трудом. Говорил он сдержанно, без эмоций. В голосе, однако... этакая командирская нотка. Едва заметная, правда, но все же... Генерал? С военными людьми мне часто доводилось тогда встречаться.

Помедлив, я поинтересовался:

— Не по поводу ли военных мемуаров?

— Слишком важный вопрос,— повторил старик и добавил чуть тише: — В свое время мне советовал обратиться к вам генерал-полковник Белов.

— Он умер.

— Да, к сожалению, Павел Алексеевич скончался в декабре шестьдесят второго года.— Старик назвал точную дату.

С этого момента дело получило совсем другой оборот. Фамилия Белова — надежный пароль. Очень большое место занимал Павел Алексеевич в моей судьбе, очень дорога мне память о нем. Если читателю захочется узнать и понять, почему и как переплелись наши пути, каким образом это отразилось на моей жизни — пусть познакомится с книгой «Поход без привала», которая выпущена Воениздатом в 1979 году, а до этого (сокращенный вариант) печаталась в журнале «Наш-современник».

Все связанное с Беловым для меня свято.

— Когда и где? — спросил я.

Ответ был обдуман заранее:

— Поворот с Рублевского шоссе в Кремлевскую больницу знаете?

— Разумеется. (Еще бы не знать: я живу на Рублевском шоссе. Значит, не только телефон, но и адрес мой известен этому Николаю Алексеевичу. Впрочем, он мог найти его в справочнике Союза писателей СССР.)

— Остановка сто двадцать седьмого автобуса, если ехать из города.

— Понятно.

— Пройдите сто метров дальше по тропинке параллельно шоссе. Жду вас сегодня в двадцать один ноль-ноль.

— Условились.

— Спасибо.— В трубке раздались короткие гудки.

Признаюсь, этот не совсем обычный разговор не только заинтриговал, но и насторожил меня. Свидание вечером на лесной тропинке? Не розыгрыш ли? Но ведь назван Белов, да и голос слишком серьезен... На всякий случай надо захватить кого-то с собой, не объясняя подробностей. Пусть наблюдает издали. В то время в Москве находился мой надежный товарищ, приехавший с другого конца страны. Я позвонил ему в гостиницу и предложил совместить приятное с полезным — прогулку с беседой. Он согласился и, сам не зная того, стал свидетелем одной из самых важных встреч в моей жизни.

Отправляясь на свидание, я думал о том, что скорее всего услышу обычную просьбу: помочь в работе над воспоминаниями. Люди определенного круга знали, что я не только писатель, но историк по образованию, военный историк по призванию. Много раз осуществлял так называемую «литературную запись» мемуаров. А проще говоря, садился и писал книгу за «бывалого человека», используя собранные им документы, его наброски, устные рассказы. Такую работу проделал я с одним высокопоставленным государственным чиновником, с одним полковником, с пятью генералами и двумя маршалами. Разными они были. С некоторыми, наиболее образованными и умными, работали совместно, а один генерал оказался настолько безграмотным, что не мог письменно изложить ни факты, ни самые элементарные мысли. Пришлось «изображать» за него все, от начала и до конца. Благо основные документы были под рукой.

Соглашаясь на такую полутворческую работу, я руководствовался прежде всего не заработком, а ценностью материала, вкладывал свой труд лишь в те опусы, которые обогащали меня. Беседуя с «бывалыми людьми», изучая их личные архивы (при подобной совместной работе люди раскрываются полностью), узнавал такие подробности событий, о которых даже сами мемуаристы не хотели упоминать в своих книгах. А рассказывали охотно, понимая, что иначе эти сведения уйдут вместе с ними. Ведь в государственные архивы попадают далеко не все бумаги. Кроме того, архивы можно подчистить в угоду тем или иным руководителям. А из свидетелей, из участников событий не «вычистишь» то, что они видели, что сами творили!

Итак, солнце еще не скрылось за горизонтом, когда я вышел из дома и вместе с товарищем направился к

месту встречи. Расстояние-то: прогуляться тридцать минут. Было это в мае, когда деревья уже оделись листвой и погода стояла ровная, теплая, с долгими светлыми зорями.

Точно в назначенное время свернул на тропинку и увидел человека, сидевшего, подстелив газету, на стволе поваленного старого дуба. Не сразу он заметил меня, и в течение нескольких секунд, приближаясь, я имел возможность разглядывать его. Китель цвета хаки с отложным воротничком и накладными карманами, какие носили еще до войны, был несколько великоват ему, особенно ворот: похудел, усох, значит, старик. Брюки-галифе заправлены в хромовые сапоги с узкими голенищами. Наверное, нелегко в таком возрасте наклоняться, натягивать сапоги, но привычка, как говорится,— вторая натура. Или сырости опасался в весеннем лесу?

Голова непокрытая и совершенно седая. Даже не седая: уцелевшие еще волосы успели не только побелеть, но и пожелтеть, особенно на висках, где, собственно, и не волосы были, а редкий желтоватый пушок. Только брови сохранили еще темный цвет: кустистые брови с изломом выделялись на восковом, в глубоких морщинках, лице, придавая ему хоть какую-то живинку. Он покойником выглядел бы, если бы не эти темные брови да еще глаза, глянувшие вдруг в мою сторону. Блеснули они молодо, заинтересованно: любопытство и даже тревогу увидел я в них, но взгляд тотчас погас, глаза словно остекленели, стали деловито-равнодушными. Старик умел владеть собой. Когда поднялся мне навстречу, на лице его была приятная, но все же казенно заученная улыбка. Роста он среднего. Если учесть, что годы давили на плечи, заставляя изрядно сутулиться, то в расцвете сил он был, вероятно, не ниже ста семидесяти пяти сантиметров — по себе прикидываю,— имел хорошую строевую выправку, которая угадывалась в нем даже теперь.

Прямой, с едва заметной горбинкой, нос, горделивая посадка головы, тонкие, длинные пальцы, манера держаться с чувством собственного достоинства, никоим образом не унижавшим собеседника,— все это выдавало в нем аристократа, получившего хорошее воспитание. Я сразу понял, что человек этот благороден по сути своей, он не способен искать личную выгоду, «выкручиваться» (ненавижу это мерзкое слово, выражающее столь же мерзкое поведение). Такие, как он, до конца отстаивают то, что считают справедливым, но никогда не унизятся до того, чтобы добиваться успеха беспринципно, любой ценой, любыми средствами. Как он только уцелел в наше время, этот старик, как прошел сквозь страшные бури нашего жестокого века, которые ломали тех, кто не гнулся?!

Еще ни одного слова не было сказано между нами, а я уже проникся уважением к Николаю Алексеевичу, хотя мысленно повторял себе, что нельзя поддаваться первому ощущению. Пожал костлявую, невесомую и чуть вздрагивающую руку:

— Рад вас видеть.

— Спасибо. И коль скоро инициатива принадлежит мне, позвольте сразу, без разведки боем, перейти в наступление,— с улыбкой ответил он.

— Разведка, конечно, уже проведена? И агентурная и войсковая?

— Безусловно,— кивнул Николай Алексеевич.— Подготовка была тщательная. Суть в том,— понизил он голос,— что мне пришлось долгие годы, очень долгие годы работать с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И не просто работать. Мы были друзьями, я пользовался его полным доверием. Время от времени делал заметки. Чаще всего очень короткие, о чем теперь сожалею. Кое-что удалось вспомнить и записать в последние годы. Сохранились некоторые документы, способные пролить свет... — Было заметно, что старик волнуется, ему не хватало воздуха.— Хотел взяться сам... Поздно... Силы не те... И талант нужен...

Он умолк, стараясь справиться с дыханием. Молчал и я, вникая в услышанное. Что это? Писательская удача, которая выпадает далеко не каждому? Великое ли счастье для меня или, наоборот, то испытание, которое собьет с избранного творческого пути, уведет в неизведанные, непролазные дебри?.. Но я всегда руководствуюсь правилом: лучше пожалеть о сделанном, чем о несделанном.

— Извините, мне трудно,— продолжал между тем Николай Алексеевич.— Слишком долго я носил все это в себе. Но пришел срок. И вы, Владимир Дмитриевич, тот человек, которому я полностью доверяю. Полностью верю в вашу порядочность. Мне говорили, что вы из тех, на кого можно положиться.

— Этим я обязан генералу Белову?

— Не одному лишь ему. Знаю, как вы работали с Семеном Михайловичем. Он говорил... Но суть не только в этом. Я считаю, что ваш роман «Неизвестные солдаты» — самая правдивая книга о минувшей войне. По охвату событий, по достоверности ей нет равных. (Прошу читателей простить, это не мои слова, и я обязан их привести здесь, чтобы ясно стало, почему выбор Николая Алексеевича пал на меня.— *В. У.*) Особенно справедлива и важна та идея, тот взгляд на события, который пронизывает книгу. Роль народа. Считаю эту идею единственно правильной. Сие и предопределило обращение к вам... Есть, правда, еще одна причина,— преодолев небольшую паузу, продолжал собеседник,— но это уже личное, об этом скажу потом, если будем работать...

— Приятно слышать... Но давайте уточним: чем я способен помочь?

— Передам вам все материалы, записи, наброски. Расскажу, что смогу. А вы поступайте как считаете нужным. Только чтобы не пропало. Пишите очерки или документальную повесть... Это не должно умереть вместе со мной, понимаете? Вот Белова нет, а дела его прозвучали... Здесь же более высокая, самая высокая ступень. Не сорваться бы, не сфальшивить...

— Понимаю,— сказал я.— Понимаю прежде всего свою ответственность, если возьмусь. Но ваши условия, ваши требования?

— Их два. После меня останется единственный близкий мне человек. Ему жить... Ей жить дальше,— жестко поправил себя Николай Алексеевич.— Нужен такт, чтобы моя откровенность не коснулась ее, не повредила бы ей.

— Можете быть спокойны.

— Благодарю. И еще: сколько вам потребуется времени на работу?

— Не знаю. Но года три — как минимум...

— Хорошо,— кивнул Николай Алексеевич.— Ровно через три года вы вернете все бумаги мне или... или тому, кто обратится к вам от моего имени. Все бумаги,— повторил он.— Из тех же соображений...

— Слово чести.

— Вполне удовлетворен.

— Однако поймите меня правильно: где гарантия, что записи достоверны, что бумаги, документы — не фальсификация? Я даже не знаю, настоящим ли именем назвались вы.. А я не настолько молод, чтобы тратить годы на работу, которая, извините, может оказаться сомнительной.

— Закономерное беспокойство,— удовлетворенно, с чуть заметным оттенком снисходительности, произнес Николай Алексеевич.— В достоверности вы убедитесь, едва возьметесь за бумаги. Они скажут вам сами за себя. Но я предвидел ваши сомнения. Мы вместе встретимся с человеком, которого вы знаете.

— С кем?

— С Георгием Константиновичем.— Глаза старика вновь блеснули молодо и вроде бы даже озорно. Вспыхнули и сразу потухли.— Вы ведь знакомы с ним?

— С маршалом Жуковым? Да.

— Если вас не затруднит — завтра в это же время. Поворот с кольцевой автодороги на дачу Георгия Константиновича вам известен? Там запретный знак.

— «Кирпич», знаю.

— Тогда против этого «кирпича», за автострадой, метрах в ста от дороги.

— В сторону Рублева? — уточнил я.

— Да, там есть въезд в лес.

— Но почему за дорогой?

— Там спокойней,— усмехнулся Николай Алексеевич,— там прогуливаются пенсионеры[1].

Старик заметно устал, хотя и не показывал этого. Вяло шевелился язык, невнятно звучали слова.

— Буду без опоздания,— поспешил заверить я.— Куда вас проводить?

— Спасибо, идите к автобусу.

Метров через пятьдесят, на изгибе тропинки, я обернулся. Возле старика была женщина в темном платье. Белел воротник, но лица я не разглядел. Заметил только, что она стройная, повыше Николая Алексеевича. Взяв старика под руку, медленно повела к шоссе. Там, на обочине, стояла автомашина. Небольшая. Скорее всего, «Москвич».

Хлопнула дверца, заработал мотор. Звук удалился. Тихо стало в сумрачном весеннем лесу, лишь птицы затевали свой вечерний концерт.

Мой дальневосточный товарищ, терпеливо ожидавший в зарослях, обиделся тогда на меня. Не до прогулки мне было, не до разговора с ним. Торопился скорее вернуться домой, подумать о предстоящем свидании с Жуковым, тем более что от первой встречи с ним впечатление осталось не самое приятное. Я видел его у генерала Белова. А Павел Алексеевич и Георгий Константинович были не просто старыми приятелями, но еще и друзьями-соперниками, хорошо чувствовали сильные и слабые стороны друг друга. И если Жуков, сделав рывок в конце тридцатых годов, намного обогнал в службе своего товарища, то ведь оба знали, что этого могло и не случиться, могло быть совсем по-другому. Долгое время шли они «голова к голове», оба были порученцами у Буденного, вдвоем разрабатывали боевой устав конницы. А потом Павел Алексеевич не раз оказывался у Жукова в подчинении, сталкивались их характеры, конфликты порой обострялись до крайности. Но дружбу они сохранили.

Году этак в шестидесятом помогал я Павлу Алексеевичу в работе над его книгой воспоминаний «За нами Москва». А Жуков тогда обдумывал свои будущие мемуары, искал помощников-литераторов. В ту пору Павел Алексеевич и Георгий Константинович особенно часто перезванивались, уточняли ход военных событий, обменивались мнениями, далеко не всегда совпадавшими.

Нам с Павлом Алексеевичем удалось найти редчайшие документы, объясняющие, почему наше контрнаступление зимой 1941—1942 годов под Москвой не получило полного развития и решительного завершения. Это были сведения о поставках военной промышленностью различных видов боеприпасов в действующую армию, о наличии патронов, снарядов, мин на фронтовых складах и в войсках. Цифры потрясающие, хотя и понятные. Ведь значительные наши стратегические запасы были либо уничтожены, либо достались врагу, а предприятия, переместившиеся на восток, только обживались в новых краях. Ну, прямо хоть голыми руками воюй...

Некоторые из цифр, приведенные в книге Белова, использовал потом в своих мемуарах Жуков. А тогда он как раз приехал познакомиться с этими документами к Павлу Алексеевичу на квартиру, на 1-ю Брестскую улицу. И посмотреть фотографии периода боев под Москвой.

Широкая публика представляет себе Георгия Константиновича по портретам и по кино, в котором артист Ульянов попытался воссоздать не только характер, но и внешний облик Жукова. Насчет характера говорить сейчас не буду, а вот внешность получилась очень даже близкой к оригиналу. В жизни, правда, все у Георгия Константиновича было резче и грубей, начиная от большого, тяжелого подбородка до излишне «командирского» голоса, от жесткого взгляда до неколебимой уверенности. Плюс еще мужицкая хитрованная сметка, редко встречающаяся у людей, выросших в интеллигентных семьях.

Когда я увидел его у Белова, выглядел Георгий Константинович вполне браво. Молодой муж, молодой папа. Особенно заметна была его моложавость рядом с быстро старевшим Павлом Алексеевичем Беловым.

Беззлобно подтрунивая над Жуковым, Павел Алексеевич говорил: вот, мол, оказывается, как новая женитьба на пользу пошла. «А что,— отшучивался тот.— И ты давай обзаводись женой и малыми ребятиш-

---

[1] Встреча произошла в середине семидесятых годов. Тогда там был старый, пустынный лес, довольно глухое место. Теперь приблизились дома нового микрорайона Крылатское. (*Примеч. автора.*)

ками. Пороха хватит!» — «Евгению Казимировну свою куда дену?» — «Такая красавица не пропадет...»

Мы долго сидели втроем в небольшом кабинете Белова, разбирали документы и фотографии. Я, естественно, помалкивал да слушал. Человек очень тактичный, Павел Алексеевич понял, что я испытываю некоторую неловкость, сказал Жукову: «Помнишь, Жора, свою директиву от 21 декабря 1941 года: в честь дня рождения Сталина город Одоев взять?» — «Помню. Мог бы пораньше управиться. А то пока захватил, пока донесение пришло...» — «Там, понимаешь ли, немцы были. И стреляли».— «На то он и враг, чтобы стрелять»,— сказал Жуков. А Павел Алексеевич, словно не заметив насмешливости, продолжал свое, обо мне: «Вот Владимир Дмитриевич тогда в Одоеве был, четырнадцать лет ему стукнуло. И я, понимаешь ли, у них в доме остановился».— «Ну, повезло, значит»,— кинул на меня взгляд Жуков. «Кому,— спросил Павел Алексеевич,— кому повезло?» — «Обоим,— колюче усмехнулся Георгий Константинович.— И освободителю и освобожденному».

Был тогда Георгий Константинович в хорошем настроении, весел был, но все равно напорист и резок без надобности...

И вот теперь, при второй встрече, я едва узнал Жукова, настолько он изменился. Мы с Николаем Алексеевичем стояли на лесной дорожке, а к нам приближался старичок в длинной зеленоватой генеральской шинели без погон, в далеко не новой фуражке. Вечер выдался прохладный, сеял мелкий, едва заметный дождик, и Жуков, наверное, озяб, лицо было серое, с каким-то свинцовым налетом. Маленькая собачонка семенила за ним: может, его, а может, бродячая, приблудная.

Георгий Константинович первым уважительно поздоровался с Николаем Алексеевичем. Пошутил:

— О самочувствии не спрашиваю, бодры, как всегда.

И верно, рядом с Жуковым, напоминавшим старого лесника в обходе, Николай Алексеевич выглядел просто молодецки в своем элегантном сером плаще и серой шляпе с небольшими полями.

Мне Жуков кивнул: дескать, узнал. Протянул холодную ладонь — пожатие было сильным. Спросил отрывисто:

— Памятник поставили?

Я сразу не сообразил — кому.

— Павлу Алексеевичу? Знаете, хорошим людям в личных делах не везет даже после смерти. Когда грузили пьедестал, камень поперек раскололся. Скрепили.

— Будет время — съезжу на Новодевичье, поклонюсь,— сказал Жуков и пошел вперед, увлекая нас за собой.

Остановились на просеке. Вокруг — ни души. Жуков повернулся ко мне.

— Николай Алексеевич может ошибаться... Как и все мы,— смягчил он свою грубоватость.— Но неправды от него не услышишь. Товарищ Сталин ценил каждое его слово.— Помолчал, окинув меня оценивающим взглядом.— Будешь работать — не торопись. Перед чинами-званиями не робей. Сегодня чин — завтра пыль... Пиши, как было. Но не затягивай. Пора, пора...

Через несколько дней на Рублевском шоссе, возле остановки автобуса, Николай Алексеевич передал мне два чемодана. И опять вместе с ним была женщина, лица которой я так и не успел разглядеть. Немолодая, во всяком случае лет за сорок. Я решил, что это его дочь.

Тетради и отдельные листы с записями, различные документы, фотографии были рассортированы по годам и событиям, аккуратно уложены в папки. Знакомясь с этими материалами, я думал: как лучше использовать их? Тут и подробные дневниковые заметки, и короткие, взволнованные наброски из нескольких фраз, сухие архивные справки и довольно поэтические зарисовки природы. В общем, это лишь основа для работы. Предстояло найти тот стержень, который может объединить разрозненную мозаику в цельное художественное полотно.

А не является ли лучшим стержнем, лучшим сюжетом сама долгая и насыщенная событиями жизнь Николая Алексеевича?

Все, что следует дальше, рассказано от лица Н. А. Лукашова — он хотел, чтобы была эта фамилия.

Часть первая

1

Иосиф Джугашвили не был хорошим солдатом. Больше того, он был никуда не годным солдатом. Низкорослый, рябой, длиннорукий, он выделялся среди молодых, крепких сибиряков своим нерусским обличьем, медлительностью, солидным возрастом. И выделялся, разумеется, не в лучшую сторону. Фельдфебель Охрименко, бравый служака, отмеченный крестами и на японской и на германской войнах, даже в лице менялся, видя неуклюжую фигуру Джугашвили на левом фланге ротного строя. Всю картину портил ему новобранец. И вообще этот грузин доставил фельдфебелю много забот и хлопот, начиная с самой обмундировки. Выдал ему рубаху по росту — а рукава до локтей. Сменил на два размера больше — рукава как раз, а подол до колен. Шинель каблуки закрывает, не нашлось короче.

Любил Охрименко, чтобы все у него было в полном порядке. Приказал ротному портному подогнать по фигуре обмундирование новобранца. А вот куда определить Джугашвили — эта задача оказалась не под силу даже многоопытному фельдфебелю. На плацу, в карауле от солдата никакого прока. Маршировать, ружейные приемы исполнять, начальству браво ответить — не способен. Выведи такого на смотр — сраму не оберешься. К тому же еще и политический, прямо из ссылки. Смутный человек... Но при всем том очень даже грамотный, вроде бы из духовного сословия, важные господа им интересуются. Одна разодетая дама в шикарной коляске за ним приезжала.

Учитывая все эти разносторонние обстоятельства, фельдфебель Охрименко новобранца не притеснял и службой не обременял. Сперва при ротной канцелярии держал его, чтобы помогал писарю. Но и тут Джуга-

швили надежды не оправдал. Почерк у него был неважный, и казенную бумагу по всем правилам составить не мог. Какие-то лишние, непонятные и подозрительные словечки проскакивали. К тому же офицеры в канцелярию наведывались, а там этот страхолюдный абрек... Пусть уж лучше подальше от глаз при каптенармусе обретается, сапоги да портянки, котелки да ложки считает.

Так рассказывал о взаимоотношениях фельдфебеля и необычного солдата поручик Давнис, временно исполнявший обязанности командира роты. Рассказывал охотно и весело, особенно смакуя и живописуя находчивость бравого Охрименко, всякий раз добавляя новые смешные подробности. Случай сам по себе очень редкий: о каком-то солдате почти каждый вечер говорили в избранном обществе большого сибирского города. И говорили не только со смехом.

Теперь самое время объяснить, как в этом городе, в этом обществе оказались мы с женой. С начала 1916 года я служил в штабе Юго-Западного фронта, командовать которым назначен был замечательный полководец Брусилов Алексей Алексеевич. Он хорошо знал меня и весьма благожелательно относился, видя во мне надежного сторонника его смелых идей, начинаний. Летом, когда успешно развивалось наступление наших войск, вошедшее в историю под названием «Брусиловского прорыва», я был направлен в 8-ю армию генерала Каледина, действовавшую на главном направлении, стремившуюся отбить у германцев город Ковель. Мне было предписано наблюдать за действиями больших сосредоточений нашей артиллерии, предназначенной для прорыва глубокой и сильно укрепленной обороны противника. В обязанность мою входило также анализировать взаимодействие артиллерии и пехоты не только при прорыве укрепленных позиций, но и в глубине вражеской обороны; выяснить способность артиллерии разных калибров сопровождать пехоту, прокладывая ей путь огнем на промежуточных и отсечных позициях неприятеля.

Работа была интересная, мне передавали, что сам Брусилов читает мои донесения, и это было весьма лестно. Однако, как частенько случается на войне, дело мое неожиданно прервалось. В конце июня артиллерийский дивизион, с которым я продвигался, попал в очень трудное положение. Германская пехота упорно атаковала наши позиции, в некоторых местах совершенно истребив пехотный заслон. Когда начинался этот бой, меня ранило в ногу, я пролежал в землянке до той поры, пока стало известно, что все офицеры дивизиона перебиты, возглавлять отражение неприятеля некому. К счастью, рана была не очень болезненной, я выбрался из землянки и принял командование.

Атаки мы отразили, но меня контузило и покалечило еще раз. Взрывной волной бросило на лафет пушки, ком земли ударил в грудь с такой силой, что я несколько дней едва дышал, теряя сознание от боли. Опасался, что легкие совершенно отбиты.

Санитарный поезд доставил меня в Омск, в небольшой и очень уютный госпиталь с хорошими врачами, где здоровье мое быстро пошло на поправку. Вскоре я с палочкой гулял по двору и чувствовал себя довольно бодро, только в груди поламывало, особенно когда менялась погода. Доктор предупреждал меня: остерегайся туберкулеза.

Там я получил от своей милой жены длинное письмо, в котором тревога и беспокойство смешивались с радостью, что я, слава богу, живой и наконец, впервые с начала войны, нахожусь далеко от «этого ужасного фронта». И она, конечно, не может не воспользоваться случаем увидеть меня и ухаживать за мной, а поэтому без промедления выезжает в Омск. И еще написала жена: после излечения мне, наверное, дадут отпуск для окончательной поправки здоровья, и хорошо бы провести это время вдвоем, как можно дальше от «ужасной войны». Ее подруга, родственница вице-губернатора Восточной Сибири, давно и настоятельно зовет к себе в гости и будет очень рада принять нас. У нее хороший дом в Красноярске и есть еще охотничий домик в тайге на берегу Енисея, откуда можно верхом добраться до знаменитых красноярских скал-столбов. При домике настоящая сибирская баня и целый подвал местных солений и маринадов.

Как устоишь перед такими соблазнами? Я посоветовался с врачом, он сказал, что сибирская зима мне будет полезна (только на большие морозы не выходить), а отдых на лоне природы полезен вдвойне. Я тут же ответил жене, что с нетерпением жду ее.

Началась самая счастливая полоса в нашей жизни с Верой — Вероникой Матвеевной. Обвенчались мы незадолго до войны и лишь несколько недель провели вместе. Тогда была радость узнавания, привыкания. А теперь не только повторился медовый месяц, теперь мы, умудренные войной, дорожили каждым днем и часом, радуясь тому, что они выпали нам, и старались не заглядывать в туманное будущее. В первый же вечер в Красноярске отправились на каток, кружились там под звуки гарнизонного духового оркестра, и я даже забыл про боль в ноге, про затрудненное дыхание.

Жена моя была просто чудо. Говорят, что для каждого человека есть на свете его половина, с которой только он и может вкусить всю прелесть жизни. Люди стремятся найти, разыскать свою половину, да редко кому удается. Отсюда и разочарования, несбывшиеся надежды, искалеченные судьбы, многие другие беды. А мы с Верой нашли друг друга... Впрочем, иногда у меня появлялась мысль, что Вера с ее тактом, ее умом и чуткой душой могла бы составить счастье любому порядочному человеку, а мне просто повезло встретить ее.

Красота Веры была неброской и раскрывалась скорее дома, нежели на людях. Увы, есть такие женщины, и их немало, которые в обществе всегда приятно возбуждены, умело подкрашены, напудрены, причесаны. Способны пококетничать, словцо острое или интригующее к месту вставить. Они блещут на балах, на приемах, в театрах. На вечеринках. Они привлекательны, за ними ухаживают, особенно мужчины под хмельком. Но поглядите на этих женщин потом, дома, когда они, усталые и вялые, сбрасывают с себя мишуру, стирают краску, являя преждевременные морщины и нездоровую кожу, испорченную злоупотреблением косметикой.

Особенно неприятны подобные женщины по утрам: с измятыми лицами, раздражительные, ворчливые, неряшливые. С жалобами на мигрени, на дурное настроение. Оживают и веселеют они лишь во второй половине дня, когда вновь надобно наряжаться, краситься, отправляться на люди, очаровывать своим «обаянием». Но каково мужу-то с такой благоверной? Он ведь видит ее в полной реальности, в естественном состоянии, и лишь очень воспитанный человек (или равнодушный супруг, имеющий любовниц) может не показать своего отвращения.

Вероника моя была полной противоположностью обрисованным выше дамам. Как-то уж очень хорошо умела она держаться среди людей. Благожелательно, мило, естественно, без всякой игры, образуя вокруг себя атмосферу, в которой не было места пошлости и интрижкам. С белым лицом северянки, с глазами прозрачно-голубыми, она и волосы имела светлые, и одежду предпочитала светлых тонов. Удивительное ощущение чистоты и прозрачности создавалось вокруг нее. Я говорю прежде всего о чистоте душевной, совершенно не замутненной, может быть, даже несколько наивной. Что-то детское, трогательное было в восхищении Веры красотой всего сущего, мною, нашим с ней счастьем. Все просто и понятно было мне, когда находился рядом с ней, легко различалось дурное и хорошее, важное и случайное. Я не переставал радоваться ниспосланному мне благу. И, живя друг для друга, мы мало внимания обращали на внешние события, на те страсти, которые кипели тогда во всех слоях общества.

К концу шестнадцатого года обстановка в России обострилась настолько, что необходимость перемен ощущалась повсюду, даже в спокойном и благополучном Красноярске. Затянувшаяся война надоела всем. Никто не хотел рисковать собственной жизнью или жизнью близких людей неизвестно за что. За Дарданеллы? Не слишком ли дорогая плата? Даже для меня, кадрового военного, подполковника, получившего специальную подготовку, совершенно неясна была цель этой громадной войны, превратившейся в бессмысленную бойню, кровавую мясорубку. Что же говорить о младших офицерах или о солдатской массе, о всем народе? Боюсь, что ясной цели не видел ни сам Николай II, ни государственные деятели, его окружавшие. В скорую победу над Германией трудно было поверить; да и сама победа — какие перемены, какую радость принесет она, чем окупит миллионные жертвы?!

Русских офицеров, как и все общество, особенно раздражала и оскорбляла обстановка, сложившаяся в доме Романовых. Истерическая царица-немка вкупе с придворными шлюхами без зазрения совести наслаждалась близостью темного, звероподобного мужика Гришки Распутина, выполняя его дурацкие капризы, и в то же время помыкала безвольным и нерешительным своим супругом. Мерзко это было до крайности.

Да, перемен ждали все, от самых низов, от рабочих и крестьян, до генералов и промышленников. Особенно революционно была настроена интеллигенция. Очень многие люди, и я в том числе, совершенно не знали, не понимали, на какой новый путь должна повернуться страна, но в необходимости резкого поворота не сомневались. Царь и его режим утратили авторитет, изжили себя и теперь были для государства тормозом и помехой.

Вот при такой обстановке, при таком умонастроении общества и появился в Красноярске политический ссыльный Джугашвили, который давно выступал за революцию, был дружен с братом казненного революционера Александра Ульянова, поднявшего руку на самодержца. Про Джугашвили говорили, что он бывал за границей, что он один из создателей небольшой, но очень крепкой и радикальной партии. Еще до войны на вечеринке в Петербурге, в Калашниковской бирже, Джугашвили вел себя бурно и смело, во весь голос призывал сбросить царя. Его арестовали и в который уж раз отправили в ссылку, на Енисей, за Полярный круг. Там он и провел несколько лет, и лишь в декабре 1916 года его мобилизовали в армию и по этапу доставили в Красноярск, в 15-й Сибирский запасный полк.

Все эти особые обстоятельства просто не могли не привлечь тогда к Джугашвили внимания публики. Тем более что имя его было окружено загадочным романтическим ореолом, который особенно волнует и привлекает молодежь, незамужних и вдовых дам средних лет, коих в ту военную пору было множество, да и просто любопытствующих. А созданию такого ореола, сама того не желая, во многом способствовала Матильда Васильевна Ч.[1], женщина бальзаковского возраста, весьма эмоциональная и решительная, я бы даже сказал, не боясь обидеть ее, с авантюристическим складом характера. У нее и обличье было соответствующее: прямые плечи, порывистые движения, резкий голос, жесткие волосы цвета спелой соломы, подчеркивающие смуглость лица.

Перед войной случайно и нелепо погибли ее муж и десятилетний сын. Мальчик купался, начал тонуть, а отец, не умевший плавать, бросился спасать его... С трудом оправившись от такого удара, Матильда Васильевна отправилась за границу, вела там рассеянный образ жизни; охотилась в Африке на диких животных, заботилась о каких-то молодых художниках в Бразилии и еще что-то делала, не испытывая затруднений в средствах.

Вообще это был феномен, способный появиться только в разноплеменном государстве Российском. Томная лень армянской аристократки смешивалась в ней с хмельной удалью русского князя-гвардейца, воевавшего на Кавказе; педантичности и расчетливости остзейской баронессы противостояла самоотреченность московского ученого-исследователя, на свои скромные средства отправлявшегося в северные экспедиции. Ну, а кроме всех этих разнообразных качеств унаследовала Матильда Васильевна от предков титулы, положение в обществе и весьма обширные владения, позволявшие ей вести совершенно независимое существование.

Излечив в дальних странах свои душевные раны, эта женщина решила возвратиться на родную землю. Поскольку приехать с запада было затруднительно,

---

[1] Не называю полностью некоторых фамилий, не зная, как к этому отнеслись бы ныне здравствующие родственники. (*Примеч. Н. Лукашова.*)

она через Японию добралась пароходом до Владивостока, а оттуда поездом начала свое неторопливое путешествие по Сибири. Побывала у родственников в Иркутске, а затем остановилась в Красноярске. И не только для того, чтобы покататься на лыжах и принять участие в деятельности дамского благотворительного общества. Последнее явилось для Матильды Васильевны хорошим прикрытием, позволявшим ей бывать в казармах и заботиться о «бедных солдатиках». Особенно об одном из них.

Знакомство Матильды Васильевны не с кем-нибудь, а именно с Джугашвили не было, конечно, случайным. Где-то в дальней стороне виделась Матильда Васильевна со своей подругой — политической эмигранткой, давно не бывавшей в России. Людмила Николаевна (ее фамилию назову при более существенных обстоятельствах) тоже была женщиной оригинальной, независимой, из богатой семьи. Она-то и рассказала странствующей миллионерше о бунтаре, об умном грузине, авторе революционных статей, который безвестно пропадает в сибирских дебрях. Попросила по возможности облегчить его участь. И уж если Матильда Васильевна помогала где-то в Бразилии страдающим борцам, то в своем-то отечестве как не помочь! Опять же дело, забота, возможность приложить свои силы, чего ей так не хватало...

Думаю, что в пылу воспоминаний Людмила Николаевна не удержалась, коснулась не только политической стороны, но и чисто мужских достоинств своего давнего друга. Сие ведь не одними словами выражается, но и интонацией, и особым блеском глаз. Во всяком случае Матильда Васильевна Ч. была весьма заинтригована и, оказавшись в Красноярске, сразу же проявила горячий интерес к Джугашвили. Однако, как ни странно, проявление участия и несколько попыток познакомиться ближе были вежливо, но твердо отвергнуты опальным бунтарем в солдатской шинели. Это еще более разожгло интерес и стремление Матильды Васильевны. Она, попросту говоря, потеряла голову. Об отъезде из Красноярска даже не помышляла. В запасном полку бывала, вероятно, чаще, чем его командир. Где бы ни появлялась, рассказывала о тяжелом положении наших солдат, о несправедливом гонении на мужественных передовых людей. Собеседникам, коим надоедали ее общие рассуждения, ничего не стоило направить речь Матильды Васильевны в более определенное русло, для этого следовало лишь упомянуть фамилию Джугашвили. Слушать о нем было гораздо интересней. Дамы внимали с неподдельным любопытством, некоторые даже с завистью. Поручик Давнис — скрывая усмешку. А моя милая Вера очень страдала за Матильду Васильевну: неловко и обидно ей было, что все переживания этой женщины слишком обнажены и некоторые используют их для своего развлечения и увеселения.

Как и другие люди нашего тогдашнего круга, я, ни разу не видевший Джугашвили, волей-неволей знал о нем много всяких подробностей. Известно мне было, что в ссылке его содержали особенно строго, отправив дальше других революционеров к Ледовитому океану, в станок Курейку, и ему, южанину, было очень трудно в тамошней стуже. И что после долгой полярной зимы родился там у Иосифа Джугашвили сын, которого назвали Александром. (Матильда Васильевна говорила об этом без укора, без ревности, даже с какой-то печальной гордостью: вот, мол, на краю света, в каторге, а мужчина оставался мужчиной...)

Куда-то писала она о Джугашвили, отправляла какие-то запросы, телеграммы, хлопоча о смягчении его участи, об освобождении из солдат. Однажды с сияющим видом поведала нам с Верой вот что. Считают, будто Иосиф Виссарионович сын сапожника, но это не так. Посудите сами: разве поступил бы сын сапожника и крепостной крестьянки в духовное училище, а затем в духовную семинарию? Весь секрет в том, что мать Иосифа была очень красива и не могла не привлечь внимания своего хозяина — князя. Нет ничего удивительного, что князь позаботился затем о развитии мальчика, о его дальнейшей участи. И вполне естественно (при этом Матильда Васильевна лукаво улыбалась), что мальчик, осознав свое двойственное положение, с юных лет проявил недовольство, стал бунтарем. Он был достоин большего, старался расправить крылья. Прошлое тяготило его. Покинув дом, он не возвращался больше в семью, в родные места.

Слушая Матильду Васильевну из вежливости и даже с некоторым любопытством, я не имел ни желания, ни оснований возражать ей. Всякое бывает на этом свете... Солдат-революционер, да еще сын грузинского князя — случай все же незаурядный и не лишенный некоторого шарма.

К месту будь сказано: некоторое время спустя довелось мне услышать еще одну версию о родителях Джугашвили. Отец его, дескать, ни кто иной, как известный путешественник Пржевальский, бывавший в гостях у князя. Даже портреты мне демонстрировали, утверждали, что Сталин и Пржевальский очень похожи, и не только лицом, но и фигурой, осанкой. Я сперва полностью отверг эту версию, так как знал, что в начале 1879 года Пржевальский отправился в свое второе путешествие по Центральной Азии, но затем, прикинув время и расстояние, пришел к выводу: и это возможно. Тем более что месяц и даже год рождения записывали со слов родителей, иногда много времени спустя после того, как ребенок родился.

Из всех этих предположений достоверно только одно: Иосиф Виссарионович не любил вспоминать о Гори, о своем детстве, а если и говорил, то лишь о матери и никогда — об отце, который, судя по всему, в свою очередь относился к Иосифу очень холодно. В тридцатых годах, помнится, я рассказал Сталину на даче обо всех этих версиях. И еще об одной, которую распространяли враги Иосифа Виссарионовича и которая была, по их мнению, причиной того, что Сталин не ездил в родные места. Речь шла об изнасиловании несовершеннолетней девушки, из-за чего, мол, Джугашвили выгнали из семинарии, а близкие и знакомые подвергли его презрению.

Над последней версией Сталин посмеялся: до чего додумались ненавистники! А про отца ничего не сказал. Умышленно или нет — не знаю. Ни возражений, ни утверждений. Хотя вообще-то он тяготел к четкости

и определенности во всем, что имело отношение непосредственно к нему. Однако подобные разговоры между нами будут потом, а тогда, в Красноярске, совсем другие заботы и тревоги обуревали меня. Отпуск близился к концу, чувствовал я себя вполне сносно, и долг повелевал мне возвратиться в действующую армию. Но боже, кто бы знал, как тяжело мне становилось при одной лишь мысли, что предстоит снова расстаться с милой Верой, что впереди мрачная неизвестность. Потомственный военный, я с детства привык к тому, что принять смерть за отечество — не страшно, почетно. Собственная гибель не очень пугала меня до последней встречи с Верой. А теперь я до краев был наполнен радостью бытия, и в то же время росло опасение, что сосуд слишком хрупок. И Вере без меня будет скверно. Я понимал это и чувствовал ответственность за нашу маленькую семью.

Между тем, приложи я некоторые усилия, покриви совестью — и фронт отодвинулся бы от меня на продолжительное время. Многие наши знакомые восприняли бы это как нечто совершенно естественное, не противоречащее офицерскому и человеческому достоинству. Меня поражало, сколько же «окопалось» в глубоком тылу чиновников, крепких молодых людей, а главное — офицеров. Под самыми разнообразными предлогами они отсиживались в тепле и уюте, пережидая войну. Особое раздражение (может, потому что часто их видел) вызывали у меня двое. Уже названный поручик Давнис, человек, пышущий здоровьем, умудрился все военные годы провести за Уралом, не слышал ни одного боевого выстрела. Это был типичный фат, красавчик из аристократических салонов, нагловатый и уверенный в своей мужской неотразимости. Унаследованная от предков-французов способность с неприкрытой, обезоруживающе наивной (я бы сказал, с бесстыжей) откровенностью добиваться у женщин определенной цели часто приносила ему удовлетворение желаний, к чему он и привык. С такими, как он, женщины сходятся беззаботно, играючи, уверенные, что все кончится легко и просто. Раздолье таким фатам в военное время, когда настоящие мужчины в окопах! И хоть много женщин было вокруг, этот щеголь, нимало не считаясь с моим присутствием, выбрал главным объектом своего внимания Веру. Ухаживал за ней упорно, не обижаясь на ее холодное отношение, даже насмешки. Несколько раз я видел, как смотрит он на мою жену издали, и взгляд его — тяжелый, мрачный, исступленный — пугал меня. Так смотрит терзаемый голодом хищник на близкую, но недоступную ему жертву. Он прыгнет, нанесет удар при малейшей возможности: никаких нравственных преград для такого животного не существует.

Он портил мне настроение, этот Давнис, и я, возможно, не всегда был справедлив по отношению к нему. Воспринимал бы его иначе, не добивайся он благосклонности Веры. А теперь даже друг Давниса, повсюду следовавший за ним прапорщик Оглы, вызывал у меня неприязнь.

Странная это была пара: аристократ с холеным лицом, изъяснявшийся на трех языках, и сын какого-то полудикого сибирского князька, едва говоривший по-русски, скуластый, с приплюснутым носом на широком лице, всегда блестевшем, как подгорелый намасленный блин. Глаза у него понимающие, хитрые и жестокие — только заглянуть в них почти невозможно, настолько они узкие.

Прапорщик Оглы много пил, не пьянея, ни с кем, кроме Давниса, не разговаривал. Изредка, когда его очень просили, выпрямлялся во весь свой высокий рост и, налившись яростью, принимался рубить бросаемые в воздух дамские батистовые платки. Ахал, приседая, со свистом рассекал воздух кривой саблей, и располосованный надвое платок опускался на пол. Иногда, изловчившись, прапорщик Оглы успевал разрубить летящий платок на три и даже на четыре части.

Служебными заботами оба приятеля не очень себя утруждали. По нескольку дней пропадали где-то, сказываясь, что на охоте; кутили в ресторанах, катались на тройках. Знающие люди говорили, что отец прапорщика Оглы очень богат, на его землях много ценного леса и нашли золото... Да, для этих молодых людей и война была не война.

Поручик Давнис, появившийся в обществе после одной из попоек, первым принес известие о том, что солдат Джугашвили обмишулился и ему грозит суд. За самовольный уход из казармы более чем на четыре часа: это можно квалифицировать как попытку совершить дезертирство.

— А ведь все женщины, женщины,— смеялся Давнис, поглядывая на побледневшую Матильду Васильевну.— Такой самоотверженный борец за справедливость, но при всем том естество своего требует,— издевался поручик.— А денег мало, какие у солдата деньги? Вот и пошел в Дунькину слободку[1], к самым дешевым. Да еще, может, в очереди пришлось постоять.

Хлопнула дверь — это выбежала из комнаты Матильда Васильевна.

— Поручик, вы бы воздержались при ней,— сказал я.

— Простите, не вижу необходимости.

— Зачем обижать ее?

— Она сама виновата, сотворила себе кумира. Из кого? Из солдата, из политического преступника. Розовой кисеей окутала. Страдалец! А он шасть — и в Дунькину слободу!

— Речь не о Джугашвили,— возразил я.— Не следует касаться Матильды Васильевны.

— Будет исполнено,— шутливо щелкнул каблуками Давнис.— Честь женщины — щит наших пороков.

На том и кончилось бы мое весьма скромное отношение к делам рядового Джугашвили и совсем по другому руслу потекла бы моя жизнь, не прояви тогда свой решительный характер Матильда Васильевна. Она

---

[1] Прошу извинить: запамятовал, Дунькиной или Акулькиной называлась слобода в Красноярске. Старожилы города должны помнить. Обретались там сезонные рабочие, потаенные обыватели, находили приют бродяги. Место было глухое, варначье. Грабежи не в диковинку. Славилась слобода кабаками-притонами да еще бабами, которые за умеренную плату пригревали загулявших мужичков и гарнизонных солдат. (*Примеч. Н. Лукашова.*)

приехала вечером к нам домой, осунувшаяся, в черной траурной мантии. Глаза у нее были как у человека, способного на любую крайность. Она готова была упрашивать, пасть на колени, молить, унижаться... Она любила — эта немолодая женщина. И я тогда всем сердцем любил свою милую Веру и способен был понять силу и муки настоящего чувства. И, подавив самолюбие, некоторую даже брезгливость, согласился встретиться, поговорить с солдатом Джугашвили, хоть и не совсем понимая, для чего это нужно. Замолвить за него словечко перед воинским начальником, перед вице-губернатором и перед губернатором вполне могла и Матильда Васильевна. Но она была настолько потрясена случившимся и так возбуждена, что я не решился ни в чем отказать ей. Выдвинул только одно условие: увижусь с Джугашвили не в казарме. Ехать к солдату мне было бы совершенно унизительно. Матильда Васильевна поспешила заверить, что завтра в полдень Джугашвили будет у нее дома.

— Он не под стражей? — удивился я.

— Его проводит фельдфебель.

По глазам милой Веры я понял, что она очень довольна моим согласием, и это в значительной степени сгладило неприятность встречи с провинившимся солдатом.

День следующий выдался очень хорошим. Морозец держался градусов под тридцать, но совершенно без ветра: дымы над крышами поднимались прямо к ярко-синему небу. Солнце улыбалось лучисто, будто радуясь тому, что наступил перелом зимы, время поворачивает к весне. Розовато отсвечивал снег на склонах сопок, а Караульная гора, высившаяся над городом, сверкала вся, как глазированный кулич.

Велел извозчику ехать дальней дорогой, чтобы продлить удовольствие. Мимо бревенчатых домов с расписными ставнями, мимо высоких, глухих заплотов из толстых плах выкатились мы на простор Енисея, лихо пронеслись до самых причалов. Дышалось легко, я совсем не ощущал боли в груди, как до контузии.

Швейцар принял у меня шинель. Я спросил, здесь ли солдат, и швейцар ответил, что точно-с, здесь, проведен в гостиную, а фельдфебель ожидает на кухне. Не заходя к Матильде Васильевне, я сразу же направился в гостиную, чтобы поскорее покончить с тяготившим меня поручением.

Поручик Давнис явно сгущал краски, рассказывая о рядовом Джугашвили. Старался, чтобы смешней и веселей было. Навстречу мне поднялся с кресла самый обыкновенный солдат, каких много, на которого в другой обстановке я не обратил бы внимания. Он именно поднялся, а не вскочил, не вытянулся, как положено солдату при появлении офицера. Я давно заметил, что людей пожилых трудно выдрессировать до полного автоматизма, а за людей интеллигентных, мыслящих неохотно брались в этом отношении даже самые опытные унтеры. Привить им воинскую выправку гораздо сложнее, чем деревенским парням.

Передо мной стоял коренастый, плотного телосложения человек лет под сорок, со смуглым усталым лицом, на котором заметно проступали рябинки. Лоб невысокий, даже узкий, обрезанный черной полоской коротко постриженных волос. Несколько велик был нос, как у многих кавказских жителей. Показалось, что руки длинноваты и тяжеловаты по сравнению с туловищем. И малоподвижны, особенно — левая. В общем ничего уродливого, вызывающего насмешку, в нем не было, и это успокоило меня. Дело в том, что я с невольной опаской отношусь к людям, имеющим какие-либо отклонения от нормы, какие-нибудь физические недостатки. Такие люди обычно болезненно-мнительны, сами преувеличивают свою ущербность: навязчивая мысль о собственной неполноценности накладывает отпечаток на их психику. Это относится к людям невысокого роста: чем они ниже, тем сильнее психический пресс. Одни из них становятся завистливыми, злыми, мстительными, другие — коварными и хитрыми, третьи одержимы идеей во что бы то ни стало доказать свое превосходство над всеми прочими. Честолюбие движет ими. А случается, что все три качества объединяются в одном человеке. Он становится опасным для окружающих. Образцовым примером честолюбивого коротышки можно считать Наполеона.

Рядовой Джугашвили и ростом был низковат, и внешними достоинствами не отличался, но, повторяю, ничего особенного в нем я не заметил. Вроде бы солдат как солдат. Однако, здороваясь со мной, он пристально посмотрел мне в глаза, и таким пронизывающим был его взгляд, что показалось: Джугашвили мгновенно просветил меня, проник в мою сущность, понял, кто перед ним. Это было неприятно, смутное недовольство возникло во мне. Стараясь приглушить это ощущение, сказал преувеличенно бодро:

— Наслышан о вас, весьма наслышан... А собственно, кто вы по убеждениям?

— Отбывал ссылку как большевик,— раздельно и веско произнес солдат, будто подчеркивая, что ценит каждое свое слово.

— Меньшевики, большевики — странные словообразования. Игранье, забавы какие-то... Говорят, в этих ваших партиях на первых ролях выступают евреи?

— Есть и они,— ответил Джугашвили все столь же весомо, размеренно: голос его звучал ровно, негромко, глуховато.— Мы не придаем особого значения национальности... Мы интернационалисты.

— В принципе это можно понять,— кивнул я.— Если уж рай, то рай для всех. Идеал христианства.

— Церковь обещает рай на том свете, требуя взамен полного смирения здесь, на земле. Но кто знает, есть ли тот свет? — едва заметно улыбнулся солдат.— Мы хотим, чтобы люди были счастливы при жизни. Все люди, весь народ, а не избранные одиночки,— подчеркнул он.

Говорил Джугашвили с чувством собственного достоинства, даже с оттенком некоего превосходства, как с учеником, и это выбивало меня из привычной колеи. Собеседник явно не уступал мне в эрудиции, в умении вести дискуссию, но это был всего лишь рядовой солдат со стриженой головой, а солдатами я привык командовать, передвигать, как пешки, обращаться на «ты» или, в редких случаях, снисходительно-ласково произносить «братец». Однако беседовать в таком тоне

с Джугашвили представлялось совершенно невозможным, и я терялся. А он понял мое состояние. Вновь прострелив пытливым, понимающим взглядом, сказал, словно бы рассуждая вслух:

— Офицеры русской армии, даже самые образованные и передовые, слабо разбираются в вопросах политики.

— Естественно. У офицеров четко определенный круг обязанностей. Заниматься политикой нам официально запрещено. Слуга царю и отечеству — остальное не имеет значения.

— Такая вода — на нашу мельницу,— удовлетворенно продолжал Джугашвили.— На мельницу наших пропагандистов и агитаторов. Офицерам трудно противопоставить что-нибудь веское нашим самым элементарным доводам.

— Не могу не согласиться.

— Даже авантюрист, полуграмотный крикун, прочитавший две-три популярных брошюры, способен победить в споре неглупого офицера и привлечь массы на свою сторону. Иногда это даже плохо.

— Очень плохо,— засмеялся я.— Трогательное совпадение взглядов, хоть и смотрим мы с совершенно разных позиций. В моем представлении любая политическая игра — это, извините, нечто мелкое, пошлое.

— Политика политике рознь,— невозмутимо возразил Джугашвили.— Если добиваться собственной выгоды — это одно. Стараться для людей, для народа — совсем другое.

— Конкретизируйте.

— Народ, например, устал от войны, народу не нужна война, народ против нее.— При этих словах я впервые увидел короткий, энергичный жест Джугашвили: резкое движение согнутой правой рукой с распрямленной ладонью от себя, сверху вниз — сей жест стал впоследствии неотъемлемой частью его облика.

— Возможно,— согласился я.— Но что же нужно народу?

— Ему нужно полное равенство, освобождение от сословных пут. Крестьянам нужна земля. Рабочим — фабрики и заводы.

— А вы спрашивали у него?

— У кого? — не понял Джугашвили.

— Откуда вам известно, что необходимо народу? Вы обращались к нему? Вот вы, сами?

— Почему лично я? Что нужно народу — знает наша партия.

— Сколько их, этих партий, и у нас в стране, и во всем мире?! Каждая декларирует, что именно она выражает интересы народа, страны. Короли, цари, ханы, диктаторы, между прочим, всегда утверждали то же самое... Но господь с ними. Лучше скажите мне, что такое народ? Вон тот извозчик за окном? Или гимназист с ранцем? Или краснорожая прачка с неохватным задом? Или вон тот крестьянин, едущий на базар в надежде охмурить покупателей-горожан? Или проститутка из Дунькиной слободы? — не удержался я.

— И они тоже.— Джугашвили насупился, но голос его звучал по-прежнему ровно.— Однако наша партия выражает прежде всего интересы трудящихся масс, прежде всего рабочих и крестьян.

— Ну, знаете ли, рабочих в нашей стране малая горстка. А крестьяне... Вам часто приходилось бывать в русских деревнях?

— Нет,— качнул головой Джугашвили.— Я не бывал в русских деревнях... Только в ссылке, в Сибири.

— Тогда как же вы беретесь выражать интересы крестьян, не умея отличить супонь от подпруги, супесок от глинозема, волнушку от рыжика, избу от мазанки, чапиги от лемеха? Интересы огромного океана крестьян, составляющих суть, силу России?! У зажиточных, богатых мужиков одни чаяния, у среднего крестьянина — другие, у лодырей, пьяниц, неудачников — совершенно иные: как бы нажраться, ничего не делая.

— У крестьян всех национальностей есть общие интересы,— продолжал свое Джугашвили.— Все крестьяне хотят получить помещичьи, царские, монастырские земли, чтобы трудиться не на эксплуататоров, а для себя.— Он умолк, прислушался, обернулся на звук шагов.

В гостиную вошла Матильда Васильевна. На постаревшем лице ее — холод и строгость. Нервно теребя пальцами бахрому черной шали, она сдержанно кивнула мне, затем Джугашвили и спросила весьма сухо, не хотим ли мы кофе или чаю.

Я посмотрел на солдата. Он молчал, скрывая свое волнение. Матильда Васильевна глянула на него, глаза их встретились: укоряющие, гневные, вопрошающие глаза женщины и возбужденно блестящие — Джугашвили. В его взгляде не было уверенности, твердости, но я не заметил и никакой виноватости, раскаяния и понял, что первой не выдержит, потупится, сникнет Матильда Васильевна. И, прерывая затянувшуюся паузу, сказал:

— Хорошо бы чаю, покрепче.

Женщина быстро вышла. Мне показалось, что Джугашвили, проводивший взглядом ее стройную, гибкую фигуру, подавил вздох, и это развеселило меня. Забавная все же историйка! Ну, чем вам не Лермонтовский герой: горячее сердце под грубой солдатской шинелью с одной стороны и возвышенная романтическая аристократка с другой. Черт возьми, не будь я женатым!...

— Вы, конечно, понимаете, почему она сердится?

— Догадываюсь,— сказал Джугашвили.

— Эко вас понесло, право,— игриво посочувствовал я и сразу же пожалел о своем насмешливо-покровительственном тоне, увидев, как побледнело лицо Джугашвили, резче выделились рябинки. Пожалуй, я переступил грань приличия, пролегающую между равными людьми, солдатская форма сбила меня с толку. Но Джугашвили в этой ситуации оказался, как говорится, на высоте. Быстро справившись с собой, ответил с вежливой гордостью:

— Признателен за ваше участие, но есть определенные сферы...

— Поверьте, я не хотел вас обидеть.

— Понимаю.— Он обошел вокруг стола, остановился против меня, сказал, выделяя каждое слово: — Меня задержали на улице, когда возвращался в казарму. А куда ходил — это сказал я сам.

— Вот как?.. Объяснили бы по крайней мере Матильде Васильевне. Простите, но она очень переживает...

— Она меня не спрашивает и, кажется, не хочет спрашивать. Эта женщина решает и делает все сама, и за себя и за других.

— Вы верно определили ее сущность,— улыбнулся я.— Доверьте мне поговорить с ней.

— Спасибо. Но сначала ответьте, как меня накажут за самовольный уход к этим,— брезгливо пошевелил пальцами,— к девкам из слободы?

— Другого солдата заставили бы уборные чистить. Или на гауптвахту, на хлеб и воду. Но вы политический, могут придраться.

— Это еще вопрос,— сказал Джугашвили.— А если дознаются, что я был в железнодорожных мастерских? Меня начнут спрашивать, что я там делал, с кем встречался...

— Да,— кивнул я,— штрафного батальона не избежать.

— Зачем же мне подводить своих товарищей и себя? — спросил Джугашвили.

В этом был некий элемент скрытности, столь чуждый мне, но логика солдата убеждала. Не возражая по существу, я спросил, несколько даже польщенный его доверчивостью:

— Почему вы не опасаетесь говорить мне все это?

— Не хочу, чтобы думали обо мне плохо,— пояснил Джугашвили.

— Ценю вашу откровенность. И предлагаю вот что. Поскольку над вашей головой сгущаются тучи, не лучше ли вам отбыть в другое место?

— Каким образом? — заинтересовался Джугашвили.

— В понедельник отправляется команда в Ачинск. Это недалеко, но там другие люди, другие командиры, другие заботы. Там формируются маршевые роты для отправки на фронт, а это уже не тыловые забавы.

— Я был бы очень признателен вам.— У Джугашвили чуть дрогнул голос.— Было бы очень хорошо для меня. Мне нужно на запад.

— Считайте, что вы включены в команду. И не благодарите. Ускорить отправку гораздо легче, чем задержать в тылу.

— Да, но есть существенная разница между маршевой ротой и штрафным батальоном,— сказал Джугашвили.— Спасибо.

Разговор был окончен. Солдат медленно пошел к выходу. Мельком глянул в трюмо. По его движениям, по выражению лица я видел, что ему не хочется покидать уютную гостиную, расставаться с достойным собеседником, возвращаться в тесную казарму, где он, рядовой Джугашвили,— ничто, где каждый унтер может безвозбранно помыкать им, где нет для него ровни, где он чужак, объект для солдатских насмешек.

— Трудно вам? — невольно вырвалось у меня, и теплота моего голоса тронула, растопила его.

— Тяжело,— печально произнес он,— особенно с фельдфебелем. Весь месяц. Совершенно не укладываюсь в его рамки, никак не найдет мне подходящее место, втискивает в прокрустово ложе.

— Вы какого года призыва? — спросил я, подумав, что в службе от Джугашвили нет никакой пользы, даже наоборот: будет сеять смуту среди солдат.

— Призыв девятьсот третьего,— ответил он.— Ратник ополчения первого разряда.

— Так, так... Ополченец... Это упрощает дело. Можете подать прошение об освобождении вовсе от воинской службы.

— Но какие основания?

— Возраст. Перенесенные болезни. У вас ведь что-то с рукой.

— Подам сегодня же!

— А я сейчас поговорю с кем требуется.

Так закончился этот малый житейский эпизод, о котором я скоро перестал вспоминать.

2

Судьба моя, как и каждого человека, изобилует событиями самыми разнообразными. Многое довелось пережить и увидеть, о многом хотелось бы рассказать. Но, не пытаясь объять необъятное, буду говорить лишь о том, что так или иначе связано с Джугашвили—Сталиным. О тех неведомо кем определенных путях, которые приводили нас к неожиданным встречам. То есть расскажу о том, что стало самым главным в моей долгой жизни.

Когда отрекся от престола Николай II и началась свистопляска со сменой министров и правительств, в самом трудном и неопределенном положении оказались фронтовые офицеры. С одной стороны — ненависть солдатских масс, считавших по глупости, что именно офицеры по своей воле гонят их в бой, на смерть (будто сами офицеры вместе с ними, впереди их, не шли на огонь!), а с другой — полная неопределенность руководства, отсутствие поддержки сверху, лишение прав и привилегий. Высшее начальство требовало продолжать войну до победного конца, причем не помогая при этом фронтовым командирам, а лишь подрывая их авторитет в глазах солдат.

Совершенно не желая заниматься политическими дрязгами, выяснять, кто на данном этапе прав или виноват, какая партия хуже, я попытался определить, что в эти смутные дни важно для меня, русского офицера. И решил: во внутренних наших делах мы разберемся сами, страсти перегорят и угаснут. Неприятности случаются даже в самых хороших семьях. Но скверно будет, коль нашими внутренними неурядицами воспользуется враг, захватит наши западные губернии, достигнет победы, нанесет урон, от которого стране трудно будет оправиться. Значит, цель у меня, у патриота, в данном случае одна: используя любую возможность, бороться против главного нашего врага, против германцев.

С такими благими намерениями вернулся к своему прежнему месту службы, в штаб Юго-Западного фронта, и только там понял, сколь велики происшедшие перемены. Организованной военной силы, как таковой, почти не существовало. Солдаты сами снимали и выбирали командиров, сами решали, выполнять приказ или

нет. Дезертирство было огромное. Фронт еще держался благодаря чувству долга офицеров, унтер-офицеров и солдат старшего возраста, ощущавших хоть в какой-то степени ответственность за судьбу России, но видно было, что скоро все рухнет и рассыплется окончательно. Этому способствовала разлагающая деятельность агитаторов, понаехавших откуда-то в войска. И почти все — евреи. Солдаты жадно слушали их. То есть слушали и впитывали то, что отвечало солдатским желаниям. Солдат не интересовала победа над германцами, не сулившая личной выгоды, их не привлекали рассуждения о социализме, интернационализме и всем таком прочем, зато лозунги о немедленном мире, о равенстве, о дележе земли сразу западали им в головы.

Стремление поскорей вернуться домой, к своим бабам и ребятишкам, подстегивалось понятным, злобно-простым призывом гнать в три шеи всех богачей, делить их имущество. Помещиков — к ногтю, барские угодья — себе. Эти идеи, доступные самой широкой массе, проповедовали эсеры и большевики; разлагающее войска влияние этих партий быстро росло. А противопоставить им было нечего. Упрощать, обращаться к самым первородным инстинктам всегда легче, хотя и опасно. Большевики же, как я понимал, не страшились всеобщего хаоса, жертв и напролом шли к своей цели.

Не застал я, возвратившись на фронт, и своих любимых начальников, под командованием которых привык служить и чьим доверием пользовался. В мае 1917 года генерал Брусилов был назначен Верховным Главнокомандующим и уехал в Могилев. Не оказалось на месте и генерала Каледина. Казаки избрали его атаманом Войска Донского, он направился в Новочеркасск, где и возглавил местное «войсковое правительство». Вместо Каледина в славной 8-й армии, столь ценимой Брусиловым и не раз отличавшейся в боях, были теперь люди весьма для меня неприятные: генерал Корнилов и комиссар Борис Савинков — оба себялюбцы и интриганы. Причем ясно было, что Корнилов стремится к тому, чтобы занять пост командующего Юго-Западным фронтом, чего он вскоре и добился.

Болезненно ощущал я свою бесполезность, бессмысленность своего пребывания в штабе фронта и очень обрадовался тому, что Алексей Алексеевич Брусилов не забыл обо мне: в июле поступило распоряжение о переводе меня к нему, в Ставку Верховного Главнокомандующего. Собрался я быстро, дал жене телеграмму о смене адреса и тотчас выехал по назначению. И каково же было мое разочарование, когда, прибыв в Могилев, я узнал, что генерал Брусилов смещен Временным правительством, а вместо него назначен стремительно делавший карьеру генерал Корнилов. Получилось так: от кого уехал, к тому и приехал. Вот уж воистину свистопляска!

Махнув на все рукой, я, едва вступив в должность, сказался больным (у меня действительно изрядно побаливала грудь) и попросил отпуск для окончательного излечения. При тогдашнем беспорядке и безразличии никто даже расспрашивать меня не стал. Люди уезжали просто так: захотел — и отправился восвояси. А я оформил надлежащие бумаги и лишь тогда поторопился к своей милой жене.

Уезжал с тяжелым сердцем, горько переживая распад нашего многовекового воинского организма. Все мои предки, коих только можно упомнить, служили под славными военными знаменами государства Российского. Генеральских чинов не достигали, не всем это дано, однако сражались всегда достойно и храбро, выходя в отставку либо по ранению, либо по возрасту в звании капитана, майора или полковника.

Среднего достатка дом наш был известен во всей губернии и за пределами ее прежде всего хорошей библиотекой, в коей собраны были книги по военному искусству на различных языках. А еще — всевозможными памятными трофеями, добытыми в баталиях моими предками. Кунсткамера действительно была занимательная. Начиналась она со шведской каски времен петровской борьбы за Балтийское море, похожей на помятую металлическую тарелку с большими полями. Рядом — ключ от немецкого городка возле Берлина, сдавшегося нашим при Семилетней войне. Кривой турецкий ятаган из-под Измаила. Пуговицы с мундира пленного французского генерала. Бухарский халат, привезенный из походов отважного полководца Скобелева. Вражеское ядро из Севастополя. Еще один ятаган с серебряной рукояткой, попавший в глубь России через сотню лет после первого: трофей моего отца из-под Плевны, что в Болгарии.

Ко всему этому надобно прибавить интереснейшую коллекцию боевых наград: медалей, крестов, орденов разных степеней, заслуженных моими предками. Я же к великолепному набору воинских призов добавил маленький, почти игрушечный «манлихер». Целясь в меня, германский офицер расстрелял все патроны и, поняв безвыходность положения, учтиво и с достоинством протянул «манлихер» мне — рукояткой вперед. А я отправил его домой. Невозможно было достать патроны к этому оружию, а без патронов зачем оно на фронте?

С малолетства гордился я нашей семейной коллекцией. В детские и юношеские годы прочитал почти всю нашу библиотеку, знал многое из военной истории, держал в молодой памяти сотни примеров из различных сражений и при всем том чуть было не сделался первым нарушителем давней семейной традиции — служить России на военном поприще. Детское воображение мое потрясли... паровозы, увиденные на картинках, а затем и воочию. Мне казалось, что будущее — за этими скоростными стальными чудовищами, которые побегут по всей земле, все изменяя на ней, объединяя страны и народы. И мне захотелось создавать эти умные машины, управлять ими.

Отец мой к этому времени скончался от мучивших его боевых ран, а мама даже довольна была, что я не стремлюсь на военную службу. Она считала, что я не очень крепок здоровьем, к тому же мягок и впечатлителен. Она говорила, что паровозы — тоже слишком грубо для меня, лучше избрать что-то более достойное, более благородное.

Так и получилось, что вместо кадетского корпуса поступил я в реальное училище своего губернского города, которое и окончил с общим баллом 4,5 (это считалось весьма хорошо). Во всяком случае, такой балл открывал мне двери в любое высшее техническое

учебное заведение, в университет, не говоря уж о военном училище, куда шли, как правило, молодые люди, имевшие общий балл гораздо ниже. Поэтому многие наши знакомые были удивлены, когда узнали о моем намерении стать офицером. А удивляться-то было нечему, к этому времени паровозы стали явлением обыкновенным, я совершенно охладел к ним и, пусть это не прозвучит слишком выспренно, осознал свою высокую обязанность перед отечеством — оборонять оное. В ту пору образованная молодежь неохотно поступала в военную службу. Но ведь кто-то должен заботиться о сохранении и увеличении мощи Российского государства, и на ком же лежит в первую очередь такая ответственность, ежели не на мне, потомственном военном, с детства познавшем боевые традиции, многие атрибуты и закономерности военной науки!

Ну а дальше — обычная лестница. Учеба, служба, звания. Строгий конкурс при поступлении в Академию Генерального штаба, который я преодолел успешнее многих других благодаря фундаменту знаний, заложенному в реальном училище.

Требования в академии были очень суровы, занятия напряженны чрезвычайно, однако и пользу за два года слушатели получали большую. Академия не только расширяла кругозор, но и приучала мыслить самостоятельно, без шаблона, анализировать обстановку, принимать строго обоснованные решения. И вот что любопытно: очень многие воспитанники Академии Генерального штаба, самого высокого военного учебного заведения старой России, впоследствии смогли правильно оценить значение Октябрьской революции, перешли на ее сторону. Во всяком случае, процент «академиков», принявших революцию, значительно выше, нежели во всем офицерском корпусе.

Окончил я академию по второму разряду, то есть без дополнительного курса, готовившего офицеров непосредственно для работы в Генеральном штабе. Дело заключалось в том, что я еще не определил для себя, где же мое место — в строю или в штабах, а посему не стремился особенно на дополнительный курс, не столько дававший новые знания, сколько углублявший специализацию.

После выпуска из академии был период, когда изрядное честолюбие обуревало меня, хотя вообще-то я всегда особенно ценил в людях скромность, сдержанность и даже самоотречение ради службы: примером был генерал Брусилов. Но как было не погордиться втайне собой: молод, строен, с великолепным образованием, с широкими перспективами и... гм-гм, недурен внешне. Лицо, правда, несколько удлиненное, продолговатое, а так вполне, знаете ли...

Оказывается, самоуверенность, некая даже самовлюбленность проступали во мне настолько заметно, что при первом знакомстве даже насторожили и оттолкнули будущую жену мою Веронику, для которой, при ее чуткости, открытости и глубокой порядочности, весьма неприятным было любое зазнайство, напыщенность, фанфаронство. И хорошо, что я сразу понял, угадал: с ней можно и нужно быть только самим собой. Чуть лучше ты или хуже — не это главное. Важна твоя искренность.

Отец Вероники принадлежал к одному из шестнадцати древнейших и почетнейших родов России. К тем боярам, которые имели право избирать царя из своей среды и когда-то посадили на трон Романовых. Но, имея громкие титулы и большие богатства, отец Вероники в браке своем оказался совершенно несчастливым. Супруга его, не родив ни одного ребенка, жила лишь в собственное удовольствие, развлекаясь в свете или «отдыхая» от развлечений на берегу Средиземного моря, годами не видела своего благоверного. Да и он не стремился видеть ее, особенно когда полюбил другую женщину, дочь уездного чиновника, подарившую ему, человеку далеко не молодому, единственного ребенка — Веронику.

Связь эта не являлась тайной для окружающих, но фактический брак не был скреплен формальными узами. И все же отец нашел возможность позаботиться о будущем Вероники. Не унаследовав его титула, дочь получила хорошее воспитание, образование и обширное имение в центре России.

Двухэтажный дом екатерининских времен, с белыми колоннами, украшавшими фасад, стоял на довольно высоком холме с пологими скатами. Старый парк спускался по южному и западному склонам к реке. С противоположной стороны — лес, а за ним — четыреста десятин пахотной земли, которая после реформы шестьдесят первого года сдавалась в аренду крестьянам, принося хоть и не очень большой, но постоянный доход.

В этом благословенном уголке и попытались мы с Вероникой укрыться от стремительно нараставшей бури, надеясь, что пронесется она стороной, над большими городами, не зацепив нас. Опять на длительное время остался я наедине со своей милой женой и снова испытал огромное всепоглощающее счастье. Ощущение легкости, прозрачности, невесомости сохранилось у меня от тех быстролетных недель. Днем мы собирали грибы, удили рыбу или гуляли и шалили, порой даже грешно шалили в нашем пустынном парке. И в доме тоже было гулко, пустынно, дворни почти не осталось: только старая горничная, ее сестра — повариха и сторож-истопник. Да еще верный конюх, управлявшийся теперь не только с лошадьми, но и с коровами и овцами. Это были надежные люди, не поддавшиеся всеобщему поветрию: разрушать, хватать, рвать, грабить.

Мы нисколько не страдали из-за малого количества дворовых людей, даже не замечали каких-либо неудобств. Мы были поглощены друг другом и не очень расстраивались, когда доходили до нас печальные новости. У одного помещика, дескать, отобрали весь скот, у другого взяли всю землю вместе с урожаем; к третьему ворвались ночью вооруженные мужики, разгромили весь дом, а самого выгнали. Подобные сообщения проскальзывали чуть царапая, но не задевая сердце. Наверное, потому, что самое невероятное, самое потрясающее происходило не во внешней среде, а внутри нас. Любовь наша, не утратив своей чистоты и целомудрия, переросла в нечто новое, мало известное мне и совсем неизвестное Веронике. Это было обоюдное раскрытие, обоюдное доверие до конца. Мы познали

друг друга как любовники, как мужчина и женщина. Мы пришли к такому состоянию, о котором нельзя говорить, когда все взаимно доступно и все — радость. Мы с ней соединились в одно целое. Вероника моя даже внешне изменилась, еще более похорошела: округлились, смягчились ее формы, она словно бы созрела, превратилась из девушки в женщину, плавными, грациозными стали ее движения, жесты. Я был без ума от нее, она постоянно волновала и притягивала.

По ночам Вера, утомившись, крепко спала рядом со мной, а меня все чаще и сильней охватывали приступы тревоги за наше будущее, за завтрашний день, даже за эти вот стремительно бегущие ночные часы. Страшное чудилось в разбойном посвисте осеннего ветра, в шуме дождя, в постукивании закрытых ставен. Я поднимался, проверял запор на дубовой двери нашей комнаты и, понимая, сколь ненадежно это укрытие, клал под подушку револьвер, а у изголовья — кавалерийский карабин и гранату.

За себя я не боялся. Нападет мужичье, бандиты — отстреляюсь, уйду. Я же профессиональный военный — пусть являются трое на одного, даже пятеро. Отобьюсь. А нет — значит, так на роду написано: не от руки неприятеля принять смерть, а от своей озлобленной черни. Но как моя Вера, моя наивная, слабая, беззащитная Вера?! Где укрыть ее, как оборонить от опасности?!

В первой половине октября установилась вдруг очень хорошая погода. Солнце пригревало почти по-летнему. И вот в одно теплое лучезарное утро явилась к нам делегация крестьян. Вызвали меня с женой. Мы вышли, остановились на ступенях парадного подъезда. Я был в военной форме.

Мужиков — полтора десятка. Почти все пожилые, бородатые, они сгрудились плотной толпой, выдвинув вперед бойкого крестьянина лет тридцати, с шальными блудливыми глазами, с всклокоченными волосами. Одежда — старая солдатская гимнастерка и шаровары — порвана в клочья, будто собаки драли, сквозь прорехи желтело грязное тело. Мог бы хоть заштопать, латки пришить. Но он даже вроде бы рисовался, гордился драньем и грязью, как рисовались юродивые, старавшиеся в самоуничижении перещеголять один другого.

Заговорил крестьянин вполне здраво и даже с претензией на городской манер, и я подумал, что это «отчаянная голова», какие есть в каждой деревне, которых осторожные мужики выпускают на ударную позицию для разведки, для выяснения обстановки. А сказал он примерно следующее:

— Барин и барыня, вы на нас не серчайте, мы к вам с добром пришли. Гля-ко, сколь вашего брата вокруг пожгли и поубивали, а вы у нас милуетесь, как у Христа за пазухой. Сами мы вам бед не чинили и другим не дозволяли, потому как на барыню нам грех зуб точить, справедливая барыня. И ты, барин, от войны раны залечивал, это мы с полным пониманием. Но теперича кончилось ваше время насовсем. Если не мы, то другие вас раскурочат и добычей попользуются, а нам это невтерпеж, потому как богатство в имении испокон веков нашим трудом наживалось. Вот и порешили мы всем миром заявить мультиматом.— Мужичонка оглянулся горделиво: какое слово выдать сумел! — И продолжал: — Примайте наш мультиматом без всякой ругани. Чтоб через двадцать четыре часа. Берите два тарантаса, две пары коней. Вещи, которые с собой поднимете, разрешаем... Разве это не по справедливости? — Мужичонка, лихо подбоченясь, глядел на меня, а лицо выдавало беспокойство и даже страх. Что-то теперь будет? И остальные крестьяне замерли в тесной куче, будто испуганные собственной смелостью.

Я не сразу осознал услышанное. Как-то нелепо, глупо все было. Такое чудесное чистое утро — и напыщенная болтовня драного крестьянина, выгонявшего нас из дома. Не укладывалось в голове, что лишаемся мы привычного пристанища, дорогой нам обстановки, вещей. Нас просто вышвыривали. И кто? Безликое мужичье! Грохну сейчас из револьвера поверх голов — и исчезнет, пропадет это стадо.

В ту секунду, когда рука сама потянулась за оружием, почувствовал я вдруг легкое пожатие пальцев Веры, и сразу пресекся порыв: подумал, что станет с ней?

— Скажи им, завтра уедем,— попросила она.— Утром. Так будет лучше.

Я молчал, ошеломленный происходившим. И лишь после того, как Вера повторила свою просьбу, шагнул к мужикам.

— Ну, благодарите барыню... Только ради нее... Завтра нас здесь не будет. А теперь вон с глаз моих!

Крестьяне попятились, кланяясь, и ушли. А ближе к вечеру появились четверо молодых мужиков в солдатских фуражках и с винтовками. Скорее всего — из дезертиров. Они взяли под охрану конюшню и скотный двор, но в дом не входили.

Нет нужды описывать наш скорбный отъезд. Скажу только о том, какой умницей оказалась моя милая Вера, открывшаяся мне в тот раз еще с одной стороны. Ведь ей было, конечно, тяжелей, чем мне. Имение-то принадлежало Вере, здесь она выросла, это было ее наследство, ее приданое.

Вещи наши были уложены в две повозки (мизерная часть того, что хотелось бы захватить), мы уже готовы были тронуться в путь, когда из деревни хлынули мужики и бабы, и не дождавшись нашей отправки, распространились по всей усадьбе, начали дикий, алчный грабеж. Я старался не смотреть по сторонам, не обращать внимания на восторженные вопли, стук топоров, мычание испуганных коров; торопил конюха, уезжавшего с нами, но у него, как на грех, что-то не ладилось.

— Коля, подойди, здесь очень интересно,— позвала меня Вера.

Я подумал, что она отвлекает меня, видя мое взвинченное состояние.

— Оставь, пожалуйста... Нам придется перепрягать лошадей.

— Ты все же взгляни,— попросила она.— Это совершенно неповторимо.

Я поспешно направился к ней. Да, черт возьми, безобразие невероятное! Доброе милое гнездо наше выворачивали наизнанку грубые, нахальные руки. Возле

клумбы, прислоненное к стволу старого клена, стояло большое венецианское зеркало в массивной резной раме из черного дерева: шедевр итальянских мастеров середины восемнадцатого века, с большими предосторожностями доставленное когда-то в Россию и высившееся у нас в гостиной от пола почти до потолка. Как только умудрились вытащить его из дома: вероятно, через большое арочное окно.

— Посмотри, посмотри, пожалуйста,— настаивала Вера.

Я увидел в зеркале ее усталое, бледное лицо, резче проступила на нем черная родинка над правым глазом, ближе к виску. Грустно и извиняюще улыбнулась жена.

— Надо спешить,— сказал я ей.— Скорей покончить со всем этим.

— Милый, ты не на меня гляди. Ты посмотри, всмотрись,— повторила она последнее слово.— Это же картина в раме.

Что там еще? Огромный простор вмещало зеркало. Синее небо, желтый белоколонный фасад нашего дома, склон холма, уголок леса, необъятные дали, дорога к деревне...

— Великолепное историческое полотно.— Горечь и восхищение звучали в голосе Веры.— Если бы это остановить, запечатлеть... На дороге-то что творится! А жанровые сценки! Ты оцени, милый, это же для кисти великого мастера!

Ах, вот она о чем! О мужиках и бабах, муравьиной цепочкой растянувшихся по дороге от холма до самой деревни. Вели наших лошадей, гнали коров, коз, несли кур и гусей, и все это с вороватой поспешностью, с опаской, как бы не отняли те, кто сильней. И доски тащили, и двери, и оконные рамы, какие-то мешки, ящики, узлы. А фон — чистейшей синевы небо. И рама, с четырех сторон отсекающая этот «кусок жизни».

Впрочем, картина была бы неполной, если бы я ограничил свое перечисление, не сказав о «переднем плане», отражавшемся в зеркале.

Две бабы мутузили друг друга, вцепившись в волосы,— не поделили перину; вокруг вихрился пух. Пьяный распоясанный мужик с ночным горшком на голове нес в одной руке японскую этажерку из бамбука, а в другой — бронзовый подсвечник. У крыльца самодовольно улыбалась круглощекая девка, напялив поверх сарафана кружевной пеньюар.

Нет, просто невыносимо было терпеть этот вандализм. Все, что десятилетиями со вкусом, обдуманно собиралось в доме и вместе представляло большую ценность, начиная от библиотеки и коллекций до венецианских зеркал, сейчас ломалось, рассыпалось, растаскивалось по мелочам, было обречено на уничтожение. И видеть это в красивой раме было особенно горько и стыдно.

— Разбить? — спросил я жену.

— Зачем? — успокаивающе улыбнулась она.— Пусть сами на себя смотрят. По-моему, некоторым из них становится совестно.

Для нее это имело значение?!

Скорей бы уехать! Я боялся, что не выдержу, сорвусь. В тарантасе у меня лежали гранаты и карабин. А Вера, угадав мое состояние, взяла меня за локоть, чуть прижалась ко мне, заглянула в глаза, спросила:

— Знаешь, милый, почему я не очень волнуюсь?

— Думаешь, это ненадолго, скоро вернемся сюда?

— Нет, Коля, совсем нет,— застенчиво улыбнулась она и, приподнявшись на цыпочки, сообщила тихо и радостно: — У нас будет ребенок!

Если бы весь холм с домом и парком взлетел бы вдруг на воздух с треском и дымом, я не поразился бы так, как поразился в тот момент словам милой моей Веры! И едва схлынуло потрясение, первой четкой мыслью было: не ошиблась ли она!

— Ты совершенно уверена?

— Да, Коля, да! Пока были сомнения, я молчала.

— Я просто не знаю... Я не могу выразить...

— Не совсем ко времени,— сказала она,— но тут уж ничего не поделаешь.

— Какая же ты умница! — поцеловал я ее хрупкую, почти невесомую руку.— Сейчас это, наоборот, гораздо важнее, чем когда-либо.

— Почему, Коля?

— У нас появилась цель, появился ориентир.

— И не надо принимать близко к сердцу все остальное, разные неприятности, правда? — словно убеждая себя, сказала она.— Ты согласен?

— Конечно,— ответил я голосом, обретшим привычное уверенное звучание.— Теперь мы будем думать о будущем. Теперь у нас есть будущее!

3

Меня поймут люди, которые, несколько лет находясь в супружестве, хотели иметь ребенка и не имели его, сами испытали непроизвольное нарастающее беспокойство и даже страх: вдруг у нас с любимой женщиной ничего не сможет получиться? Чья вина? И что же нам делать? Признаюсь, я не раз задумывался об этом. И Вера потом, когда мы уже приехали в Москву, сказала мне: очень угнетало ее то, что никак не может понести ребенка, усиливалось ощущение неполноценности, пустоцветности.

Теперь в этом отношении все стало на место — забота о Вере, тревога о ее здоровье отодвинули на задний план другие события, переживания. Может быть, чрезмерное беспокойство о Вере как раз и привело к ужасной трагедии, может, надо нам было жить рядом, не разлучаясь, вместе переносить трудности, не ища лучшего?! Но очень уж я любил Веру, очень хотел, чтобы не испытывала она неудобств и стеснения.

В Москве было холодно и голодно. Очень голодно. Рабочим выдавали хоть небольшой, но все же паек. Изворотливые дельцы, торгаши пользовались услугами спекулянтов. Хуже всех было таким, как мы, то есть людям, не привыкшим заботиться о себе и вдруг оказавшимся на обочине жизни. Мы были если и не обязательно врагами, то во всяком случае «чужими» для новой власти, наши знания, наш опыт (в том числе и военный) словно бы вообще не требовались ей. А ловчить, изворачиваться, унижаться ради куска хлеба мы не умели, да и достоинство не позволяло. Пользуясь

этим, какие-то темные личности увивались возле развенчанных аристократов, перепродавали, меняли на продукты, на дрова их ценности, безбожно обманывая при этом непрактичных людей.

Знакомых в Москве оказалось мало, да и жили они замкнуто, занятые своими бедами и заботами. Чувствовали мы себя одинокими и очень обрадовались, встретив здесь Матильду Васильевну. Как и прежде, активность, жажда деятельности били в ней через край. К происходившим вокруг событиям она относилась с насмешкой. Революция? Ни одна порядочная страна не обошлась без таких потрясений. Во Франции этим революциям счет потеряли. Постреляют, побесятся, посуетятся — и все возвращается «на круги своя». Частичное перераспределение богатств и привилегий в пользу новых энергичных людей — вот что это такое. Надобно не терять голову и не лезть в драку, если не знаешь точно, за что следует драться. А таким, как мы (подразумевалась беременность Веры), вообще следует спокойно жить-поживать где-нибудь в богоспасаемом захолустье, ожидая прибавления семейства.

Она, конечно, во многом была права, но легко ей было рассуждать о «перераспределении» богатств, имея капиталы, вложенные в кофейные плантации Бразилии и какие-то рудники в Африке. Там ничего не «перераспределяли».

Матильда Васильевна и прежде относилась к нам с большим расположением, а теперь, прочувствовав наши трудности, прониклась такой заботливостью, что мне становилось просто неловко от ее хлопот. То, что я сделал когда-то по ее просьбе для Джугашвили, не шло ни в какие сравнения с тем, что делала она для нас. Такая уж это была увлекающаяся натура, ее всегда бросало из одной крайности в другую. А тут еще воспоминания о собственной московской молодости, об утраченном ребенке,— это притягивало ее к нам. Для нас же, не имевших родственников, забота старшей, знающей женщины представлялась ценной во всех отношениях. Тогда я еще не понимал, что чрезмерной предприимчивости, энергичности надобно опасаться не меньше, чем бездеятельности и равнодушия.

Как-то в начале зимы, когда клонился к концу хмуренький снегопадный день, Матильда Васильевна явилась к нам в неурочный час весьма веселая и возбужденная. Прямо с порога сообщила: завтра утром отправляется поезд на юг, к Ростову-на-Дону. Несколько вагонов идут с особой охраной, в них едут семьи французских дипломатов и коммерсантов. Пришлось изрядно похлопотать, чтобы получить два места в купе (о том, каких денег ей это стоило, Матильда Васильевна даже не упомянула). А Ростов — это благословенный край. Во всяком случае, оттуда рукой подать до тихого изобильного Новочеркасска, где поддерживает твердый порядок донской атаман Каледин и куда отправилось уже много хороших семей. А если не Новочеркасск, то Кавказ, где у нее есть гостеприимные родственники. Куда бы ни ехать, везде будет теплей, сытней и безопасней, чем в Москве, и конечно же она, Матильда Васильевна, ни на минуту не оставит Веронику без своего внимания.

— А что же я? Останусь здесь?

Матильда Васильевна ответила, что мне лучше не рисковать. Теперь офицеры стремятся на Дон, к Каледину. Большевики стараются воспрепятствовать этому. И солдатня совсем распоясалась, офицеров выбрасывают из вагонов, даже убивают. Очень опасно. А с женщин какой спрос? Тем более что вагон-то дипломатический. Я же приеду на юг при первой возможности, как только поулягутся страсти разбушевавшейся черни и большевики или какая-то другая власть покончат с анархией и беспорядком.

Не хотелось мне расставаться с Верой, да и ей со мной тоже, но доводы Матильды Васильевны представлялись нам разумными. Тем более что жить в Москве становилось невозможно. С едой мы еще перебивались, кое-как расплачиваясь фамильными драгоценностями, но холод в доме стоял невозможный, наш верный конюх Игнат, оставшийся с нами, при всем старании не мог разыскать достаточно дров.

Сказалось и мое отношение к генералу Каледину. Я знал его как человека порядочного, рассудительного, твердого в своих убеждениях, неспособного кривить душой. Помня о том, что генерал всегда выказывал мне свое расположение, я написал ему коротенькое письмецо с просьбой, поелику возможно, принять участие в судьбе моей жены, находящейся теперь в особенном положении. И добавил, что при первой же возможности последую за ней и сочту за особую честь представиться уважаемому генералу.

С тем и отпустил я Веру вдаль, в неизвестность. А сам, помучившись первые дни одиночеством, задумался над дальнейшей своей участью. Надо было как-то определяться, но я совсем потерялся в хаосе событий и не способен был понять, где правда, где кривда, в каком строю мое место. Тогда и пришла мысль: разыскать человека, чей разум, чьи скромность и порядочность ценил я несравнимо высоко, чьи полководческие способности считал самыми совершенными,— Алексея Алексеевича Брусилова.

Давно подмечено, что у людей особых, незаурядных, жизнь складывается необычно, во всем выделяя их из мельтешащей массы. Обязательно то в одном, то в другом повернет их судьба противу стандартов и правил. Алексей Алексеевич десятки лет провел на военной службе, сражался с турками в передовых отрядах, всю германскую находился на фронте и ни разу не был ранен, контужен или хотя бы поцарапан пулей или осколком, кои во множестве проносились мимо него! А теперь, в декабре 1917 года, я с большим трудом разыскал Брусилова в лечебнице Руднева, прикованным к постели после сложной операции.

Зачесанные назад волосы его стали совсем седыми, как и усы. Высокий, выпуклый лоб придавал ему вид мудреца. Глаза очень внимательные, живые: в них сразу отражалось настроение Алексея Алексеевича; они засветились радостно, когда он увидел меня.

В небольшой палате генерал лежал один, и мы могли беседовать с полным откровением. Улыбаясь, Брусилов говорил мне, что во время войны его не оставлял вопрос: когда же получу свое? Даже неловкость испытывал: столько людей погибло, столько искалечено было при исполнении его приказов, а он, их начальник, словно

заговоренный. Право, неудобно. А уж когда взял отставку и поселился в Москве, думать о своей порции металла перестал. Но в ноябре дом его, что неподалеку от штаба Московского военного округа, оказался в центре боевых действий. Стреляли из винтовок красные, а белые — даже из пулемета. Повышибали стекла. А вечером 2 ноября мортирный снаряд пробил три стенки и разорвался в коридоре, который делил квартиру на две части. Осколки перебили Алексею Алексеевичу правую ногу ниже колена.

— Чей был снаряд? — спросил я.

— Какое это имеет значение? Важно то, что я все-таки получил порцию, и буквально с доставкой на дом.— Он засмеялся.— Поверьте, очень мучительно было, да и сейчас болит и заживать будет долго, но на душе, ей-богу, спокойнее стало. Я свое получил,— повторил Брусилов.

— Во время этих боев вы не выходили из квартиры?

Алексей Алексеевич понял подоплеку моего вопроса, строгость появилась в глазах.

— Нет. Я твердо решил не примыкать ни к той, ни к другой стороне. Вам известно, что я всегда был противником излишнего и бессмысленного кровопролития, даже на войне. Тем более если льется наша, славянская кровь... И еще — мое звание, мое положение недавнего Верховного Главнокомандующего. Ко мне являлись офицеры и генералы, являлись представители офицерских организаций. Им нужен мой авторитет, чтобы повести за собой колеблющихся. От моего неверного шага могли пострадать сотни людей. А я против междоусобицы, я остаюсь в стороне, нисколько не заботясь, что об этом подумают другие. Мне важен результат. Больше того, я пытаюсь мысленно приблизиться к рабочим и крестьянам, к нынешним революционерам, чтобы понять их.

— Какие-то выводы уже сделаны?

— Нет,— сказал Брусилов.— Понять их мне трудно. Я не сочувствую тем, кто разжигает братоубийственную борьбу. Но я считаюсь с интересами народа и твердо знаю: кто выступает против него, под любыми лозунгами и любыми фразами,— тот авантюрист. Правда в конечном счете всегда за народом, этому учит история.

— А мы с вами, вот вы, я, наши родные, знакомые,— разве мы не народ? — Я всегда раздражался, если о народе говорили, подразумевая лишь необразованные, темные, безликие массы и оставляя за пределами этого понятия людей моего круга, нашу многочисленную интеллигенцию, военных, предпринимателей. Ванька-сапожник — это представитель народа. Тот же самый смекалистый Ванька, открывший сапожную мастерскую, заслуживший уважение всего квартала,— это уже не народ, а эксплуататор...

Брусилов ответил, подумав:

— Мы с вами принадлежим к очень небольшой части населения, которая, в силу разных обстоятельств, руководила, направляла жизнь государства, вырабатывала политику. Причем в последние десятилетия делала это настолько скверно, что завела страну в военный и экономический тупик. Против этого утверждения вы не возражаете?

— Нет.

— Следовательно, должны прийти новые руководители, более отвечающие духу времени. Кто? Этого я не знаю.

Алексей Алексеевич откинулся на подушки. Разговор утомил его, и я почел за должное откланяться, пообещав вскорости вновь навестить генерала. Уже у самой двери услышал неловкое покашливание и оглянулся. Казалось, он хочет сказать еще что-то.

— Слушаю вас.

— Николай Алексеевич, голубчик, не сочтите за труд, проведайте моего Алешу. По-моему, у него плохо.

— Разве он здесь? — обрадовался я.— Где живет?

Брусилов назвал адрес.

Сложные взаимоотношения Алексея Алексеевича с его единственным сыном всегда были не очень понятны мне. Видел только, что они доставляли Брусилову серьезные огорчения. Это представлялось тем более странным, что оба они — и отец и сын — были людьми добропорядочными, сердечными, бескорыстными.

С чужих слов я знал, что Алексей Алексеевич горячо любил свою первую жену и был с ней совершенно счастлив. Но, имея слабое здоровье, она часто и подолгу болела, а затем скончалась, оставив Брусилова-старшего с ребенком.

Второй раз женился Алексей Алексеевич поспешно и странно. В молодости когда-то нравилась ему совсем еще юная девица Надя Желиховская. Запало в память первое чувство: года через три после смерти жены разыскал генерал Брусилов в Одессе Надежду Владимировну и обвенчался с ней. Но семьи у них, по-моему, не получилось. Для себя, для собственного удовольствия жила Надежда Владимировна, мало заботясь о душевном состоянии и бытовом устройстве нашего талантливого полководца. Купаясь в лучах его славы, занималась благотворительностью, госпиталями, пожертвованиями, любила быть на виду, порхать среди людей своего нового круга. Дорвалась одесская заурядная дама до высокого общества и утратила чувство меры. И с Алешей Брусиловым-младшим общего языка не нашла. Впрочем — и не искала, стараясь лишь отдалить его от отца.

Алеша Брусилов окончил Пажеский корпус, стал корнетом лейб-гвардии конно-гренадерского полка и одно время по молодости лет вел жизнь беззаботную, легкую, как, впрочем, почти все гвардейские офицеры такого возраста. Скромный же его отец огорчался. Особенно когда Алексею из-за разных неприятностей пришлось даже на некоторый срок оставить военную службу: ведь Брусилов видел в сыне наследника и продолжателя своих дел.

Мы с Алешей встречались в Петербурге, были коротко знакомы, и потому я обрадовался возможности вновь увидеть приятеля. И не только Алешу, но и его избранницу хотел посмотреть. Совсем недавно Матильда Васильевна с явным огорчением рассказывала нам с Верой о том, как сын знаменитого генерала, блестящий жених, перед самой революцией взял да и обвенчался вдруг с девицей молодой, смазливой, но чужого круга, к тому же очень строптивой, кичливой, несдержанной. Небось не только на красоту польстился, но и на богатство семьи Котляровских-Остроумовых. Ну,

а тем лестно было породниться с полководцем Брусиловым, с Верховным-то Главнокомандующим, извлечь из этого выгоду. Такое пристрастие звучало в словах Матильды Васильевны, что мне казалось: был у нее какой-то интерес, переживала она за кого-то, кто потерпел фиаско в этой истории.

С женитьбой Алеше не повезло: я в этом убедился сразу, едва пришел к нему. Мы обнялись, расцеловались по-братски, и не знаю, чего было больше — радости или горечи. Не ахти как выглядел я в штатском пальто с чужого плеча, в фуражке без кокарды, исхудавший, кое-как выбритый за неимением горячей воды. И у Алеши лишь выправка осталась от бравого гвардейца-кавалериста. Обмякшим, растерянным показался он мне, а в глазах — тоска. Одет скверно: какой-то сюртук на нем, поношенные брюки, давно не стрижен. В комнате голо: диван, стул да книги на столе.

— С сентября без должности и без денег, конечно,— развел он руками.— А им прежде всего деньги нужны,— кивнул Алеша на стенку.— Для них весь смысл в деньгах, а зачем они теперь?

Заглянула в дверь пожилая полная дама со строгим, каменным лицом, постояла, раздумывая, отвечать ли на мой поклон, и удалилась. Донеслось ее презрительное опре́деление: «Такой же нахлебник, как наш».

Алеша покраснел, смутился, начал торопливо говорить, что он найдет себе работу, он теперь усиленно изучает бухгалтерию и уверен, что сумеет получить место... Осекся, пристально посмотрев на меня, и произнес другим тоном, резко:

— Думаешь, нужда у них? Сундуки полные. Жратвы на пять лет по кладовым рассовано. Буржуи проклятые! Вот семейка! Не могу я здесь больше, Коля!

— Уйди.

— Трудно. Так я к ней привязался,— показал он фотографию над столом.— Красавица-то какая, а? Одной лишь улыбкой искупает день неприятностей... Но ты прав, я сбегу. Давай вместе?! — по-мальчишески загорелся Алеша.

— Куда?

— В армию. В войска.

— Нет теперь просто войск, есть белые, есть красные. Ты к каким?

— Отец говорит, не надо братского кровопролития... Есть же какие-то части, которые держат германцев, не пускают их сюда.

— Части, может, и есть, да нам в них не место. Они своих офицеров повыгоняли. Привычных. А тут мы явимся неизвестно откуда. Подполковник и гвардейский корнет.

— Да,— втянув голову и выставив острые плечи, вздохнул Алексей.— Но я все равно сбегу. На тебя надеюсь. Если узнаешь что-нибудь, сразу сообщи мне.

Я пообещал и ушел от него с тяжелым сердцем. А едва добрался до дома, старый конюх, совмещавший теперь все обязанности при мне и по дому, подал измятый, затертый конверт, пахнущий потом, кислятиной полушубка и едва заметно — духами.

Каким чудом добрался до меня пакет, по каким дорогам, по чьим карманам и запазухам его мотало,— затрудняюсь сказать. Но это была наконец долгожданная весточка с юга. Матильда Васильевна писала, что пользуется открывшейся вдруг оказией и поспешно отправляет несколько строк. Доехали они сносно. Вера бодра, и все у них хорошо. Квартира спокойная, с едой нет никаких затруднений. Постарайтесь, мол, при первой возможности присоединиться к нам, тем более что она, Матильда Васильевна, весной намеревается уехать за границу.

И еще сообщала заботливая женщина, что встретила в Новочеркасске много знакомых, в том числе капитана Давниса и подпоручика Оглы, которые по-прежнему неразлучны. Они постоянно находятся в городе и бывают у них в гостях... Наверное, успокоить меня хотела этим сообщением Матильда Васильевна: среди своих, дескать, мы. Однако новость эта принесла такую тревогу, что я не заснул всю ночь. Представлялось наглое, сладострастное лицо Давниса, вспомнился плотоядный взгляд, каким взирал он на Веру: взгляд жестокого хищника, затаившегося в засаде. И они, эти двое, теперь там, возле моей слабой, беззащитной жены!

К утру я твердо решил любыми способами, хоть пешком, но обязательно добраться до Новочеркасска.

4

Большими и малыми фронтами исполосована была Южная Россия весной 1918 года. Красные, белые, немцы, казаки, анархисты, повстанцы-самостийники, просто бандиты: всюду своя власть, свои порядки. Причем каждая власть, даже вчера родившаяся и величиной с уезд, считала себя самой главной, самой справедливой, а в каждом постороннем видела врага, которого надо либо убить, либо запрятать в кутузку. Любая власть имела свою охрану, свои дозоры, сторожевые посты, и их было так много, что, миновав один пост, непременно попадешь на другой.

Возле Белгорода меня схватили матросы. Чудом избежав расстрела, я уничтожил все имевшиеся документы, обменял френч и галифе на вшивое солдатское рванье и начал выдавать себя за фельдфебеля, который пробыл два года в плену, а теперь направляется домой, к Азовскому морю. Маскировка оказалась удачной. Для красных фельдфебель не был безусловным врагом, все-таки не офицер. А для белых — почти свой человек, первая опора офицера на службе.

В общем, ехал я, шел, крался до самой весны, в Новочеркасске за это время успела несколько раз перемениться власть. Белых выгнали красные, потом явились немцы, а за ними — опять генералы с казаками.

Очень не хотелось прибыть к Вере оборванцем и с совершенно пустыми руками. Торжественной и радостной представлялась мне наша встреча. В Ростове носатый ювелир долго обнюхивал последнюю оставшуюся при мне ценность — перстень с изумрудом и, конечно, предложил четверть цены. Состояния делали на нашем горе мерзкие скупщики и менялы. Но я сказал, что мне терять нечего, сейчас я взорву эту вонючую конуру вместе с собой и, разумеется, вместе с ростовщиком и всеми его грязноприобретенными богатствами. Он тут же увеличил цену вдвое, но большего я от него не добился.

На вырученные деньги удалось приобрести вполне приличное офицерское обмундирование довоенного образца, артиллерийскую фуражку. Для жены купил пуховый платок, чему особенно радовался. Невесомый и теплый, он согреет плечи Веры, и ей, наверно, будет очень приятно.

В сырой, туманный день добрался я наконец до Новочеркасска. Тихий городок этот, со множеством садов и палисадников, весь пропитан был горьковатым запахом молодой, еще липкой листвы, дурманом оттаивающей, отдохнувшей земли. Я шагал торопливо, спрашивая у встречных нужную мне улицу. Воистину, крылья несли меня, и весь я наполнен был радостным возбуждением. Сейчас увижу ее, единственную свою, родного своего человека! Нет, теперь уже не единственную, они вдвоем ждут меня! Хоть не родившийся еще сын, но он уже есть! Или дочь?

С замирающим сердцем открыл я тяжелую калитку с массивным кольцом щеколды, вошел в просторный двор, мощенный булыжником. Справа — добротный дом на кирпичном фундаменте.

В глубине двора — аккуратный флигель, хозяйственные постройки. Окна флигеля, наглухо занавешенные изнутри, глядели безжизненно, подслеповато. И вообще вымороч но, глухо было на этом дворе за высоким забором. И я вдруг понял, что Веры здесь нет, причем нет давно, и меня сразу охватила такая слабость, что захотелось сесть.

Скрипнула дверь, на крыльцо вышел пожилой мужчина, вернее — старик, в потертом чиновничьем сюртуке со множеством тусклых пуговиц. Какие-то старухи выглядывали из-за его спины. Сильно прихрамывая, чиновник спустился по ступенькам. Чуть склонив голову на длинной морщинистой шее, он разглядывал незваного гостя без тени удивления, будто давно ждал, и было в его взгляде нечто безнадежно-печальное, заставившее меня сжаться.

— Подполковник Лукашов,— поспешил представиться я.

— Супруг Вероники Матвеевны? — Это был не вопрос, он словно бы сам ответил себе.

— Где Вера? Уехала?

— Можно сказать, уехала,— неопределенно ответил чиновник, переводя взгляд на флигель.

— Давно? Далеко?

— Далеко,— вздохнул он.— Пройдите туда, пожалуйста.

Дверь во флигель давно не открывали, замок проржавел, поддался не сразу, со скрипом. В просторной, хорошо обставленной комнате было сумрачно, держался сырой запах давно не топленного помещения. Старый чиновник прохромал к окну, раздвинул занавеску. Потом пересек комнату по направлению к кровати, необычно покрытой какой-то черной клеенкой, открыл шкафчик у изголовья, осторожно взял с полки толстую книгу, а из нее достал записку.

Едва я взглянул — буквы закачались, поплыли в моих глазах. Но я преодолел слабость, прочитал и раз и другой, стараясь понять смысл:

«Коля! Родной! Они погубили и его и меня. Жить больше нельзя. Не могу. Рухнуло все, теперь только грязь, пакость, и ничего уже не поправить. Господь, накажи их!

Прости, прости и прощай!»

Тяжесть невероятная согнула меня. Я почти упал и все же выпрямился, разыскал взглядом чиновника и спросил, смутно видя его:

— Кто? Капитан Давнис?

— И второй, скуластый, здоровый, из сыроядцев.— Голос доносился словно бы издалека, я плохо слышал, но мозг мой воспринимал каждое слово, они будто застревали в голове, наполняя ее колющей болью.— И третий был с ними, вероятно, из рядовых,— торопливо продолжал чиновник, будто спешил освободиться от мучившего его груза.— Они сюда несколько раз являлись. Навязчивые такие, беспардонные господа. Вероника Матвеевна велели их не принимать, я отказывал им, а этот Оглы даже толкнул меня.

— Давно? — выдавил я.

— Случилось-то?.. В самые те дни, когда Каледин застрелился. Они все тут с ума посходили, бежать готовились, а погода холодная, январь кончался. Ну, и явились эти трое среди дня пьяные. Особенно капитан. Разве бы я их удержал?.. Сразу во флигель. Потом крик... Поскорей туда. А они уже... На полу она, одежда вся в клочьях. Очень, значит, сопротивлялась. А бандиты эти вожжи сняли в сенях, привязали к ногам и раздвинули... Как станины у пушки...

Это последнее, что я слышал, ясно представляя себе страшную картину. Затем какая-то пустота, тьма. И пробуждение совершенно опустошенного человека, словно бы избитого, израненного, с защемленным сердцем. Я осознал себя сидящим на кровати, увидел чиновника со стаканом в руке. Но я не хотел пить, вообще ничего не хотел, кроме беспамятства, небытия, и в то же время понимал, что обязан вынести все до конца, выяснить, как это было. Кто же еще, кроме меня?

— Она... Она умерла сразу?

— Нет-нет, офицеры бросили ее и ушли,— опять зачастил чиновник, радуясь, вероятно, тому, что выложил уже самое главное и теперь остались только некоторые подробности.— Мы ухаживали за ней этот день и весь следующий. Переодели ее. Плоха была, сознание теряла. Высохла, как древняя мумия. Глаза страшно блестели. Словно спит, а глаза открыты. Потом боли у нее начались сильные. Но не кричала. Только подушку к животу прижимала и губы кусала. Лицо черное... Жена моя хотела при ней на ночь остаться, но Вероника Матвеевна не позволила. Идите, мол, спите, мне легче... Но какой там сон! Спозаранку скорее к ней, а она на коленях стоит и уже совсем холодная... Едва распрямили, чтобы в гроб-то...

— Сама себя? — тихо спросил я.

— Удавилась,— еще тише ответил чиновник, или опять слух изменил мне. И снова вокруг была тьма, бездонная пустота, но я не мог погрузиться в нее, меня отвлекала, мешала боль в голове, то тупая, то вдруг вспыхивающая так остро, что содрогалось, корежилось все тело. Я бился затылком о стену, но этой боли, внешней физической боли, не ощущал.

Не знаю, как бы я обошелся тогда, если бы не старик. Он влил мне в рот какую-то жгучую жидкость, я по-

перхнулся, закашлялся, потом, взяв стакан, сам сделал несколько глотков. Наверное, это был спирт. Во всяком случае, я обрел способность держаться на ногах и тоскливо подумал о том, что это еще не все, я обязан жить, думать, сделать что-то, рассчитаться за Веру, за себя... А в глубине души тлела крохотная, подспудная надежда: может, это ошибка, чудовищное недоразумение?

— Где она? — спросил я.

— Дойти сможете? — участливо произнес чиновник и, перехватив мой взгляд, закивал: — Пойдемте, пойдемте.

Ковылял он медленно, и путь по пустой, длинной, однообразной улице показался мне бесконечным. Но вот открылся простор полей, невысокий холм с церковью чуть в стороне от домов. Возле храма — деревья и кусты с обвисшими от сырости ветками. Мокрый, потемневший забор. Старик повел меня не в ворота, не за ограду, а левее, где возле кладбища тянулся овражек. На склоне его увидел я десятка полтора земляных холмиков, и старых и свежих. И от того, что Вера лежит здесь, на отлете, в овраге, злоба начала подниматься во мне. На себя, что приехал так поздно, на хромающего старика.

— Почему не там?! — показал я на ограду и осекся, сообразив: самоубийц на кладбищах не хоронят.

— Ладно хоть здесь разрешил батюшка-то знакомый,— со вздохом ответил чиновник, и я подумал, что должен быть признателен этому человеку за его старания, хлопоты.

— Спасибо, я заплачу...

— Христос с тобой.— Укор и обида звучали в его голосе. Сделав еще несколько шагов, показал осевший глинистый бугорок.— Вот... Оплыла могилка-то, пора подправить да дерном обложить.

Я тупо смотрел на влажную землю, не в силах взять в толк, что здесь, под этими желтыми комьями, лежит моя Вера. Возле случайного кладбища, в чужом краю. Да как же так!

— Завтра и поправим, а сейчас поздно. — Чиновник мешал сосредоточиться.— Комендантский час у нас. Строго. Стреляют германцы без предупреждения.

— Вы идите,— сказал я, желая остаться в одиночестве. Он понял, но пошел неуверенно, волоча ногу, оглядываясь. Опасался за меня. Но все ж удалился.

Теперь я мог никуда не спешить. Достиг своей крайней точки. Дальше ничего не было. Надо только обезопасить себя от патруля, если появится. Осмотрелся. Со стороны поля меня можно было увидеть — заросли здесь невысокие, редкие. Зато со стороны кладбища — большой куст, уже одевшийся молодыми листочками. Я лег между могилой и кустом. Укрытие идеальное. Не обнаружат и с пяти шагов, тем более что уже заметно стемнело. В гуще кладбищенских деревьев пробовала голос какая-то птица. К ней присоединилась другая. Слишком радостны и беззаботны они были, к тому же мешали мне слушать, не приближается ли кто. Хлопнула дверь — в церкви или в поповском доме. Заговорила женщина, ее перебил мужчина. Не один — несколько мужчин. Говорили лающе, резко. Немцы, что ли? Слов не разобрать. Протопали, удаляясь, тяжелые шаги.

Я ближе придвинулся к холмику, чувствуя ледяную стынь, тянувшую из могилы. Глубокая ли она? Вряд ли. Зимой, да в такое время, когда много смертей, кто станет долбить мерзлый грунт. Значит, Вера вот тут, совсем рядом. В этой стороне ее голова,— я размышлял вполне логично, обоснованно, и это успокаивало меня. Значит, со мной все в порядке. Я разумен и поступаю правильно... Земля только сверху сырая, оттаявшая, а чуть глубже, конечно, смерзшиеся комья, лежащие неплотно, с зазорами. Если проделать отверстие длиною хотя бы в руку, Вера услышит меня, даже если буду говорить шепотом...

Расковыряв ямку, склонился над ней, прижался лбом к глине, ощущая все ту же ледяную стынь и думая, что Вера давно и постоянно теперь в этом холоде: мрачно, пустынно ей там. И начал говорить, как стремился сюда, как добирался... Но нет, это было совсем не то... Бить мне хотелось эту проклятую глину, и кричать Вере, и ругать ее! Что же ты сделала?! Как ты могла?! А я?! Для кого и зачем я теперь? Вот пришел и останусь с тобой. Совсем. Разве ты не знала, что я поступлю так?!

Вера, Вера! С годами все зарубцевалось бы, забылось и, может быть, мы опять были бы счастливы?.. Не так, как прежде, но все равно... Или ты мудрее меня и сразу поняла: стараться быть счастливым — это не есть счастье. Сломанное дерево не срастется... Но теперь вообще ничего не осталось ни для тебя, ни для меня на этом свете. Вот только те двое, Давнис и Оглы. Они что же, так и будут жить по-прежнему, словно ничего не случилось?! Они где-то ходят, дышат, жрут, смеются,— у меня даже стон вырвался от нахлынувшей ненависти к ним. Я сказал бы об этом Вере, но что-то мешало мне. Не надо напоминать ей... И вообще я испытывал какую-то скованность, не мог делиться с ней всеми мыслями и чувствами. Почему? Наверное, не совсем, не до конца верил, что тут лежит она. А если все же ошибка?..

Что же, я так и буду сомневаться, никогда не поверю безоговорочно, что она похоронена здесь?! Да, до тех пор, пока сам не увижу ее. Хотя бы на миг. В самый последний раз.

Думая так, я бесшумно, по-звериному, руками и ногами разбрасывал землю, углубляясь в могилу, и существо мое раздвоилось. Я шел к ней, стремясь скорей оказаться рядом, взглянуть, дотронуться, и в то же время сознавал, что этого не следует делать, это противоестественно, лучше запомнить Веру красивой, светлой, идеальной, какой она всегда была для меня. Ведь смерть, особенно насильственная, уродует, искажает, опустошает... И запах. Его потом не забудешь... Впрочем, что забывать, если я сам останусь с ней. Да и нет в этом ничего отталкивающего. Разве мало я видел трупов, и не зимой, а в жару? Мой друг Стася Прокофьев, с которым мы вместе поступали в училище, вместе занимались, командовали полуротами в одном батальоне,— он погиб в пятнадцатом году. Его завалило землей при взрыве, откопали только через неделю. Дни были теплые, трупы разлагались быстро. Но ведь я сам привел его в порядок, уложил в гроб. Совесть у меня чиста перед ним, и помню я не распадающуюся плоть, а веселого, жизнерадостного своего друга. Так почему же не могу я взглянуть на Веру?!

Чем глубже, тем труднее было копать. Там земля еще не прогрелась, лед не растаял. К тому же комья были мокрыми, скользкими от просочившейся сверху воды. А слежались и смерзлись они так, что я ободрал руку, обломал ногти, совершенно, впрочем, не чувствуя боли: пальцы занемели от холода. И сил оставалось все меньше.

Разум возобладал над инстинктом, я сообразил: надобно найти какой-нибудь инструмент. Но встать и ходить рискованно. И не потерять бы в темноте место. Поэтому я пополз вдоль кладбищенской ограды на четвереньках, отсчитывая сажени и обшаривая рукой землю. Вскоре мне повезло: я нашел толстую короткую палку, заостренную с одной стороны. Наверное, кол, к которому привязывали козу или теленка. С этой добычей возвратился к могиле и принялся работать с заметным успехом. В какую-то минуту даже подумал: вот так рождаются легенды о чертях, о выходцах с того света. Что подумали бы случайный прохожий или припозднившаяся парочка, увидев среди ночи роющуюся в могиле грязную всклокоченную фигуру с колом в руке?.. Какие бы вопли раздались! Стал работать осторожней, останавливаясь и прислушиваясь.

Еще боялся — сумею ли открыть гроб. Как он заколочен! Хватит ли у меня сил оторвать крышку? Надо бы отдохнуть, но нельзя: скоро утро, небо на востоке уже посветлело.

Наконец кол ударил в доску. Я разгреб землю. Доски были такими тонкими, что прогибались под моей тяжестью, и я боялся: хрустнут, сломаются, придавят Веру. «Скорее!» — торопил я себя, отбивая комья вокруг гроба. Пришлось еще и вбок немного подрыть, чтобы было куда сдвинуть крышку.

С тягучим скрежетом подались проржавевшие гвозди. Крышка сдвинулась, я приподнял ее на ребро и увидел что-то светлое, вроде подушки, а на ней — знакомые черты лица. Вера! Но, боже, как она изменилась! Нос, скулы, подбородок, надбровные дуги — все выпирало, все было туго обтянуто кожей, все было непривычно резко и остро. Я коснулся губами ее лба и сразу же отстранился: он был холодней, чем земля, он обжег меня, разгоряченного, своей безразличной стылостью, оттолкнул каменной твердостью. Это потом я сообразил, что под крышку не проникала сверху вода и Вера не оттаяла. А тогда жгучий холод и страшная твердость как-то отрезвили меня. Я осознал, что здесь действительно находится моя Вера, но не вся, а лишь ее оболочка, мертвое тело, далекое от меня, ото всех. А настоящая Вера, с ее радостями и муками, она во мне, она в далеком нашем имении, она в том флигеле, где оставалась ее последняя записка. Нет, она не исчезла, она со мной и будет жить столько же времени, сколько и я. А вот за это измученное, искалеченное, застывшее тело я обязан рассчитаться самой страшной местью, чтобы негодяи испытали хотя бы часть тех душевных и физических мук, которые они причинили беззащитной женщине. Они совершили нечеловеческое — их должна постигнуть подобная же кара. Чтобы они визжали от неотвратимого ужаса. Только я один могу это сделать, иначе не будет покоя ни мне самому, ни Вере, живущей в душе моей!

Еще одно должен был я знать точно. Изогнувшись, почти сломавшись в пояснице, я просунул руку дальше под крышку гроба, под одежду жены и осторожно провел пальцами по ее животу, от выступавших ребер к ногам. Ошибиться было невозможно. Низ живота не просто бугрился, там явственно ощущался круглый выступ, который я накрыл ладонью. Это была голова моего ребенка. Я только не мог понять: затылок это или его лицо. Как лежат неродившиеся дети?

На какие-то секунды рассудок мой опять затуманился, но я уже имел цель, я знал, что мне предстоит еще сделать на этом свете, и поэтому усилием воли заставил себя сосредоточиться. Больше того, я совершил полностью осмысленный поступок. Достал из кармана тонкий и мягкий пуховый платок. Что лучше: накрыть лицо Веры или укутать плечи? Или так, чтобы платок грел и ее и ребенка?

Оказалось, что на плечи невозможно — нельзя пошевелить, приподнять, настолько все примерзло к доскам. И я аккуратно растянул платок от груди до ног Веры. Потом поцеловал ее и пообещал, что еще вернусь. Насовсем или нет, но вернусь обязательно, и лишь после того, как расквитаюсь за нас троих. Не знаю, может, в ту ночь что-то случилось с моей психикой и на какой-то период я перестал быть прежним человеком. Возможно. Во всяком случае тогда проснулся и зажил во мне ловкий, жестокий, целеустремленный зверь, который упорно повел меня к намеченной цели, не позволяя расслабиться, остановиться в пути, остерегая от случайной преждевременной гибели. Это он подтолкнул меня: скорей засыпай могилу и прячься сам, иначе тебя заметят, арестуют, посадят. Рассвет уже наступил.

Старый чиновник, приковылявший на кладбище, застал меня в положении совершенно ужасном: измученный, весь в грязи, над полураскрытой могилой.

Велев мне лечь и не подниматься до его прихода, чиновник с несвойственной ему быстротой отправился домой, принес лопату, плащ с капюшоном и даже флягу с водой. Помог мне умыться и хоть немного привести себя в порядок. Затем, обрядив меня в длиннополый плащ, повел к себе. Но не в свой дом, а в соседний, к сестре, чтобы в новой обстановке я хоть немного отдалился от пережитого, успокоился и отдохнул.

5

Бывает так: человек, одержимый одной мыслью, одним страстным желанием, даже будучи очень пьян, продолжает действовать целеустремленно, разумно, добиваясь своего. Потом он не способен вспомнить подробности, последовательность событий, сказанные им слова — только по результатам сможет понять, что поступал правильно. Лишь отрывочно, как сквозь туман, припоминаю я, чем занимался, покинув Новочеркасск с единственной целью: разыскать Давниса и Оглы. Но при этом поступки мои были, вероятно, вполне правильными. И на людей, с которыми доводилось встречаться, даже на старых знакомых, офицеров и генералов, я не производил отрицательного впечатления, не казался им человеком больным.

В белых штабах и войсках немало обреталось тогда моих прежних сослуживцев, особенно по Юго-Западному фронту. От них я узнавал все, что нужно. У меня хватило соображения не спрашивать напрямик о двух негодяях. Услышав от кого-нибудь, что я разыскиваю их, они бы насторожились, приняли какие-то ответные меры. Но нет, я допытывался обиняком. Справлялся о других офицерах и о Давнисе и Оглы в том числе.

Я шел как собака по следу, и след этот становился все отчетливее. Он привел меня из Ростова в Тихорецкую, оттуда — под Царицын к генералу Мамонтову, в большую станицу Нижнечирскую. Путь был далекий, а время летело. Близилась середина августа того же злосчастного восемнадцатого года; дни держались знойные, к полудню в голой, раскаленной степи нечем было дышать. Бои велись главным образом на рассвете, пока не иссякнет прохлада. Казачьи полки, переправившись на левый берег Дона, захватили Калач, нанесли под Кривой Музгой такой удар красным, от которого те, казалось, не в силах будут оправиться: до Царицына оставались считанные километры.

Как раз в это время я узнал точно, в каком полку служат оба негодяя и на каком участке фронта находится этот полк. Следовало найти повод для поездки туда. Зная честолюбие генерала Мамонтова, я предложил ему свои услуги: составить для истории описание победных боев за Царицын. Естественное дело для офицера Генерального штаба. Сразу же выразив согласие, Мамонтов даже не скрывал своей радости и предупредил только, чтобы весь материал был дан ему на предварительное прочтение. У меня в руках оказался документ, открывавший доступ на любой участок фронта, чем я и не замедлил воспользоваться.

В сопровождении трех казаков перебрался на левый берег Дона и там узнал, что положение белых войск не так уж блестяще, а, скорее, наоборот. Когда вступление в Царицын казалось уже совсем близким, у красных сменилось командование, они нанесли несколько сильных контрударов, остановили наступавших, погнали на запад. Произошло это столь неожиданно, действия красных были так энергичны, что многие казачьи сотни и пехотные батальоны оказались рассеянными или совсем разбитыми. От полка, где служили оба негодяя, уцелели лишь жалкие остатки, с трудом пробившиеся назад, к Дону. Капитана Давниса и поручика Оглы среди них не было. Позабыв про осторожность, я расспрашивал, кто и где видел их в последний раз. Несколько человек подтвердили, что Давнис и Оглы, когда полк наступал, находились в авангардном отряде, который был окружен красными. Молодой прапорщик божился, что сам видел в бинокль, как Давнис и Оглы, вероятно легко раненные, шли по степи под конвоем красных солдат.

Первой и единственной мыслью моей, когда узнал об этом было: немедленно перейти линию фронта. Я не задумывался над последствиями такого поступка, над тем, какая пропасть разделяет ту и другую стороны. В общем-то, и здесь и там русские, а моя цель выше и важней междоусобной драки. Единственно, что заботило меня,— как пересечь фронтовую полосу, кем сказаться на той стороне. Любой красноармеец может «шлепнуть» белого офицера, и никто не остановит его, даже похвалят.

Хорошо бы мне спрятаться, укрыться так, чтобы фронт прокатился мимо, чтобы горячка боя оказалась за спиной. А уж там, на территории красных, видно будет, сориентируюсь по обстановке.

Отпустив верховых казаков за Дон, чему они нескаванно обрадовались, я остался с пластунами, имевшими приказ оборонять левобережный хутор. Пожилой, степенный есаул, камандир пластунов, пригласил меня в добротный бревенчатый дом. Там посреди горницы был стол, ломившийся от разнообразной закуски, а у окна установлен пулемет, смотревший вдоль хуторской улицы. Есаул пояснил, что тут у него и квартира, и штаб, и боевая позиция. Я же польстил его самолюбию, сказав: совмещать приятное с полезным дано не всякому, повоевать надо изрядно, чтобы научиться такому искусству. Но поскольку здесь шумновато, а мне желательно выспаться, то отдохну на сеновале. В случае чего пусть меня разбудят.

— До вечера красные не сунутся,— уверенно произнес есаул.— Какая война при таком солнце, испечешься. В степи пусто, только разъезды маячат.

Ординарец, прихвативший пикейное покрывало и подушку с хозяйской кровати, проводил меня на просторный сеновал над погребицей, наполовину заваленный сеголетним душистым сеном. Горячий воздух здесь, под нагретой крышей, казался густым и вязким, дышать было трудно, все тело покрывалось испариной. Помучившись в духоте, я отодвинул широкую доску, сбросил вниз, в сарай, несколько охапок сена, подушку и покрывало, а затем сам спрыгнул туда. Конечно, здесь было гораздо прохладней. И погреб рядом. Поднял тяжелую крышку — из темноты пахнуло сыростью, гнильцой. Ладно, на всякий случай есть где затаиться.

Бой, как и предполагал есаул, завязался вечером. Началась винтовочная пальба где-то на подступах к хутору, потом приблизилась, потом ударили пулеметы. По звукам нараставшей стрельбы я понял, что красные атакуют напористо и обходят хутор с левого фланга.

Дважды кто-то прибегал, поднимался по лесенке на сеновал, звал меня, но я не ответил.

У красных имелось несколько трехдюймовых орудий, но, вероятно, мало снарядов. Они били изредка, стремясь подавить пулеметы. Это им не очень-то удавалось, однако снаряды подожгли хутор. Ветер разносил снопы искр, одна за другой загорались крыши, пылали сараи. У меня на погребице становилось все светлее. И вот с жадным треском огонь охватил сено над головой, на сеновале, сквозь щели пробились язычки пламени. Этак заживо сгореть можно или задохнуться дымом и гарью. Выскакивать на улицу? Там стрельба, крики, близкие разрывы гранат. Как раз угодишь под пулю. И в погреб лезть жутковато. Обрушатся горящие бревна, завалят крышу. Испечешься, как картошка в костре. Но это — крайность. Зато какой подходящий случай!

Я рискнул. Осторожно спустился в темное подземелье, задвинув за собой тяжелую дубовую крышку. Чиркнув спичкой, осмотрелся. У дальней стены — мокрая солома, прикрывавшая остатки запасенного на лето льда. Несколько кадок и бочек. С квасом, с соле-

ными огурцами. Это оказалось кстати: когда и где теперь придется перекусить? Я с удовольствием съел пяток огурцов, запив их кислым крепким квасом. И, присев на ступеньку, стал ждать, чем все это закончится.

Сарай действительно скоро рухнул, пожар бушевал над моей головой, и погреб постепенно наполнялся дымом, заставлявшим меня спускаться все ниже, к земляному полу, где легче было дышать. А жара нарастала. Мне, право, было жаль, что пропадет, испортится все вкусное добро, заготовленное хозяевами.

О себе я почти не думал. В трудной обстановке решения приходят словно бы сами собой. Снял френч, сорвал погоны. Когда стало совсем невмоготу от жары, опустил френч в кадушку с квасом, подержал, чтобы намокла материя. Накинул френч на голову и, став на ступеньку, затылком надавил крышку люка. Она не то что раскрылась, она распалась, настолько истлела в огне. Раскаленные угли посыпались на меня. К счастью, сухие бревна и доски уже сгорели, ничего, кроме груды углей, не оказалось на люке, и я, затаив дыхание, одним рывком выскочил из пожарища. Отбросил дымящийся френч. Оказался посреди улицы: мокрый, закопченный, грязный, в нижней рубахе, в прожженных галифе и в совершенно не пострадавших превосходных сапогах, какие положены лишь старшим офицерам и генералам. По этим-то сапогам красноармейцы, проходившие мимо, сразу опознали во мне беляка, и, разумеется, не рядового.

— Ребяты, откель он взялся?

— Из ада выскочил, недобиток!

— Значит, добить его в самый раз!

Это был критический момент, которого я больше всего боялся. Я молчал и не двигался, опасаясь еще больше осложнить свое положение. А красноармейцы, сгрудившись, обсуждали:

— Осмолился, вошь тифозная.

— Глянь, может, там еще есть?

— А, нехай горят!

Подошел еще кто-то. Раздался резкий голос:

— Что за пугало?

— Ахвицер из погреба выскочил. Кокнуть его?

— Я те кокну! Приказа не знаешь: всех офицеров в штаб полка на допрос. Ряшкин, веди.

Невероятное облегчение ощутил я и чувство признательности к этим вот красным, у которых есть, оказывается, строгие приказы, определенный порядок. У меня появилась возможность осмотреться, освоиться в новом положении.

Конвоиром оказался курносый крепыш в старой гимнастерке, такой выгоревшей и застиранной, что похожа была на белую солдатскую рубаху времен скобелевских походов. Шаровары аккуратно залатаны на коленях, ботинки хоть и разбитые, но не заскорузлые, смазанные дегтем. Винтовку держал привычно, вид у него был бравый, и я понял, что мне с ним повезло. Не новичок, который может наделать глупостей из-за чрезмерной старательности, но и не заматеревший до крайности фронтовик, видевший-перевидевший все, для которого чужая жизнь — пустой звук. Устанет в дороге, озлится, пристрелит, а потом доложит: бежать, мол, пытался, стервец...

Мой конвоир был из средних солдат; он и царской строгой службы хватил, и на войне побывал, но человечности еще не утратил, не закостенел от смертей и крови. Вел меня вполне прилично, изредка покрикивая для собственного взбадривания. Только на сапоги мои смотрел этот крепыш Ряшкин с такой завистью, что я не сомневался: разует.

— А ну, стой! — не выдержал он наконец.— Садись на камень.

Я сел.

— Размер-то подходящий,— глазами нацелился Ряшкин.

— Что? — Я будто не понял.

— Сапоги, говорю, скидавай. Да побыстрей, не телись!

Обидно мне было слышать грубость, подчиняться солдатской прихоти, но что поделаешь? Конечно, бросившись на него, я мог вырвать винтовку и прикончить на месте эту обнаглевшую деревенщину. Мог убежать в степь. Но зачем? Я ведь сам стремился в плен, и теперь нечего давать волю своему самолюбию.

Сев поодаль и положив винтовку, Ряшкин торопливо натягивал на грязные, в черных разводах портянки мои новые красивые сапоги, а я смотрел на него и думал: хам есть хам при любой власти и любой расцветке — хоть красный, хоть белый, хоть какой. Разве мамонтовский казак оставил бы на пленном хорошие сапоги? Да никогда. С ногами бы оторвал. И Ряшкин тоже. Суть в благородстве, в воспитании... Но тут же вспомнился мне Давнис — обрусевший французский аристократ, вхожий в такие высокие круги, куда мне, простому русскому дворянину, закрыт был доступ,— разве он не пакостней, не страшней в сотню раз любого мужика, любого казака, которые по нужде добывают себе одежду-обувку?

— Чего буркалы-то выкатил! — Мой конвоир грубил, совестно ему было.— Тебе все одно дальше штаба дороги нет, босиком дотопаешь. А мне сапог на всю войну хватит.

Я промолчал: у каждого свои заботы.

Мы отправились дальше и, как показалось мне, шли очень долго. Я ведь не привык без обуви, изранил ступни, разбил о камень большой палец и не шагал, а тащился, прихрамывая на обе ноги. И ожоги давали о себе знать. Особенно на плече и бедре. И двое бессонных суток вымотали меня. А было уже утро, и солнце палило. Спасибо Ряшкину: он остановился у колодца, позволил мне напиться и окатить себя из бадейки холодной водой. Стало полегче. Но вскоре пыль, осев на мокрое, покрыла меня с головы до пят серой коростой.

Еле живой, дотащился я до станицы и упал на жесткую сухую траву в тени церковной стены. Немного отдохнув, осмотрелся. Вокруг сидели и лежали еще десятка два пленных, офицеров и рядовых: многие были ранены. Кто-то стонал. Кружились большие наглые мухи. Чуть в стороне покуривали конвоиры, и мой в том числе.

На площади перед церковью — повозки, подседланные лошади, даже длинный черный автомобиль возле поповского дома. Туда тянулись провода полевого телефона. Там, конечно, находился штаб, где должны были нас допрашивать, но почему-то не торопились.

Послышались громкие голоса, какие-то распоряжения. С крыльца спустились двое командиров. Один в полувоенной одежде и без оружия, второй затянут офицерской портупеей, с наганом и шашкой. Вероятно, чин имели немалый: следовавшие за ними люди держались с явной почтительностью. Да и наши конвоиры вытянулись, замерли, едва заметив начальство.

С трудом приподнявшись, я оперся спиной о кирпичную стену, разглядывая красных командиров, направлявшихся к автомобилю. Лицо того, что в полувоенном френче с накладными карманами, показалось знакомым. Где я видел его?.. Да неужели? Не ошибка ли?

— Ряшкин! — позвал я.

Конвоир шагнул ближе.

— Чего приспичило?

— Слушай, тот, который впереди, Джугашвили? — в сильном волнении спросил я.

— Рехнулся? Сам ты небось Джугашвиля. Это товарищ Сталин!

Сталин? Мне доводилось слышать эту фамилию в Москве. Он — член первого большевистского правительства, председатель комиссариата по делам национальностей. Знал я и о том, что он теперь возглавляет оборону Царицына, но эта фамилия никак не ассоциировалась у меня с рядовым Иосифом Джугашвили...

Некогда было рассуждать, сомневаться. Сейчас он сядет в автомобиль. Если и ошибка, я ничего не потеряю...

— Конвоир! — строго сказал я Ряшкину.— Немедленно иди к Сталину и доложи: здесь подполковник Лукашов из Красноярска.

— Подполковник? — почтительно удивился Ряшкин моему званию.

— Живей, живей! Это очень важно!

К неописуемой радости моей, Ряшкин пошел. Неуверенно, бочком приблизился к машине. Сталин повернулся, выслушал солдата, посмотрел в сторону церкви. Я сделал знак рукой.

Да, это был он! Сильно изменившийся, сразу не узнаешь, но все же он: я убедился в этом, напряженно вглядываясь, пока Сталин шел ко мне. Он выглядел моложе, стал худощавей, светлей лицом. Отрастил густые усы. Но главная перемена заключалась в другом. Я видел его сдержанным, несколько даже подавленным в неблагоприятной для него обстановке, а теперь уверенность и решительность сквозили во всем: от посадки головы до походки.

— Вот они,— почтительно указал на меня Ряшкин.

Джугашвили-Сталин пристально разглядывал меня, брови приподнялись, выражая недоумение, и я сообразил: как ему распознать в грязном, обгорелом, изнуренном человеке некогда с иголочки одетого самодовольного подполковника, с которым беседовал давно и недолго? Но ведь голос-то не меняется!

— Здравствуйте,— сказал я.— Вот ведь где довелось встретиться...

Он промолчал, но по выражению лица я понял: что-то шевельнулось, пробудилось в нем, и поторопился напомнить:

— Вас тогда перевели в Ачинск.

— Совершенно верно.— Глаза его чуть-чуть потеплели.— Как вы попали сюда?

— Перешел на вашу сторону.

— Перешел? — Он чуть подался ко мне. Затем требовательно посмотрел на конвоира, ища подтверждения.

Ряшкин заморгал растерянно, переступил с ноги на ногу. Поймав мой полный надежды взгляд, покосился на сапоги. Правдивый все же оказался мужичок. Стукнул прикладом о землю и доложил:

— Так точно! Оне сами выскочили, и без стрельбы...

— Рад слышать,— сказал Сталин. Через плечо, не оборачиваясь, распорядился: — Товарищ Власик, отвезите его в Царицын, пусть вылечат. Под вашу личную ответственность. Когда поправится, скажете мне.

— Будет исполнено.

— До свидания,— с легкой улыбкой произнес Сталин. И, чуть помедлив, повторил: — До скорого свидания, Николай Алексеевич.

Я был поражен: он помнил мое имя!

...Пройдет много лет, после смерти Сталина недоброжелатели его, обвиняя во всех грехах, припомнят и этот случай, будут упрекать задним числом: своих товарищей по партии, верных пролетариев, не щадил, карая за малейшие срывы, уничтожал, а раненого белого офицера под Царицыном пожалел, спас. Как это, мол, расценивать?

Задававшие такой вопрос не замечали или не хотели замечать его нелепости, тенденциозности. Сколько было в ту пору пленных белогвардейцев, сколько их видел-перевидел Сталин. Сотни. И что, разговаривал он с ними, заботился, спасал? Если и сделал исключение для одного офицера, то причины имелись веские.

6

Некто Власик, чьим заботам я был поручен, оказался исполнительным и деятельным. Ночью мы находились уже в Царицыне. Привезли меня в длинное, похожее на казарму, здание недалеко от вокзала. Часовые знали Власика в лицо, пропустили нас, ничего не спросив. На втором этаже мне предоставили вполне приличную комнату с кроватью и тумбочкой. А предварительно я еще (стараясь не смочить обожженные места) обмылся в нетопленой бане, примыкавшей с тыла к казарме.

Вызванный утром старичок-доктор отнесся ко мне очень сочувственно. Обработал ожоги, порезы на ногах и сказал, что все это не опасно, гораздо важнее для меня полный покой, хорошее питание и крепкий сон. «Сильное переутомление, отдохнуть требуется. Нервы, нервы»,— несколько раз повторил он, обращаясь не столько ко мне, сколько к Власику. Тот кивал, ухмыляясь, и его ухмылка, я чувствовал, не нравилась доктору.

— Весьма признателен,— сказал я врачу.— Постараемся выполнить ваши предписания.

— Молодцом, молодцом,— похвалил он.— Могу навестить больного завтра,— это уже к Власику,— но сюда, в ваше учреждение просто так не пропустят.

— Назовёте свою фамилию, я дам указание,— напыжился Власик.

Он ушел вместе с врачом, а под вечер вернулся,

принес два свертка, большой и малый. В одном оказалось офицерское обмундирование, даже фуражка без кокарды и старые, хотя и крепкие сапоги. В другом — хлеб, сахар, чай и вобла.

— Кипяток в тамбуре возле дежурного,— сказал Власик. И предупредил: — На улицу соваться не советую. Не пустят...

— Учту.

— Учитывай или не учитывай — все одно: без меня ни шагу, и точка.— Ухмылка у него была наглая, держался он с подчеркнутым превосходством и вообще сразу произвел на меня неблагоприятное впечатление. Лет ему было меньше, чем мне, но он был из числа тех, кто предрасположен к полноте, фигура расплывчатая, рыхлая, физиономия тоже. Комиссарская кожаная куртка тесновата. Плоская кепчонка сдвинута низко на лоб. Хоть и не преминул Власик за наше короткое знакомство несколько раз подчеркнуть, что он пролетарий, из рабочего класса, а все же не мог его представить никем, кроме как половым из трактира или официантом из ресторана средней руки. Слащавая улыбочка: «чего изволите?» — и холодный расчет в глазах. Будет лебезить перед сильным, перед богатым, а при возможности без зазрения совести оберет до последней копейки пьяную жертву. Видывал я субъектов такого склада среди вестовых, ординарцев. Подобострастно улыбается начальству и готов издеваться над тем, кто ниже его. Хитрость и трусость соседствуют в них. Я прежде чурался подобных людей, но теперь находился в таком положении, когда знакомства не выбирают.

Для Власика я был загадкой, он не мог смекнуть, как разговаривать со мной. С одной стороны, вроде бы офицер, «белогвардейская сволочь», с которой и толковать нечего, а с другой, Сталин заботится, вылечить велел и все такое прочее. Смешно было наблюдать, как пытается Власик определиться, найти линию поведения.

— Ну, оклемался, что ли? — спросил он.— Хватит с тебя, завтра доложу, что здоров.

Да, пора было указать ему надлежащее место. Спустив ноги с кровати, я с подчеркнутым пренебрежением поманил его пальцем.

— Ты чего? — удивился Власик.

— Ближе,— ледяным тоном произнес я.— Здесь! Стоять!.. Если еще раз услышу обращение на «ты»...

— Ха! — перебил он, вновь обретая свою нахальную усмешку.— Ишь чего захотел...— Однако осторожность взяла все же верх.— А как еще обращаться? Может, «барин»? Или «ваше благородие»?

— Разрешаю называть меня гражданином и даже обращаться по имени-отчеству,— продолжал я окатывать Власика холодной водицей.— Иначе перестану замечать вас. Это во-первых!

— Будет и во-вторых? —Он все еще пытался насмешничать.

— Будет. Завтра в присутствии Сталина я дам вам пощечину и объясню, чем она вызвана.

— Ну, ты... Ну, вы это бросьте! — Он даже отшатнулся к порогу.— А то ведь можно и схлопотать.— Теперь он был явно растерян.

— Марш отсюда! За дверь! — скомандовал я.— И без стука в эту комнату не входить!..

Власик не выдержал моего тона, моего взгляда: он был озадачен, был обозлен, но все-таки выполнил мое распоряжение — исчез. А в следующий раз, прежде чем войти, постучался.

Приобщил, в общем, наглеца к элсментарной вежливости.

На следующий день я поднялся рано, выбрился, позавтракал и стал ждать. От предстоящего разговора зависело очень многое, и мне трудно было сохранить спокойствие. А Власик, как назло, долго не появлялся. Лишь во второй половине дня, потный, запыхавшийся, взбежал он по лестнице, постучался, поздоровался торопливо и сказал:

— Он у себя...

Повел меня мимо покосившихся заборов, мимо мертвых, холодных паровозов куда-то на запасные пути станции. Там стоял состав из нескольких пассажирских вагонов первого класса. Бойцы в гражданском, одетые всяк по себе, несли караул возле подножек. Прохаживался морячок с деревянной коробкой маузера через плечо. Он окинул меня цепким, запоминающим взглядом, молча кивнул: проходите.

Миновали просторный салон, где работали несколько человек, склонившись над бумагами. Кто-то говорил по телефону. Дробными очередями строчила пишущая машинка.

Дверь. Еще дверь. Власик подтянулся, поправил кепчонку, постучал костяшками пальцев.

В кабинете-спальне Сталин находился один. Он, видимо, отдыхал, полулежа на диване возле стола. И одет был по-домашнему. Темная гимнастерка с расстегнутым воротом — из какой-то мягкой материи. Такие же брюки заправлены в неказенные, не по шаблону сшитые сапоги.

— Пусть дадут чай,— сказал Сталин Власику и, улыбнувшись, указал мне на кресло.— Садитесь. Как ваше здоровье, Николай Алексеевич?

— Весьма признателен вам...— Я запнулся, не зная, как обращаться к нему. Он догадался:

— Иосифом Виссарионовичем зовут меня.

— Спасибо. Мне очень повезло, что встретился с вами...

— Не будем забегать вперед. Время покажет. А теперь хотелось бы знать, почему вы у нас?

Я не имел никаких причин скрывать, с какой целью перешел фронт. Наоборот, даже рассчитывал на Сталина, с его помощью больше надежды разыскать негодяев, если они в плену. Но мне трудно было говорить о своем горе, кощунственным казалось открывать чужому человеку то, что произошло с Верой. И вообще я отвык быть откровенным, делиться пережитым. С декабря семнадцатого года, после разговора с Алексеем Алексеевичем Брусиловым, я только тем и занимался, что молчал, таился, выдавал себя за другого, скрывая от всех непоправимое свое несчастье.

Пауза затягивалась. Хорошо, что вошел Власик. Пока он расставлял на столе стаканы, о чем-то советуясь со Сталиным, я внимательно разглядывал профиль Иосифа Виссарионовича. У него отросли волосы: густые, пружинистые, черные, зачесанные назад — целая шапка волос. В Красноярске, при первой встрече, он был

острижен, голова казалась маленькой, а нос — слишком большим. Нет, крупноват, конечно, нос, однако не очень. Это Давнис, вышучивая солдата, утрировал, бывало, для смеха... Стоп! Этот негодяй исполнял обязанности командира роты, с его стороны грозила Сталину неприятность.

— Помните капитана Давниса? — вырвалось у меня.

— Поручика?

— Ну да, тогда он был поручиком. Вырос теперь негодяй!

Сталин смотрел на Власика, застывшего у двери. Видно было — очень хочет послушать. Но взгляд Иосифа Виссарионовича был таков, что любопытный сразу исчез.

— Я помню,— сказал Сталин.— А в чем дело?

— Ищу его, чтобы задушить своими руками. Его и Оглы... Мне бы только добраться до них, не знаю, что с ними сделаю. Огнем буду жечь!

— Успокойтесь. Выпейте чаю и успокойтесь.

Нет, я уже не мог сдерживаться. Прорвалось то, что копилось, болело, терзало меня все последние месяцы. Я видел, как вздрагивают мои руки, слышал, как неузнаваем напряженный голос, но не в состоянии был остановиться: говорил, говорил, говорил, наполняясь признательностью к Сталину за то, что он так внимательно, сочувственно, сопереживающе слушает мою исповедь. А когда я сказал, что сотворили негодяи с моей Верой, глаза Сталина блеснули яростью, он ударил кулаком по столу.

— Позор! — глухо произнес он.— Это не люди, цис рисхва,[1] это разбойники с большой дороги!

И тут случилось такое, на что я, выгоревший, опустошенный, никак, казалось бы, не был способен: я заплакал, с трудом сдерживая конвульсивные, истерические движения. Сталин, тактично отвернувшись к завешенному окну, курил, давая мне время справиться со своей слабостью.

— Их мало расстрелять, этих бандитов,— произнес он.— Расстрел — слишком легкая смерть для них.

Собравшись с силами и подавив рыдания, я продолжил рассказ о своих странствиях и поисках, но теперь Иосиф Виссарионович слушал меня менее внимательно, думая о чем-то. Спросил:

— Скажите, вы воевали против нас?

— После революции я вообще не сделал ни единого выстрела. Это ведь можно проверить...

— Не надо проверки. Я убежден в вашей порядочности и, надеюсь, никогда не услышу от вас неправды.

— Все, что угодно, выскажу самое обидное и неприятное, но неправды не будет! — воскликнул я.— Слово чести!

— Это очень весомое слово,— торжественно произнес Сталин, будто принимая от меня присягу на верность.— Со своей стороны я во всем постараюсь помочь вам, Николай Алексеевич. Если понадобится — обращайтесь в любое время.

Сталин дважды нажал кнопку звонка. В дверях появился Власик.

[1] Черт побери (*груз.*).

— Прошу запомнить,— сказал ему Иосиф Виссарионович,— мы полностью доверяем товарищу Лукашову. Выдайте ему оружие и круглосуточный пропуск. И помогите разыскать тех людей, которых он назовет...

Да, этот человек, с которым так случайно свела меня судьба, был достоин самого глубокого уважения хотя бы за то, что мог верить, за то, что не боялся никакой ответственности, сам принимал любые решения. И это чувство — чувство глубокого уважения — возникло и окрепло во мне.

7

Уставшее за день разбухшее солнце тускло светило сквозь серую завесу пыльного воздуха: на багровый расплывчатый шар можно было смотреть, не щурясь. Теперь бы грозу с очищающим, освежающим дождиком, но на дождь не было никакой надежды. Измученный духотой и пылью, не имея, чем заняться, решил я засветло лечь спать, но тут появился возбужденный Власик. Поправив нелепую кепчонку, произнес с наигранной бодростью:

— Магарыч с вас причитается... Еще малость, и не встретились бы с ними на этом свете!

— С кем? — переспросил я, боясь ошибиться.

— Да с этими офицерами вашими...

— Где они?

— В надежном месте,— ухмыльнулся Власик.— Цепляйте оружие, на свидание пойдем.

Я засуетился, торопясь и нервничая, а Власик успокоил по-свойски:

— Не гоношитесь, куда им деться! Все одно — нынче каюк! Всю баржу ликвидируем...

— Какую баржу?

— На которой пленная контра собрана,— охотно сообщил Власик.— Там их сотня гавриков, половина небось перемерла в трюме.

— Не ошибаетесь, эти там?

— Ваши-то? Сам проверял. Я по своей службе ошибок не позволяю,— горделиво ответил Власик.

После моего разговора со Сталиным он был откровенен, разговорчив и даже вроде бы заискивал передо мной.

На пролетке выехали мы к берегу Волги, к отдаленному причалу. Вокруг пусто, разросся бурьян. Возле деревянного настила несколько лодок, катер и старая, низко осевшая баржа.

— Эта? — дрогнуло мое сердце.

— Нет, здесь внутренние контрики, которые по нашим штабам служили, а сами для белых старались. Эти не дозрели еще. Другая баржа на реке,— неопределенно махнул Власик.

Причал охранялся усиленным нарядом бойцов, таких же, как и у вагона Сталина: по виду рабочие, одеты не по форме. Как я понял, не красноармейцы, а специально отобранные красногвардейцы, прибывшие в Царицын вместе со Сталиным. У них в будке дежурного имелся телефон, Власик позвонил куда-то, сказал, что у него все готово, спросил, нет ли других указаний. Вероятно, нё было, и мы без промедления спустились

к лодке. Там сидел за веслами моряк в бескозырке, в бушлате поверх тельняшки. Он ворчливо заметил, что надо спешить: река широкая, а ночь будет темная... На это Власик возразил, что у нас есть «летучая мышь», помигаем — и нам ответят хоть с баржи, хоть с причала.

Моряк греб умело и сильно, лодка скользила быстро, без всплеска. Держась рукой за мокрый борт, я пытался сосредоточиться, решить, как поступлю с негодяями. Сколько мечтал о мщении, так стремился к этой единственной цели, что теперь, когда она была рядом, даже растерялся. Если б Давнис и Оглы попались мне тогда в Новочеркасске, я рвал, резал бы их на куски! Но теперь во мне было уже не бешенство, глухая черная ненависть давила душу тяжелой плитой. И снять, расколоть ее можно, лишь отомстив за Веру.

Я представил ее в могиле, в гробу, накрытую пуховым платком, словно бы вновь ощутил холод и твердость ее заледеневшего тела, окаменелую головку ребенка, и всколыхнулась ярость.

Стемнело, когда лодка неслышно подошла к нйзкому просмоленному бортў широкой старой баржи. Кто-то принял от нас конец, помог мне выбраться на палубу. Даже окрепший ветерок не смог развеять густой смрад, державшийся здесь. Запах разложения, человеческих испражнений, гнилой воды поднимался из щелей, над закрытым люком. Внизу, под палубой, угадывалось какое-то шевеление, скрежет, шуршание: будто раки терлись, скреблись в тесном садке.

— Порядок? — начальственно спросил Власик.

— Как приказано.

— Глубину мерили?

— На две таких хватит. Вы шуруйте свое, а мы готовы.

Власик зажег фонарь, хотя темнота еще не сгустилась. Моряк вынул маузер, кивнул мне ободряюще:

— Начнем представление? — Откинув крышку люка, он крикнул в зловонное черное чрево: — Капитан Давнис, поручик Оглы, на выход!

Усилилось шевеление под палубой, нарастал шум голосов, слышались стоны. В проеме люка появилась всклокоченная голова, обросшее щетиной лицо. Меня будто в грудь толкнуло — узнал негодяя с невинной ангельской физиономией. Совсем малое расстояние разделяло нас, нога моя сама поднялась для удара, как вдруг лицо Давниса исказила гримаса ужаса, с диким воплем откинулся он назад, исчез в люке, но и там продолжал еще вопить, может, целую минуту. Вся баржа наполнилась гулом, затрещала и качнулась от движения людей, кинувшихся подальше от люка.

— Господа офицеры, всем оставаться на месте! Тихо! — скомандовал я. И, убедившись, что распоряжение подействовало, продолжал: — Господа, здесь подполковник Лукашов. Верно, многие помнят меня по прежней службе. Я обязан сообщить вам нелегкую весть. Сейчас вы умрете. Что поделаешь, война есть война, и нынче такой кон выпал вам! — Полная тишина воцарилась внизу после этих слов.— Прошу, господа, встретить смерть с честью, как подобает русскому офицеру. Но среди вас есть двое, которые недостойны умереть вместе со всеми. Капитан Давнис и поручик Оглы зверски изнасиловали в Новочеркасске мою беременную жену, чем довели ее до самоубийства. Они преступники. Избавьтесь от них, господа, вышвырните их сюда. Для них — суд особый.

Негодующими возгласами взорвалась тишина. Под палубой кипела борьба, раздавалась ругань, и я, вздрагивающий от ярости и нетерпения, очень боялся, что офицеры сами расправятся с негодяями.

Моряк понял меня. Выстрелил над люком из маузера, крикнул зычно:

— Волоки их сюды живьем!

Появился Давнис, выпихиваемый снизу. Он судорожно цеплялся за край люка, извивался ужом, стремясь вернуться обратно в толпу, во тьму. И тонко, визгливо кричал, захлебываясь, без слов: «ай-ай-ай-ай!»

Опрокинутый навзничь, он лежал передо мной на палубе, дергаясь длинным телом. Глаза его были крепко закрыты, лицо залито кровью. Поручик Оглы вылез сам. Его смуглая скуластая рожа выражала такую ненависть, что моряк поосторожничал: сильной рукой прижал его к палубе. Пьяный он, что ли, этот Оглы: глаза сверкают, как у бешеного... Нет, пьяными они были тогда, когда ворвались к Вере!

Сукин сын Давнис с ума сведет меня своим истошным визгом!

— Да замолчи же ты, трусливая шкура!

Я выхватил шашку и с размаху, вертикально вонзил ее в горло Давниса: шашка вошла с хрустом, визг пресекся, сменившись булькающим хрипом. Негодяй дергался, как жук на булавке, я ощущал каждое движение и радовался той боли, которая корежит его тело. А когда он начал затихать, я со звериным, освобождающим наслаждением повернул шашку несколько раз, продолжая раздирать его горло и злорадно ощущая, что мерзавец еще чувствует боль.

Наверно, со стороны это выглядело дико и страшно. Власик подскочил ко мне с выпученными глазами на совершенно белом лице, ухватил за правую руку:

— Да вы что?! Ваше благородие! Ты совсем съехал! Нельзя так!

— Оставь! — крикнул я, голос и вид мой были настолько ужасающи, что Власик отпрянул куда-то за люк.

Бросившись к приподнявшемуся Оглы, я ударил его ногой по виску, чтобы повернуть к себе ненавистную рожу, а затем наискось полоснул по ней шашкой. И еще раз: сильно, глубоко, крест-накрест!

Шатаясь, пошел к борту, чувствуя, что сейчас меня вырвет. Хотел сунуть шашку в ножны, но никак не мог попасть. Чертыхнувшись, кинул ее в воду.

Моряк крепко обнял меня сзади за плечи, повел к лодке. Баржа гудела, выла, трещала у нас под ногами, а корма ее все быстрей, все заметней погружалась в воду.

— Шевелитесь, шевелитесь, не успеем! — торопил нас кто-то.

Сунув руку за борт, зачерпнул горстью воду, обмыл пылающее лицо. Ничего в эти минуты не испытывал, кроме омерзения. Было так скверно и муторно на душе, что я жадно схватил протянутую моряком флягу и торопливыми глотками осушил ее до последней капли.

А в голове болезненной жилкой билась, пульсировала лишь одна мысль: «Человек я или нет? Могу ли я, после всего происшедшего, считать себя человеком?!»

8

Несколько дней меня никто не тревожил. Я ел, пил, валялся на койке, даже выходил на прогулку, но делал все как во сне, автоматически, без всякого интереса. Никакие угрызения совести меня не мучили, доведись еще раз свести счеты с негодяями, я поступил бы точно так же. Но что-то переменилось во мне, оборвалось в душе, и было такое ощущение, что я и сам теперь мертвый. Все чаще возникало желание отправиться в Новочеркасск, лечь там в знакомую могилу и пустить пулю в лоб. А старый чиновник, если его попросить, сделает все остальное. Я поступил бы так, но не осталось энергии, чтобы снова хитрить, таиться, перебираясь через фронт, через казачьи станицы и хутора. К тому же не мог я уйти, не повидавшись со Сталиным: какие-то обязательства были теперь перед ним.

Начал забегать Власик, приносил продукты. О том страшном вечере не вспоминал, но в поведении, в голосе его угадывались теперь почтение и даже робость. Он не только стучался, но и кепку снимал, переступая порог. Только раз, крутнув головой, произнес уважительно, с завистью:

— Отчаянный вы! Аж я напугался!

Не дождавшись ответа, положил на стол сверток с воблой и хлебом, бесшумно исчез.

В конце концов нельзя же было только валяться на постели да есть казенный паек. Надо было что-то решать! Через того же Власика я попросил Сталина принять меня.

На сей раз беседовали мы не в кабинете-спальне, а в рабочем салоне. Думаю, что это не было случайностью, Иосиф Виссарионович не любил случайностей даже в мелочах и все старался продумать заранее. Мы больше не предавались воспоминаниям. Поздоровавшись, Сталин спросил, что я теперь намерен делать, чем заняться?

— Не знаю, мне безразлично.

— Так не бывает,— сказал Иосиф Виссарионович.— Так не может быть долго.

— Я потерял все.

— Пока человек жив, потерять все невозможно. У вас нет семьи, но у вас есть отечество.

— Где? По какую сторону фронта?

— Родина человека там, где его народ, где интересы его народа,— назидательно произнес Сталин, и слова его затронули меня лишь потому, что почти так говорил и мой уважаемый учитель — генерал Брусилов. И подумалось: кроме Брусилова есть еще лишь один человек, понимающий меня, принявший участие в моей судьбе. Оба они находятся по эту сторону фронта. А на той стороне для меня нет ничего дорогого. Больше того, если белым известно о затоплении баржи с офицерами... Нет, хватит, надо быть последовательным, а не метаться, как заяц.

— Не знаю твердо, на чьей стороне истина и справедливость,— сказал я,— но знаю одно: мое место здесь, с вами. На гостеприимство белых я теперь не рассчитываю.

— И правильно делаете.— Улыбка тронула губы Сталина, исчезла под густыми усами.— У белых тоже есть разведка, и, к сожалению, неплохая разведка. Там не будет пощады, вы понимаете это?

— Да, я пойду вместе с вами, Иосиф Виссарионович. До конца.

— И не ошибетесь,— весело произнес он и сразу же заговорил о том, что, вероятно, обдумал заранее.— Я не очень хорошо разбираюсь в военных вопросах. А у вас, Николай Алексеевич, большой опыт, солидная теоретическая подготовка... Кроме того, мне приходится заниматься и другими делами, трудно уследить за всем. Поэтому убедительно прошу вас принять на себя некоторые заботы.

— Что именно?

— В моем представлении офицер Генерального штаба — это энциклопедист. Вот и желательно, чтобы вы знали все.

— В каких пределах?

— Хочу, чтобы вы были в курсе военных событий во всей Южной России. Чтобы в любой момент можно было получить у вас совет, консультацию по нашим войскам и войскам противника. Что вам для этого требуется?

— Прежде всего — полное ваше доверие.

— Это само собой разумеется.

— Доступ ко всем источникам информации, к оперативным сводкам, разведывательным данным в оперативном управлении или отделе высшего штаба, если таковой здесь имеется:

— Штаб есть,— нахмурился Сталин,— нечто подобное штабу.

— Почему «подобное»?

— Потому что бывший полковник Носович, присланный сюда Троцким, не сумел или не захотел наладить работу, но сделал все, чтобы ее развалить... Вы знакомы с Носовичем?

— Нет. Но наслышан.

— Он принес здесь не пользу, а вред. Если и имеются достоверные сведения, то в группе войск товарища Ворошилова. Разумно будет прикомандировать вас туда. Меня вообще интересуют положительные стороны и недостатки наших штабов снизу доверху. А вам есть с чем сравнить, сопоставить. Будет полезно получить ваши соображения.— Помолчав, произнес тихо, даже проникновенно: — Я очень надеюсь на вас, Николай Алексеевич. У нас почти нет своих военных специалистов, а те, которых направляет Троцкий, не внушают доверия. Наши командиры воюют с ошибками, спотыкаются на ровном месте. Нам очень нужны специалисты, способные послужить надежной опорой.

— Но опираться можно лишь на то, что оказывает сопротивление.

— Это ваши слова? — быстро спросил Сталин.

— Кажется, Стендаля. Считаю их правильными.

Иосиф Виссарионович не сразу высказал свое мнение. Прошелся вдоль салона, бесшумно ступая, и я опять обратил внимание на его сапоги: это была обувь особого пошива, не стесняющая ногу, на довольно

толстой подошве. Возвратившись к столу, Сталин произнес:

— В этом есть рациональное зерно. Разве можно надеяться на людей, которые бросаются выполнять распоряжение, не задумываясь, как и что. Трудно верить людям, которые только поддакивают, только соглашаются. Либо это глупцы, либо двурушники, приспособленцы, которые скрывают свои мысли.— И, улыбнувшись, повторил: — Опираться можно лишь на то, что сопротивляется... Что же, Николай Алексеевич, это надежная основа для нашей совместной работы.

Должен признаться, что пользы от меня в ту пору, особенно в первое время, было немного. Хотя бы потому, что я оказался среди новых, непонятных мне людей, отличавшихся от тех, с кем приходилось общаться прежде. И еще потому, что штаба как мыслящего, объединяющего центра в группе войск Ворошилова попросту не существовало. Боевые действия велись полупартизанскими способами на самой примитивной основе. Сведения о противнике были скудные. Предвидение, планирование, разработка операций — все это полностью отсутствовало. Начинали белые наступать на определенном участке — туда направлялись и наши силы. Обнаруживалось слабое место у противника — наши там развивали активность.

В общем, все это было довольно естественно в тех условиях, когда новые вооруженные силы только начинали складываться. Но ведь это — стратегия одного дня. Наши войска под Царицыном не имели ни планов на будущее, ни ясной, конкретной цели. Чего мы намерены достигнуть? Удержать город? Этого слишком мало. Пассивной обороной положение не спасешь. Рано или поздно белые соберут силы, обойдут Царицын, захватят его штурмом. Успех придет к нам лишь в том случае, если мы наметим задачи по разгрому неприятеля и будем действовать для выполнения этих задач.

Таковы были мои соображения, когда я согласился принять участие в организации штаба новой 10-й армии, которая начала создаваться в последних числах сентября 1918 года из разрозненных соединений, частей и отрядов, составлявших до сей поры группу войск товарища Ворошилова. Он же назначен был и командовать армией. С созданием ее следовало спешить, не теряя ни часа, так как было совершенно ясно: белые концентрируют под Царицыном большие силы, готовят новое наступление, чтобы еще до зимы овладеть важнейшей крепостью на Волге.

Занятый этими заботами, я переселился на Московскую улицу, в дом 12, в трехэтажное здание, взятое себе армейским Реввоенсоветом. Помещение было просторное и достаточно удобное. Внизу — телефонная и телеграфная станции, комендантская команда. Непосредственно штаб занимал второй этаж. Здесь же я и спал, а обедал этажом выше, в столовой, руководствовала которой жена Ворошилова Екатерина Давыдовна, жившая там же.

Памятуя разговор со Сталиным, я неохотно занимался конкретными делами. Хотелось подняться до того уровня, на котором, к примеру, работал в годы германской войны штаб 8-й армии, не говоря уже о штабе Юго-Западного фронта. Сталину требовались не детали, не подробности — их он получал по другим каналам,— ему нужен был анализ, нужны были замыслы, предложения. Над этим я и трудился, опять же без особого успеха, так как не было достаточной информации. Мне все же удалось установить реальную численность наших войск под Царицыном и приблизительно определить силы, средства и потенциальные возможности противостоящего неприятеля.

В общем-то, я был доволен. У меня имелось какое-то место и занятие на этом свете.

Не забыть бы о другой барже, стоявшей у причала, про которую Власик сказал, что там находится «внутренняя контра». Как я узнал впоследствии, на эту баржу царицынские чекисты отправляли тех, кого считали предателями, опасными преступниками. Наверное, и эта баржа очутилась бы на дне вместе со своим живым грузом (и «концы в воду»), если бы не помешали некоторые обстоятельства.

Конечно, в ту пору я почти совсем не знал особенностей характера Сталина, его устремлений, пристрастий, не понимал подоплеки событий. Все это прояснится некоторое время спустя. И будет правильнее изображать события царицынского периода в основном так, как я воспринимал их тогда.

Приехав в Царицын летом 1918 года, Иосиф Виссарионович много сделал для укрепления обороны города и всего юго-востока республики. Он навел твердый порядок: прекратил свободную торговлю хлебом, пресек спекуляцию, мобилизовал на фронт рабочих. Он и сам трудился без отдыха, и других заставлял действовать напряженно. Благодаря его стараниям белые были отброшены за Дон. Толкаемые его энергией, его настойчивостью и твердостью, довольно регулярно шли в центральные районы страны эшелоны с хлебом, отправлялась каспийская нефть. Даже вагоны с арбузами уходили к северу, к голодающей Москве.

Если меня спросят, выстоял бы тогда стратегический пункт Царицын без Сталина, я отвечу: не уверен. Вполне возможно, что белые захватили бы город и соединились с колчаковцами, катившимися с востока. Ан — не вышло, и в этом заслуга Сталина. При всем том мне казалось, что и сам Сталин, и Ворошилов, и другие люди из ближайшего его окружения слишком много времени тратят на заботы, не связанные с укреплением обороны города, тем более с налаживанием быта, экономики. Они непрерывно вели какую-то междоусобную борьбу, отвлекавшую их от главных целей.

В середине августа, в трудные дни, когда передовые отряды белых вышли на подступы к городу и кое-где даже прорвались к Волге, в эти дни в Царицыне начались вдруг во всех штабах аресты, вносившие сумятицу, дезорганизованность. Брали бывших офицеров, служивших теперь в Красной Армии, но не всех подряд, а тех,

кто был направлен Троцким, кто был близок к этим посланцам из центра. Их обвинили в принадлежности к контрреволюционной организации, в саботаже, в заговоре и вообще во всех смертных грехах. Особенно — полковника Носовича, присланного Троцким еще весной на барже под строгой охраной. Но, в отличие от пленных офицеров, избавиться от них было гораздо труднее. У них имелись защитники в Москве, требовалось доказать, что они действительно являются «контрой».

Не будучи знакомым с Носовичем, я расспрашивал о нем людей и составил представление, как о человеке, знавшем штабную работу и трудившемся в Царицыне хоть и без особого энтузиазма, но вполне добросовестно. Другое дело, что, обладая повышенным честолюбием, не имел он прочных нравственных основ (может, растерял их в неразберихе революционного периода). Во всяком случае, установить конкретные факты, подтверждавшие измену Носовича, чекистам не удалось. Казнь (затопление баржи) задерживалась. А тут из Москвы поступила телеграмма с категорическим требованием освободить арестованных военных специалистов.

Отпущенный Носович сразу отбыл в штаб Южного фронта, чем и спасся. Потому что в сумятице боев, пока разбирались, кто прав, кто виноват, большая группа военспецов во главе с инженером Алексеевым была все же ликвидирована. Причем столь поспешно, что повторное распоряжение из Москвы освободить «заговорщиков» уже не застало их в живых. Но настоятельные требования центра, к счастью, спасли многих людей из числа тех, положение которых казалось безвыходным. Десятки военспецов вернулись с баржи. Лишь единицы могли двигаться сами, настолько они были истощены, ослаблены пребыванием в тесном, вонючем трюме. Среди этих счастливцев был и мой знакомый по 8-й армии Юго-Западного фронта Дмитрий Михайлович Карбышев, чье имя получило впоследствии мировую известность. Член коллегии по инженерной обороне государства (была такая в восемнадцатом году), он строил укрепления из бетона и брони на подступах к Царицыну, возле станции Гумрак. И, как бывший царский офицер, угодил на баржу.

Какова все же судьба?! От воды суждено было принять смерть Карбышеву. В своей Волге не утонул, нет: заледенел в фашистском концлагере!

Волей-неволей встает вопрос: был ли контрреволюционный заговор, готовился ли действительно в Царицыне мятеж бывших офицеров? А может, это самый первый из тех многочисленных «заговоров», которые потом изобильно виделись Сталину в течение всей его жизни, а то и специально фабриковались в угоду ему услужливыми приспешниками, затем «успешно ликвидировались», принося бессовестным дельцам лавры и славу?!

Так вот, я прочитал тогда в Царицыне все бумаги, познакомился со всеми обвинениями в адрес «заговорщиков» и могу утверждать, что обвинения были наивны и бездоказательны. Нет фактов, подтверждающих саботаж, подготовку мятежа. К тому же бумаги были состряпаны задним числом уж после того, как Носовича освободили, а Алексеева расстреляли с группой «бывших». Впоследствии и эти бумаги были уничтожены. Как объяснил мне Власик: — «Насчет заговора точно, все знали, доказывать времени не было».— «Такая формулировка не имеет юридической силы»,— сказал я. «Революционная формулировка»,— беззаботно возразил он. «Не революционная, а бандитская!» Он побагровел от таких слов:— «То есть как это так?» — «Очень просто. Подозреваю — убью: таким правилом может руководствоваться кто хочет: и белогвардеец, и простой уголовник. Что же в этом от революции?»

Вероятно, и Сталин, и Власик, и другие люди, причастные к уничтожению военспецов, не чувствовали твердой уверенности в своей правоте, может быть, даже опасались, что с них спросят. И возрадовались они, узнав, что полковник Носович перешел к белым! А затем оный полковник сам преподнес им оправдательный козырь. Он подал генералу Деникину докладную записку о своей деятельности в красном штабе, особо выделив контрреволюционную работу, в том числе организацию «заговора» в Царицыне. Это главный документ, освещающий те печальные события, но считать его правдивым и объективным никак нельзя. Ведь Носович бежал к Деникину не потому, что идеи белого движения были ему очень уж дороги (мог бы перебежать гораздо раньше), а из-за своей трусости и беспринципности. Его арестовали один раз — чудом избежал смерти. И в штабе Южного фронта он находился под подозрением, при первой же неудаче на нем могли отыграться, поставить к стенке. Надежней было перейти к белым, а потом убраться подальше от войны. Но для этого он должен был реабилитировать себя в глазах офицерства, в глазах Деникина. Доказать, что не столько приносил пользу красным, сколько вредил им. А факты — пожалуйста: заговор в Царицыне, о котором шумят сами красные. Вот подробности, вот фамилии. Тем более что эти данные никому не могли повредить: все названные Носовичем люди были уже расстреляны.

Мне казалось тогда, и впоследствии я не изменил своего мнения, что военспецы, бывшие офицеры, пострадали в Царицыне не из-за причастности к заговору, а из-за того, что были присланы Троцким и считались его ставленниками. А Иосиф Виссарионович, я это заметил сразу, относился к Троцкому с непримиримой, неколебимой ненавистью. Эта ненависть распространялась на всех и на все, что было связано с Троцким. С другой стороны, это же чувство самым теснейшим образом объединяло Сталина с командармом-10 Климентом Ефремовичем Ворошиловым.

В Царицыне я почти каждый день видел их вместе. Между ними, казалось бы, мало общего, но они с полуслова понимали друг друга, словно связанные духовным родством.

Ворошилов держался со Сталиным, как со старшим братом: вроде бы вровень, позволяя себе и шуточки, и словесные выпады, но и с большим уважением, с безусловной почтительностью. Ростом оба невысоки, Сталин сложен не лучшим образом, а Ворошилов строен, ловок, легок, подтянут. Иосиф Виссарионович замкнут, нетороплив, слова произносит веско, обдуман-

но. А Ворошилов горяч, вспыльчив, речь его часто опережает мысли. Сталин прекрасно владеет собой, по его лицу, жестам, по тону не поймешь настроение. У Ворошилова же все отражается в карих живых глазах: и радость, и злоба. В гневе лицо его багровеет, губы маленького рта плотно сжимаются, пальцы вздрагивают. Когда Климент Ефремович в таком состоянии, противоречить ему осмелится не каждый.

Иосиф Виссарионович, к которому сходились в Царицыне все нити военного и гражданского управления, предпочитал оставаться в тени, жил в своем вагоне, стоявшем на станционных путях, а не в городе. Не любил появляться на людях, произносить речи. Он не из тех, кто мог произвести впечатление на толпу, зажечь ее, выкрикивая горячие лозунги. Понимая это, он не занимался тем, что могли лучше сделать другие. Зато он обладал даром, который дается немногим. Сталин умел и любил обдумывать, взвешивать, плести сеть нужных ему взаимоотношений, подготавливать требуемую ситуацию. А затем, приняв решение, упрямо добиваться его выполнения.

Иосиф Виссарионович действовал размеренно, последовательно, настойчиво, словно бы экономя энергию, а Ворошилову, казалось, этой энергии некуда было девать. Спал мало, вскакивал рано, и одно стремление постоянно обуревало его: организовывать, приказывать, руководить. Если у него не было сразу десятка забот, сиюминутных задач, он закисал, нервничал.

Ни с кем, пожалуй, в Царицыне не чувствовал себя Сталин так легко и свободно, как с Климентом Ефремовичем. И на «ты» был лишь с ним одним, хоть и называл, как всех своих партийных товарищей, обязательно по фамилии. Только с Ворошиловым он тогда смеялся, причем смех у него был негромкий, хрипловатый, гортанный и какой-то очень открытый, захватывающий. От души радовался человек. Малоподвижное лицо его оживлялось, добрело, влажно поблескивали глаза. Смех очень менял Иосифа Виссарионовича.

Я понял, откуда меж ними такое взаимопонимание и близость, когда узнал от Ворошилова, что знакомы они давно, с апреля 1906 года. Климента Ефремовича, приехавшего в Стокгольм на партийный съезд, поселили в уютной комнатке, куда вскоре привели еще одного делегата, который, знакомясь, назвал фамилию Иванович. Был этот делегат жизнерадостен, любил посмеяться, охотно слушал и рассказывал комические истории. Климент Ефремович чувствовал себя скованно в заграничном городе, не решался зайти в одиночку в ресторан, помещавшийся в их доме на первом этаже: оттуда доносились вкусные, манящие и не всегда понятные запахи. А новый знакомый, оказавшийся грузином Джугашвили, увлек его попробовать тамошнюю кухню. Ну и какое-то интересное приключение вышло у них там (мужчины-то были молодые), в подробности они не вдавались, но каждый раз, когда вспоминали, им становилось весело.

В самом конце сентября 1918 года был учрежден Революционный Военный Совет Южного фронта. Иосиф Виссарионович хотел, чтобы командующим фронтом назначили Ворошилова. И сам Климент Ефремович надеялся и стремился занять новый пост, хотя мне лично думалось, что он совершенно не готов к этому. Одно дело командовать полупартизанской армией на сравнительно небольшом участке и совсем другое — руководить действиями войсковых масс на огромном пространстве, задумывать и осуществлять крупномасштабные операции, обеспечивать снабжение, пополнение, обучение резервов и многое, многое другое. Тут одной энергичности и желания мало, нужны опыт, знания, способности. Мне казалось, что Сталин поддерживает Ворошилова лишь потому, что сам имеет весьма смутное представление о руководстве войсками, об оперативном искусстве и тем более — о стратегии. И невдомек мне было, что они просто вели политическую игру.

В общем я считал правильным, что командовать Южным фронтом поставили боевого генерала П. П. Сытина, а помощником утвердили Ворошилова. Конечно, Сытин никогда звезд с неба не хватал, они приходили на его погоны с выслугой лет, но человек он был добросовестный, а главное — с солидным военным опытом. Не вызвало недоумения и то, что штаб фронта намечено было разместить в Козлове. Такой крупный руководящий орган не должен находиться близко от передовой, разжигая у противника соблазн разгромить его. И другое: в полосе фронта не только Царицынское направление, фронт велик, и каждый его участок по-своему важен. А район Царицына — как раз полоса для одной армии. Управлялась здесь 10-я, ну и дальше управится, особенно если усилить вооружение.

С первым положением: Ворошилов — помощник командующего, Иосиф Виссарионович, как я понимал, мог в конечном счете согласиться. Сам он — член Реввоенсовета фронта, значит уже два голоса есть. Еще один член Реввоенсовета — Минин — занимал нейтральную позицию и не мог серьезно влиять на ход событий. Но решение дислоцировать штаб в Козлове перетянуло чашу весов. «Троцкий хочет перевести нас туда и оторвать от нашей десятой армии,— говорил Иосиф Виссарионович.— Троцкий намерен лишить нас реальной опоры. Он поддерживает требование Сытина, чтобы члены Реввоенсовета не вмешивались в оперативные вопросы. Командовать будет Сытин, а мы — пешки при нем. Троцкий желает превратить нас в безголосых наблюдателей. Не выйдет!»

Взрыв, если так можно выразиться, произошел 29 сентября. Стремясь достигнуть разумного согласия, Сытин сам приехал в Царицын. С ним прибыли Минин и член Реввоенсовета республики Механошин — «соглядатай Троцкого», как называл его Сталин.

Иосиф Виссарионович держался на заседании спокойно, с достоинством, охлаждая порывы Ворошилова, когда тот начинал горячиться. Безусловно и категорически отверг Сталин требования о невмешательстве в оперативные вопросы и о размещении штаба фронта в Козлове. Минин осторожно, с оговорками, поддержал его.

Впервые присутствовал я на Военном совете красных столь высокого уровня, и многое показалось мне странным, перевернутым с ног на голову. Испокон веков в армии властвовал неписаный закон: если старший начальник каким-то образом дал понять, что не полностью удовлетворен тобой, твой долг немедленно подать ра-

порт о переводе или отставке. Это дело чести не только офицерской, но и просто человеческой. Конечно, после Февральской революции, когда в армии появилось много скороспелых офицеров, особенно из евреев, положение значительно изменилось. Порядочность, достоинство все больше отходили на задний план, уступая нахрапу, обману, карьеризму. Вот и теперь: о какой чести и дисциплине можно говорить, ежели Ворошилов видел в своем начальнике не авторитетного полководца, старшего наставника, а лишь царского генерала, чуть ли не врага, оттесняющего его от кормила власти? Сработаться, понять друг друга на такой основе не было никакой возможности.

Разошлись.

Ворошилов и Минин отправились вместе со Сталиным в штабной вагон, где продолжили без Сытина и Механошина неофициальное совещание. Впрочем, почему неофициальное? Только протокол не велся, а в остальном это было форменное заседание Реввоенсовета Южного фронта, на котором присутствовали помощник командующего и оба члена Реввоенсовета. Не было, правда, самого командующего, в чьи оперативные решения собравшиеся не имели права вмешиваться, но это не смущало их. По старым понятиям, участники такого совещания за спиной своего начальника преступали закон, являлись заговорщиками и подлежали суду. Но времена-то были уже другие.

Сталин говорил немного, давая возможность высказаться Ворошилову. А тот, обращаясь к Минину, доказывал, что Троцкий ведет свою линию откровенно и нагло, насаждая повсюду верных себе людей. Он оторвался от партии, слишком долго находясь за границей, а теперь ищет себе опору. («Создает опору»,— поправил Сталин.)

Для меня все это звучало как откровение. Впервые услышал я тогда фамилии Калинина, Фрунзе, Артема, Орджоникидзе. Оказывается, это последовательные большевики, которые проделали весь путь борьбы вместе с Лениным, а сейчас Троцкий стремится оттеснить их на второй план. Не обидно ли это? («Не только обидно, но и совершенно неправильно!» — опять уточнил Сталин.)

Разговор в салоне затянулся почти до утра. Не имея привычки к ночным бдениям, я несколько раз задремывал в кресле. Наверное, можно было уйти, испросив разрешения, но мне казалось, что Иосиф Виссарионович огорчится. Последнее время повелось так, что я не только знакомился со всеми важнейшими документами, но и находился при Сталине на всех совещаниях, встречах, касавшихся военных дел. Было очевидно, что он приобщает меня к своим заботам, и такое доверие было небезразлично мне.

Результатом заседания явилась телеграмма, отправленная утром в Москву, в Реввоенсовет республики, следовательно, тому же Троцкому. Содержание ее представлялось мне беспрецедентным: она требовала снять Сытина с поста командующего Южным фронтом и назначить на его место Ворошилова, чья подпись, между прочим, тоже «скромно» стояла под этим документом.

Какой смысл жаловаться Троцкому на действия Троцкого? Но я не знал тогда, что Иосиф Виссарионович, словно опытный шахматист, рассчитывает игру на несколько ходов вперед.

Прошли сутки, и понеслась в Москву к Троцкому еще одна телеграмма: положение Царицына становится все более серьезным, требуются точные, безоговорочные указания.

Они, эти указания, поступили 3 октября. Телеграмма Троцкого была резкой: «Приказываю тов. Сталину, Минину немедленно образовать Революционный Совет Южного фронта на основании невмешательства комиссаров в оперативные дела. Штаб поместить в Козлове. Неисполнение в течение 24 часов этого предписания заставит меня предпринять суровые меры». О Ворошилове вообще не упоминалось, как о личности в данном случае совсем несущественной, чем Климент Ефремович был кровно обижен. А Сталин, к моему удивлению, воспринял это грозное послание удовлетворенно, будто сам добивался его. Даже улыбнулся, но не по-доброму, а как-то мстительно: скорее не улыбнулся, а усмехнулся, холодно щуря глаза.

— Теперь у нас есть все основания обратиться непосредственно в Центральный Комитет,— сказал он.

Вот эта депеша, посланная из Царицына в 18 часов 30 минут того же дня:

«Председательствующему ЦК Партии коммунистов Ленину.

Мы получили телеграфный приказ Троцкого. Мы считаем, что приказ этот, написанный человеком, не имеющим никакого представления о Южном фронте, грозит отдать все дела фронта и революции на Юге в руки генерала Сытина, человека, не только не нужного на фронте, но и не заслуживающего доверия и потому вредного. Губить фронт ради одного ненадежного генерала мы, конечно, не согласны. Троцкий может прикрываться фразой Революционный Совет Республики, а приказ Троцкого не приказ Реввоенсовета Республики.

Необходимо обсудить в ЦК вопрос о поведении Троцкого, третирующего виднейших членов партии в угоду предателям из военных специалистов и в ущерб интересов фронта и революции. Поставить вопрос о недопустимости издания Троцким единоличных приказов, совершенно не считающихся с условиями места и времени и грозящих фронту развалом. Пересмотреть вопрос о военных специалистах из лагеря беспартийных контрреволюционеров.

Все вопросы мы предлагаем ЦК обсудить на первом очередном заседании, на которое в случае особенной надобности мы вышлем своего представителя.

Член ЦК партии Сталин.
Член партии Ворошилов».

Вот так случайно оказавшийся между двух огней порядочный человек генерал Сытин одним росчерком пера был зачислен в «предатели из военных специалистов». А себя авторы депеши величали «виднейшими членами партии» — эта лишенная элементарной скромности формулировка покоробила меня больше всего, о чем я и не замедлил сообщить Иосифу Виссарионовичу. Он посмотрел гневно, с лица отхлынула кровь.

Одно его слово, и я тоже окажусь в числе предателей. Но молчать не буду, нет.

— Я предупреждал вас: выскажу любую неприятность.

— Помню,— резко произнес Сталин.— Но какой смысл махать руками после драки? Следовало сказать раньше.

— Моего мнения не спрашивали.

— Впредь читайте документы за моей подписью и уточняйте формулировки.— Он совсем остыл и говорил без обиды, по-деловому.— И не стесняйтесь критиковать меня.

— Вы хотели сказать — не бойтесь. Я и не боюсь. За страх не служу, выгоды не ищу.

— Это хорошо. Это очень даже хорошо, дорогой Николай Алексеевич,— улыбнулся он.

11

Шестого октября Сталин уехал на несколько дней в Москву, чтобы продолжить свое сражение с Троцким. И, словно воспользовавшись его отсутствием, белые начали второе наступление на Царицын, более мощное, гораздо лучше подготовленное, нежели летом. Я безотлучно находился на Московской, 12, обобщая и анализируя донесения, стекавшиеся в штаб армии. И чем дальше, тем неприглядней обрисовывалась картина. Оборонительные наши линии прогнулись под натиском белых. До 10 октября войска еще сохраняли единый фронт, отступая понемногу и довольно организованно. Однако за неделю боев были израсходованы почти все резервы, мало осталось боеприпасов, а натиск противника не уменьшался, даже возрастал.

Как я и предполагал, в середине октября самые ожесточенные бои развернулись возле станции Воропоново. Там ясно обрисовывался таран, которым генерал Денисов хотел пробиться к Царицыну. Однако нам удалось подтянуть туда кое-какие резервы, перебросить несколько батальонов с других участков.

Слава богу, к этому времени в Царицын вернулся Сталин, и оборона обрела надежное руководство. Иосиф Виссарионович почти не покидал своего вагона, координируя действия наших сил, решая вопросы снабжения, резервов и т. д., а Ворошилов получил полную возможность заниматься тем, чем привык. Сведения от него поступали то из Морозовской дивизии, то из отряда бронепоездов. А когда возник кровавый узел у станции Воропоново, Климент Ефремович оказался, разумеется, там.

Постоянной связи со станцией не было, донесения приходили отрывочные, скудные. Сеяли панические слухи беженцы. В городе толковали о том, что казаков под Воропоново тьма-тьмущая, они неудержимо прут на Царицын, начальник 1-й Коммунистической дивизии Худяков убит, а командарм Ворошилов исчез неизвестно куда.

— Николай Алексеевич,— обратился ко мне Сталин.— Сейчас отправляем на Воропоново бронелетучку. Поезжайте, выясните, что с Ворошиловым. Разберитесь в обстановке и сообщите свои предложения.

— Будет выполнено,— ответил я.

Меня особенно встревожили слухи о гибели Худякова. Других товарищей, конечно, тоже жалко, однако без потерь на фронте не обойтись. Но если нет Худякова — кому же воевать?! Там, на передовой, он был, по моему мнению, главным действующим лицом!

Николай Акимович Худяков представлялся мне человеком незаурядным, с большим будущим. Это был опытный, храбрый офицер, заслуживший признание в боях с германцами. О его воинском мастерстве, о его мужестве свидетельствовали хотя бы награды: три Георгиевских креста, ордена Георгия Победоносца и Станислава, Георгиевское оружие. Офицеров с таким набором наград можно было встретить не часто. И если 10-я армия Ворошилова добивалась успехов, то значительную роль в этом играл бывший штабс-капитан Худяков, нынешний начальник 1-й Коммунистической дивизии. В боях он — мозговой центр, сгусток энергии.

Куда же без него?

Через полчаса короткий состав из паровоза и двух блиндированных вагонов уже находился в пути. Ехали быстро и без задержек. Навстречу, вдоль железнодорожного полотна, двигались повозки с ранеными, шли группы беженцев. Много было одиночных бойцов, некоторые — без оружия.

Впереди, над горизонтом, виднелись клубы дыма.

Бронелетучка остановилась у входных стрелок, проникнуть дальше на станцию не было возможности. Все пути были забиты эшелонами, отдельными вагонами, пассажирскими и товарными. Много беженцев и неорганизованных бойцов. У первого встречного командира я узнал, что Ворошилов где-то на станции, что километрах в трех отсюда прорвались белые, их отбросили штыковой атакой. А затор на путях потому, что нет ни одного паровоза.

Кое-что прояснилось. Моряку, начальнику бронелетучки, я приказал выявить вагоны с наиболее важным грузом (в первую очередь — боеприпасы) и сформировать состав для скорейшей отправки в Царицын. Но с отъездом подождать, пока я найду Ворошилова и приготовлю донесение для Сталина.

Разыскивая штабной вагон Климента Ефремовича, я обратил внимание вот на что. Неподалеку от Воропоново велась беспорядочная пальба, заглушаемая довольно сильной артиллерийской канонадой. Горели соседние хутора. А на самой станции — ни одного разрыва, ни одного пожара. Сделать вывод было не очень трудно. Казаки знают о скопившихся здесь эшелонах и намерены захватить их целехонькими. Отвлекая наше внимание по фронту, они наверняка готовят неожиданный удар с фланга или даже с обоих флангов. Причем удар будет нанесен в ближайшие часы, до наступления темноты. Ночь — не для казачьей лавы. На станции, среди рельсов и шпал, вагонов и стрелок — не самое подходящее место для конницы в темное время суток. А ждать утра белым не выгодно: за длинную ночь добыча может ускользнуть. Казаки не такие люди, чтобы упустить воинский приз.

Штабной вагон Ворошилова стоял в противоположном конце станции на вторых путях. К счастью, Климент Ефремович оказался на месте. Было еще несколько командиров, среди них (чему я очень обрадовался!) — начдив 1-й Коммунистической Худяков, хоть и раненый, но обходившийся без посторонней помощи. Показалось, что и Ворошилов ранен: на порванном, обгорелом френче — пятна крови (но выяснилось, что зацепило не его — помогал вынести пострадавшего товарища).

Климент Ефремович обрадовался моему появлению, расспрашивал, как в Царицыне, на других участках фронта; сказал, что напишет Сталину, а подробно, мол, сами доложите ему. На мой вопрос, как он оценивает положение, Ворошилов ответил довольно сдержанно: очень трудно, долго не устоим... Худяков выразился более откровенно: «Не будет подкреплений, до завтра Воропоново наше. Утром — конец».

Я посоветовал создать на дорогах заслоны, чтобы останавливать отходящих бойцов и возвращать их на передовую. Таких дезертиров (в тот период их считали не дезертирами, а несознательными гражданами) было не просто много, а слишком много: более пятидесяти процентов личного состава. Что спросить с мобилизованных крестьянских парней, у которых одна думка: не помереть ни за белых, ни за красных. Так вот, заслоны должны останавливать их и возвращать на передовую.

Худяков тотчас послал людей исполнить этот совет. А вот мои слова о том, что казаки постараются неожиданным налетом сегодня же захватить станцию, были встречены с большим сомнением.

— Не сунется казара,— заявил Худяков.— Три атаки мы сегодня отбили, кровь из них выпустили. Они тоже, думаю, не железные.

— Свежих бросят,— возразил я.— У них есть свежие силы.

— Может, и верно. Для казаков эти вагоны дюже приманчивые,— поддержал кто-то.

— Осторожность не помешает,— рассудил Климент Ефремович.— Одну роту выдвинем вот сюда, перекроем балку. Другую — на северо-запад. Распорядись, Худяков.

Тот, не спеша, хромая, вышел. Предложив мне выпить чаю, Ворошилов пристроился возле откидного столика писать донесение. Но едва я успел сделать несколько глотков, на путях раздались крики: «Казаки! Тикайте!»

— А, черт! — у Ворошилова сломался карандаш. Он вскочил, поправляя кобуру, прислушиваясь к истошным бабьим воплям.— Все за мной!

На станции — полный хаос. Беженцы метались из стороны в сторону, лезли под вагоны. Ревели дети. Раненые красноармейцы ковыляли, кто как мог, некоторые ползли, попадая под ноги шарахающейся толпе. Бойцы станционной охраны пытались остановить бегущих, но, когда затрещали близкие выстрелы, сами кинулись врассыпную, бросая винтовки.

Паника — это и нужно казакам! Ворваться с ошеломляющим гиканьем и свистом, врезаться в толпу, сбивая с ног бегущих. Удар клинка сверху, самым концом, с потягом — и голова надвое, как спелый арбуз!.. И моя голова тоже?!

Ворошилов и еще трое с ним катили по платформе пулемет. Я прикинул: ту сторону, где вокзал, они прикроют. А правое? Там никого нет! Побежал туда, за вагоны, схватив валявшуюся винтовку и жалея о том, что хорошо вооруженная бронелетучка осталась у входных стрелок. Вот какой-то пригорок, молодые, испуганные красноармейцы в свежих неглубоких окопах. Напряженные лица. Сейчас сорвутся эти красные солдатики, бросятся в степь...

— Лежать! — скомандовал я.— Всем оставаться на месте! Огонь по моей команде!

Упал рядом с «максимом». Бледный парнишка в кубанке никак не мог заправить трясущимися руками ленту. У него будто окоченели и не гнулись толстые грязные пальцы. Я оттолкнул его, вставил ленту, прилег поудобней и только тогда осмотрелся внимательно, оценил обстановку. Против нас была не конница. Казачья лава катилась по пологому склону гораздо левее, а здесь наступала пехота. Солдаты, наверное, торопились добраться до станции не позже кавалеристов, чтобы тоже отхватить кус добычи. Шли быстро, почти бегом, не ложась под редкими выстрелами. Да и что было ложиться: разрозненная пальба с нашей стороны не причиняла им вреда.

— Спокойно! — крикнул я красноармейцам.— Выбирайте цель, чтобы бить наверняка! Сейчас мы их пощекочем!

Можно было полоснуть очередью, заставить белых уткнуться носом в землю, но я не спешил. Важна первая, неожиданная очередь, чтобы срезать несколько атакующих, дать острастку другим. Чтобы лежали и не рыпались, стервецы! Пулемет — большая сила в умелых руках, а я эту машинку знал досконально. После русско-японской войны мы, молодые офицеры, очень увлеклись этим новым, перспективным оружием. По сложности сие, конечно, не паровоз, к которому я в свое время охладел. И вообще, я долгом почитал владеть всеми огнестрельными средствами, кои имелись на вооружении нашей армии. А иначе какой к черту из меня командир? Немало часов провел я в пулеметной команде, разбирая и собирая «максим» и более легкие (кавалерийские) пулеметы, учился прицеливаться, стрелять без промаха.

Ощутил пальцами знакомое сопротивление гашетки и жаждал преодолеть его, но что-то не позволяло мне сделать последнее: нажать, надавить. Это ведь даже увлекательно: подчинить себе резко, жестко взрагивающий металл, ровно повести ствол и увидеть, насколько точно легла цепочка твоих смертоносных пуль.

Ну, нажимай, бей!

Не сразу понял я, что не воспринимаю наступающих как противника. Что я привык видеть в прорези прицела? Мишенные фигурки японцев или германцев. Мне доводилось стрелять в наступающих немцев: они были в чужих шинелях, в касках, они вообще были врагами, а тут передо мной находились те самые солдаты, вместе с которыми я сражался три года,

шел на смерть. Наши шинели, папахи, погоны! Казалось, что я тоже двигаюсь вместе с ними. Только чуть впереди и сбоку, и вижу их всех. Но почему они идут на меня с такой опаской, почему страхом и ненавистью искажены их лица, почему так страшно блестят их штыки? А офицеры, мои коллеги, выставили револьверы, шагают пригнувшись и целятся прямо в меня.

Пора, пора было нажать гашетку, я понимал это, но внутренний тормоз мешал сделать последнее усилие. Этот офицер, что впереди, он так похож на меня, даже одет так, как я любил одеваться. Фуражка с крутым, почти вертикальным «морским» козырьком, короткая, чуть ниже колен, шинель. Сухощавая, подтянутая фигура, впалые щеки. Может, это действительно я, довоенный и военного времени, спокойный, уверенный в своей правоте, влюбленный в чудесную женщину, благородный, ничем не униженный и счастливый?! Но этой женщины уже нет, и вообще нет ничего позади, все сжег бушующий над Россией огонь: многое переменилось вокруг, а он (ты?) остался по-прежнему бодрым, беззаботным, веселым? Где отсиделся, как укрыл душу свою? Или ты принципиально против всего, что есть, ты за старое, сгнившее, над чем смеялись, издевались мы сами до всех этих революций?! Нет, ты — не я! Не хочу и не могу быть таким, я ушел дальше, вперед, а ты не смог... Зачем же ты раздваиваешься, мучаешь меня?! Я ведь не поверну к вам, белые, я чужой для вас, я убивал таких, как вы, на барже!

Пулемет размеренно забился в моих руках, выпуская длинную, в половину ленты, очередь. И те, кто, обнаглев, бежали в центре цепи, кто был ближе ко мне, полегли не успев осознать опасность. А я засмеялся. Это была отличная очередь. Стрелял не какой-то фабричный вахлак, только что надевший шинель, а кадровый военный. Даже унтеры, прослужившие при пулеметах два-три года, не могли похвастаться, что сразили одной очередью полдюжины наступающих. А я уложил их: и того офицера, наверное, капитана, в моей фуражке, в моей шинели. Может, я убил самого себя, прошлого?

Больше стрелять я не мог. Не было сил притронуться к пулемету.

— А, мерзость! — выругался я, опасаясь, что вновь начнет колотить меня нервная дрожь, как случилось после смерти моей Веры. Нездоров я был все-таки, нервы пошаливали.

Встал и зашагал на станцию, где сник бабий визг, прекратилась бессмысленная суета. Слабость и неясность были во мне. Только профессиональная привычка заставляла улавливать и понимать все, что творилось вокруг. «Максим», оставленный мной, продолжал стрелять: мальчишка в кубанке очухался. А раз стреляет он нечасто и короткими очередями, значит, белые не очень-то досаждают ему. И если бы бой там возгорелся с крайним напряжением, я бы возвратился к пулемету.

В тот день я окончательно преодолел рубеж, отделявший все мое прошлое от настоящей жизни, а самое главное — от будущей.

12

Кризис наступил 16 октября. В этот день белые расширили брешь, образовавшуюся по обе стороны Бекетовки, выбили остатки наших войск со станции Воропоново и двинулись дальше, к Садовой и к Царицыну. На этом направлении генерал Денисов ввел новые силы для развития успеха. А у нас больше не имелось резервов. Такое вот чрезвычайное положение: линия фронта напряжена и готова лопнуть, в одном месте — зияющая прореха, в другом, на самом опасном участке — большая дыра, в которую вливаются войска противника, почти не встречающие сопротивления.

Вечером в салон-вагоне Сталина обсуждали, что еще можно предпринять для удержания города. И даже — как вывести уцелевшие части из-под удара, если придется оставить Царицын. О том, что эта мысль уже прочно утвердилась в умах, свидетельствовало многое. Вокзал был оцеплен стрелками, выставлены пулеметы на случай, если неприятель вдруг прорвется сюда. Стоял под парами паровоз, готовый в любую минуту вывезти вагон Сталина, и еще полдюжины специальных вагонов. За вокзалом расположился отборный эскадрон с запасными лошадьми, с легкими тарантасами: на случай, если путь поезду будет отрезан и придется уходить грунтовыми дорогами. И еще — на реке возле специального причала ожидал пароход.

Предусмотрительно все это было, но грустно.

Настроение в салоне Сталина — близкое к похоронному. Уж во всяком случае — не обстановка делового совещания. Появлялись какие-то командиры, партийные и городские руководители. Сообщали невеселые новости. Бесшумно входили молодые замкнутые секретари Иосифа Виссарионовича, приносили бумаги, о чем-то спрашивали негромко. Сталин, чувствовалось, был возбужден гораздо сильнее обычного, почти не переставал дымить трубкой, изрядно отравляя воздух, но держался в общем-то хорошо, говорил обычным своим ровным голосом, и это очень нравилось мне. Проигрывать тоже надо уметь без истерики, с достоинством — это одна из отличительных черт порядочного человека.

А вот Климент Ефремович близок был к срыву. Измотали его неудачи, напряжение последних дней, потеря близких товарищей, тяжело было ему смириться с мыслью, что не может исправить, изменить положение. Безнадежно, устало смотрел он на карту. Оживлялся, когда поступали донесения, но, не уловив в них ничего обнадеживающего, вновь скисал. Возле него, как привязанный, неотступно держался начальник артиллерии армии Кулик, чернявый, похожий на цыгана, особенно теперь, когда оброс черной окладистой бородой. Я мало знал Кулика и не интересовался им, составив мнение после первого же разговора. Было ясно, что уровень его не превышает фельдфебельский, в лучшем случае — уровень прапорщика военного времени. Он, вероятно, мог командовать артиллерийской батареей. При хорошем начальнике штаба справился бы кое-как и с дивизионом. Но командовать артиллерией армии? Он даже не знал,

что это такое, каковы его функции. Есть пушки, есть цель: заряжай да пали — вот и вся стратегия Кулика. А поднялся он на свою высокую должность благодаря преданности Клименту Ефремовичу: Кулик не стеснялся подчеркивать это. И еще потому, что среди знакомых слыл храбрецом, не кланявшимся пулям. Я же, много насмотревшись за годы войны, перестал ценить такой элементарный, часто показной героизм, зато научился ценить мужество более высокого рода — способность иметь свое мнение и отстаивать его перед начальством.

Созерцание аспидно-черной бороды Кулика, печальные размышления о его неспособности управлять артиллерией, видимо, и натолкнули меня на мысль, показавшуюся достаточно интересной. В этой нервозной обстановке я вообще чувствовал себя довольно спокойно и не утратил своего обычного состояния. Терять мне было нечего, если и переживал, то за Иосифа Виссарионовича, на плечи которого легла бы ответственность за все неудачи. Обидно за него. И вот еще что. Для всех окружающих, включая и Сталина, сложившаяся обстановка являлась прямотаки трагической. Вояки-то они были недавние. А я из истории и по собственному опыту ведал, сколь переменчиво военное счастье. Доводилось нам и сдавать города, и возвращать потом их. Кроме того, я понимал, что даже при самом худшем для нас развитии событий белым потребуется не менее двух суток, чтобы овладеть Царицыном. А это изрядный срок. Чудес, конечно, не бывает, но мало ли что может случиться. Не все поддается предвидению. Захочет удача — и улыбнется нам: белые поосторожничают, допустят просчет, отодвинется срок нашего поражения, подоспеет помощь. Однако, на бога, как говорится, надейся, но сам не плошай! Сидел я, помалкивая, в углу салона, поглядывая на карту, на бороду Кулика, прикидывал. И как-то не заметил, что Иосиф Виссарионович внимательно наблюдает за мной. Подняв голову, встретил его вопрошающий и поощряющий взгляд:

— Николай Алексеевич хочет что-то сообщить нам?

— Не знаю.— Он застал меня врасплох.— Есть одна идея.

— Какая же, позвольте узнать?

— Давайте попробуем подумать за генерала Денисова,— не очень уверенно начал я.

— Ну-ну, думайте! Вам это сподручней и ближе,— раздраженно бросил Климент Ефремович.

Гневом блеснули глаза Сталина.

— Что это за тон, товарищ Ворошилов? Вы говорите совсем неправильным тоном,— резко и коротко махнул он правой рукой.

— Ничего, не беспокойтесь.— Злые слова Климента Ефремовича оживили меня, вывели из равнодушного созерцания.— Он ведь прав, Иосиф Виссарионович, образ мышления генерала Денисова мне гораздо ближе и понятней, нежели ему. И не ошибусь, если заявлю: все действия Денисова определяются сейчас тем, что он и его офицеры полностью уверены в своем подавляющем превосходстве, в полном успехе, в быстрой победе.

— Допустим,— Сталин слушал меня с интересом,— что же из этого следует?

— В этом сила Денисова, но в этом же и его слабость. Обратите внимание, он даже разведки не ведет. Он знает, что у нас ничего нет в запасе. Никаких неожиданностей с нашей стороны. Его войска движутся в колоннах, выслав лишь ближние дозоры. И эту самоуверенность мы можем использовать.

— Каким образом?

— Одну минуту, Иосиф Виссарионович... Сколько у нас артиллерийских стволов? — повернулся я к Кулику. У того аж борода дернулась от неожиданности. Наморщив лоб, он переспросил:

— Всего?

— Да, здесь, под Царицыном?

— Стволов двести наберется.

— Снаряды?

— Кое-где по сто на орудие.

— Так вот,— теперь я говорил, обращаясь к Сталину,— в нашем распоряжении вся нынешняя ночь. Это немало! Если начать прямо сейчас, к рассвету мы сумеем собрать все орудия возле Садовой. До последней пушчонки. Нет сомнений, что Денисов утром всеми силами обрушится на нас именно под Садовой, где ему сопутствует удача, чтобы проложить прямой путь к Царицыну. И вдруг по плотным боевым порядкам его частей — сосредоточенный огонь двухсот орудий. Десять, пятнадцать тысяч снарядов! Представляете, что будет?

— Сразу двести орудий? — усомнился Ворошилов.— Такого и на германской наверняка не бывало!

— Мы оголим весь остальной фронт,— полувопросительно произнес Сталин.

— Надо рискнуть. Если мы и отступим на других участках, это — не поражение, не разгром. Судьба Царицына решается под Садовой, генерал Денисов собрал там свои силы в крепкий кулак.

Все молчали. А я уже не мог сдержать себя и продолжал:

— В шестнадцатом году фронт Брусилова не имел перевеса над противником ни в живой силе, ни в артиллерии. Другие наши фронты имели, а Юго-Западный нет. Но наступать решил все же Брусилов, потому что победу добывают не бездействием, не обороной, а инициативой, смелостью, энергичностью. Алексей Алексеевич пошел на обдуманный риск, он снял незаметно для врага со всех участков артиллерию крупных и средних калибров, сосредоточил ее в районе главного удара и тем самым пробил, проломил оборонительные линии германцев, казавшиеся неразрушимыми и непреодолимыми. Так начался брусиловский прорыв, ставший примером...

— Успеем ли мы? — размышляя вслух, произнес Иосиф Виссарионович.— Товарищ Ворошилов, товарищ Кулик, сколько потребуется времени, чтобы доставить орудия с самых дальних участков?

Кулик колебался, медлил с ответом, зато Климент Ефремович, я видел, уже загорелся, почувствовал возможность сделать нечто конкретное, рискованное, почти невыполнимое, но все же возможное. Вдохновлять, распоряжаться, вести за собой — это его стихия.

— Если прямо сейчас, успеем, товарищ Сталин! Пошлю самых надежных людей, подстегнем! Кулик, показывай, где батареи!

— Приступайте,— сказал Сталин,— и приступайте без проволочки. Пусть все батареи движутся к Садовой. Там их встретят. А Николай Алексеевич позаботится о том, где выгоднее, где целесообразнее поставить орудия...

Признаюсь, наступившая ночь была одной из самых тревожных в моей жизни. Я боялся, что недооценил способностей генерала Денисова, опытности его разведки. Вдруг сейчас казаки не спят перед боем, перед решительным наступлением, а скрытно приближаются к Садовой? Вдруг они нанесут удары на тех участках, где мы сняли всю артиллерию? Опасался я и того, что наши ординарцы не разыщут в ночи батареи, что будет путаница, задержка, артиллеристы собьются с дороги, просто не успеют занять новые позиции. Все могло быть, а идея-то моя. Но не рискует только трус или равнодушный. А на войне вообще не обойдешься без риска. Мне казалось, что Сталин понимал это и готов был поделить ответственность за принятое решение.

При всем том уповал я на одну особенность человеческой психики. В кризисные ситуации появляются у людей какие-то дополнительные возможности, дремлющие в обычное время. Там, где усилий троих не хватило бы, справляется один. Где и днем заблудиться можно, идут безошибочно, как по нитке. И особенно удивительно, что люди сами чувствуют, когда именно возникает крайняя необходимость мобилизовать все свои внутренние резервы. Причем ощущают это не отдельные лица, а сразу вся масса, находящаяся в угрожаемом районе, сколь бы обширным он ни являлся.

К рассвету все было готово. По тогдашним меркам, сосредоточить двести орудий на узком участке казалось событием невероятным. Ничего подобного еще не было в гражданской войне. Ну, и генерал Денисов — молодец, не подвел меня, действовал самым элементарным образом. И все по той же причине: абсолютно не сомневаясь в успехе. Его части выдвинулись к Садовой в походных колоннах и лишь под огнем нашего охранения начали неохотно разворачиваться в боевые порядки. Вражеская пехота заполнила все видимое пространство, и наши стрелки, безусловно, не сдержали бы натиска. А ведь вдвое больше, чем пехоты, было у Денисова кавалерии. Казачьи сотни, казачьи полки скапливались в балках и даже на открытых местах, готовые хлынуть в прорыв, гнать красных, с ходу ворваться в Царицын.

И на головы этих уверенных в победе людей, в эти плотные массы точными, прицельными залпами совершенно неожиданно ударили две сотни орудий. Страшный грохот сотрясал всю округу. От одного звука кони шарахались в страхе, сбрасывая седоков, неслись куда попало. Каждый снаряд, взорвавшийся в тесных боевых порядках, убивал и калечил сразу десятки врагов. А орудия продолжали греметь, вихри разрывов взметывались все чаще. Ошеломленные, оглушенные, перепуганные белогвардейцы в панике бросились назад, бросая винтовки. А по этим толпам — еще и еще фугасы, шрапнель!

Это было форменное избиение. Артиллеристы крушили бегущих до тех пор, пока остатки пехоты и конницы не скрылись за холмами. Тогда в бой вступили наши полки. Вдохновленные успехом, красноармейцы преследовали деморализованных казаков, не позволяя им останавливаться, захватывая богатые трофеи. Мы добились большого, решающего успеха, почти не имея потерь в тот день.

Так начался второй перелом под Царицыном, надолго остудивший наступательный пыл белых. И, что самое главное, это событие прочно связало мою судьбу с судьбой Сталина. Он раз и навсегда уверовал в глубину моих военных познаний, в полезность моих советов, проникся уважением не только к моим способностям (он переоценивал их), но и к авторитету генерала Брусилова. Это вообще было особенностью негибкого характера Сталина: либо он принимал человека целиком, зачисляя его в разряд «своих», либо не принимал совершенно, относясь с полным равнодушием, не замечая. Ну, и еще были, конечно, враги, достойные лишь одного — уничтожения. Оттенков Сталин почти не ведал.

На всю жизнь усвоил тогда Иосиф Виссарионович одно из правил военного искусства, понял, как важно сосредоточить на решающем участке силы и средства, нанести по противнику неожиданный, массированный удар. Сия истина, имевшая особое значение в сочетании с другими формами ведения боевых действий, для Сталина со временем стала догмой, а любая догма, как известно, способна принести вред. Такой перекос очень и очень даст знать себя в дальнейшем. Когда Рокоссовский перед операцией «Багратион» выступит против штампа, его судьба, его жизнь повиснут на волоске. Но об этом потом, когда придет срок.

Ну, и еще один побочный результат нашего удачного артиллерийского удара. Недавний унтер Кулик, не отличавшийся ничем, кроме способности энергично выполнять приказы, запомнился Сталину как надежный, расторопный артиллерист, хороший организатор. Спустя два десятка лет, выдвинутый на очень высокий пост, Кулик своим неразумением и неумением нанесет ощутимый ущерб техническому развитию и боевой подготовке наших Вооруженных Сил.

13

Вскоре, в том же октябре восемнадцатого, Иосиф Виссарионович уехал из Царицына. Признаюсь, мне очень не хватало его. При нем я чувствовал себя уверенно и спокойно. И вот нужно было опять привыкнуть к своему одиночеству.

Распутица и наступившие за ней морозы значительно снизили накал военных действий. Казаки старших возрастов разбредались по хуторам, чтобы зимовать дома, поправлять хозяйство. И наши полки поредели: остались на передовой лишь те красноармейцы, которые имели теплое обмундирование.

Увеличилось дезертирство. Оградившись боевыми охранениями, противники расположились на зимних квартирах.

Затишье на фронте отразилось и на моем образе жизни. Дел было совсем мало. Я позволял себе по нескольку дней вообще не являться в штаб, сказываясь больным, и никого это не заботило. Ни разу не вспомнил обо мне Ворошилов. И это в общем-то, закономерно: для него я был одним из военспецов, к которым он относился неблагожелательно. Подал когда-то дельный совет — и ладно, спасибо на этом. Климент Ефремович ведь не знал наших взаимоотношений со Сталиным. Да и вообще, нелегко ему приходилось после отъезда Иосифа Виссарионовича: допекал его Троцкий телеграфными нотациями, предупреждениями и выговорами. А в конце концов даже самолично прибыл в Царицын «навести порядок».

Троцкий не скупился на указания и распоряжения. Но беда в том, что указания давались без соблюдения элементарных воинских правил, зачастую непосредственно исполнителям, в обход старших начальников. К примеру, начдив получал распоряжение, о котором не знал командующий армией. Может, от высокомерия это шло (сами, мол, разберутся), а может, нарочно поступал так Троцкий, третируя Ворошилова, подчеркивая неприязнь к нему, умаляя его в глазах подчиненных.

Климент Ефремович был подавлен, молчалив, угрюм. Он понимал, что недолго продержится теперь на посту командарма, жаль ему было расставаться со своим детищем, с 10-й армией, которая возникла и сформировалась во многом благодаря его усилиям. Но хоть и очень огорчен был Ворошилов, он старался не показывать своего расстройства, перед Троцким не заискивал, держался независимо. И произошло то, чего следовало ожидать. После отъезда Троцкого в декабре поступило распоряжение: Климент Ефремович был отстранен от командования. Он убыл в Москву, а оттуда в Киев, его включили в состав Временного революционного правительства Украины, только что освобожденной от германцев.

14

Из всех многочисленных встреч, коими одарила меня судьба, я останавливаю внимание главным образом на встречах с теми людьми, с которыми доводилось сталкиваться не один раз, пришлось вместе работать, переживать и горе, и радость. Одним из таких стал новый командующий 10-й армией Александр Ильич Егоров. При первой же встрече проникся к нему полным расположением. Когда я представился ему в числе работников штаба, Александр Ильич обрадовался:

— Очень приятно! Большой привет вам от бывшего солдата из Красноярска,— улыбнулся Егоров, и я понял, что направлен он сюда не без вмешательства Сталина.— Прошу вас к себе в двадцать часов.

Новый командарм занял апартаменты, в которых обитал Ворошилов с женой, но не все четыре комнаты, а лишь две: кабинет-приемную и спальню. Когда я пришел, в кабинете накрыт был ужин на две персоны: гречневая каша, самовар, заварка в большом чайнике и колотый сахар.

— Скромно живете,— пошутил я.— В Царицыне, слава богу, продовольствие еще не перевелось.

— Знаете, Николай Алексеевич, по сравнению с тем, что на Севере, такой стол — роскошь. Там дети голодными просыпаются, голодными спать ложатся. Мне сейчас даже неловко...

— Надо привыкать, казак против нас — сытый, крепкий, силенка требуется, чтобы с ног сбить.

— Буду стараться! — засмеялся Егоров.

Все понравилось мне в Александре Ильиче. Было в нем что-то от былинных русских богатырей. Не рост, как раз рост у него самый обычный, средний. А вот плечи большие, сильные, грудь широкая. Черты лица простые, крупные. И удивительное сочетание: тяжелый, раздвоенный ямочкой подбородок свидетельствовал о незаурядной воле, а в целом лицо было очень добродушное, даже доброе. Выделялись глаза: светлые, умные, понимающие глаза человека спокойного, рассудительного, интеллигентного. Одет он был в солдатскую гимнастерку, тесноватую в плечах. В манере держаться, разговаривать не было ни малейшего наигрыша, стремления как-то «подать» себя. Такое впечатление будто бы вообще не употреблял местоимения «я». Он отдыхал, чуть откинувшись на спинку стула, расслабившись, скрестив на груди могучие руки. И еще одно: стремление к тому, чтобы не было никакого недопонимания, к ясности во всем. Он и это слово-то повторял чаще других.

— Хочу, чтобы у нас была полная ясность, Николай Алексеевич,— весело произнес он.— Товарищ Сталин сказал мне о вас много хороших слов. Если понадобятся советы — буду обращаться к вам: вы здесь старожил.

— С удовольствием, все, что смогу.

— Не премину воспользоваться. И прямо сейчас,— посерьезнел Александр Ильич.— Такое впечатление, что в армии не очень рады моему приезду. Точнее — совсем не рады, есть даже недовольные. Это что — неверие в бывшего офицера?

— Отчасти. И сам Ворошилов, и многие его выдвиженцы с подозрением относятся к военспецам. Участь кое-кого из военспецов незавидна,— сказал я.— Но это, пожалуй, еще не самое главное. Ворошилов собрал армию из разрозненных полков, из партизанских отрядов. С этой армией он дважды отстоял Царицын. Все командиры в армии — друзья и приятели Климента Ефремовича. И вдруг дорогого начальника снимают, а вместо него появляетесь вы. Из Москвы и «бывший». Хорошо хоть, что здесь знают, что вы член партии большевиков,— говорилось об этом. А не то могли и в штыки принять...

— Веские факторы,— качнул тяжелым подбородком Егоров.— Но как преодолеть барьер отчуждения?

— Время поможет. Несколько успешных боевых операций.

— А если ускорить процесс?

— На первых порах, Александр Ильич, вам многое покажется странным. Хотя бы то, что некоторые

командиры полков явно не на своем месте. Не по деловым качествам, по дружеской привязанности назначались. Но вы не переиначивайте сразу, не ломайте сложившиеся отношения.

— Ни в коем случае,— сказал Егоров.— Пусть все идет своим чередом, пока не осмотрюсь, пока не будет полная ясность.

— А теперь продолжайте то, что не успел завершить Ворошилов: реорганизацию армии, превращение ее в настоящий воинский организм. Нет еще четкости в звене рота — полк. Нет тылового аппарата. Слабоват штаб. В процессе реорганизации можно постепенно заменить некоторых командиров. И еще: я хоть и далек от политики, но вижу, что комиссары нам нужны, да побольше. Командиры у нас, как правило, из крестьян, из казаков, этакие атаманы, буйные Стеньки Разины — всяк себе голова. А комиссары, как я убедился, укрепляют дисциплину, остужают горячие головы, служат организующим началом.

— Спасибо, Николай Алексеевич,— Егоров улыбнулся.— Да что же мы чай-то не пьем, остынет...

Давно ни с кем не было мне так легко, как с Александром Ильичом. После отъезда Сталина я вообще разговаривал только по служебным делам, пользовался репутацией молчуна и отшельника. Сыграло свою роль и то, что Егоров тоже был одинок первое время в Царицыне, искал встреч со мной. У нас было много общего. Люди одного поколения, мы прошли примерно одинаковый путь: оба фронтовика, оба дослужились до звания подполковника. Егоров, правда, получил при Временном правительстве звание полковника, но с усмешкой вспоминал об этом шатком правительстве и его «щедрости». И оба мы главной целью своей имели служение Отечеству, нашей России. Для Егорова эта цель была, вероятно, ощутимой, конкретной, он гораздо раньше меня определил свое место в революционных событиях. С самого начала он пошел с солдатами, с народом и — редчайший случай среди недавних офицеров! — вступил в партию большевиков. А я, выбитый из седла личной своей трагедией, долго плыл по течению. Хоть делами-то крепче многих других причалил к одному берегу.

Важную особенность отметил я в Егорове при первой же встрече, и она потом подтверждалась многократно: Александр Ильич обладал завидной способностью мыслить широко, масштабно, умел не только анализировать, обобщать, но и прогнозировать, а сей дар — редкость. Военный практик, превосходно знавший тактику, оперативное искусство, он при всем том имел стратегический склад ума — свойство, еще более редкое, бесценное и не сразу обнаруживаемое. Обычно такие люди, обладающие богатствами духовными, не любят бывать на виду, искать почестей — это им даже в тягость. Их славой (как, впрочем, и их дарованием) зачастую пользуются другие: энергичные деятели, рвущиеся к власти, к высоким постам, к богатству.

Ну, это — рассуждения. А рассказывая о Егорове того времени, я остановился бы на двух его начинаниях, имевших большое значение для Советской страны, для всего хода гражданской войны. Летом 1918 года Александр Ильич со свойственной ему тщательностью обдумал и разработал докладную записку на имя В. И. Ленина, обосновал необходимость создания для обороны молодого государства дисциплинированной регулярной армии. А чтобы порядок начинался с самого верха, чтобы были люди, ответственные за военные успехи и неудачи, за все военное строительство, предложил учредить должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики, организовать при Главкоме авторитетный штаб для руководства всеми боевыми действиями.

Предложения Егорова были одобрены и быстро осуществлялись. Сам он приносил немалую пользу: был председателем Высшей аттестационной комиссии по приему бывших офицеров в Красную Армию; одним из комиссаров Всероссийского Главного штаба. Но, как сказал мне, полного удовлетворения не испытывал, считая, что его место на фронте, где можно применить все то, что было продумано, выношено, понято. И вот тут речь пойдет о втором важном деле, которое Александр Ильич осознал раньше других, которому отдал много сил и энергии — о создании крупных масс красной конницы.

После русско-японской войны начался закат прославленной русской кавалерии. Считалось, куда, мол, она против артиллерийских орудий и скорострельных пулеметов! Так, для разведки, для патрулирования, для вспомогательных действий. Это мнение еще более укрепилось в период первой мировой войны, когда враждующие стороны зарылись в землю, оградив свои траншеи минными полями и колючей проволокой. Пехота с танками не могла прорвать такие позиции, что же говорить о кавалерии. Месяцами, даже годами томилась конница без работы. Кое-кто совсем сбросил ее со счетов: забот много, а толку мало. Однако тогда война была позиционная, а гражданская с самого начала обрела совершенно иной характер. Нигде не было сплошного фронта. Бои, сражения велись на отдельных участках, за отдельные города или районы. Войска редко закапывались в землю. Фланги, тылы были открыты. Победу одерживал тот, кто действовал быстро и решительно, маневрируя своими силами, охватывая и обходя неприятеля. А маневр, стремительность — это как раз для кавалерии.

Особенно проявилась решающая роль конницы на юге, на всем юге, начиная от Уральска, от Оренбурга до Северного Кавказа и далее до самого Днепра. На степных просторах коннице было где разгуляться. Людей, с детства привычных к седлу,— много. И коней достаточно. Белые генералы сразу учли эту особенность. Казачья конница составляла на юге более половины их войск. У нас же кавалерии было мало, и она не имела самостоятельной роли. Кавалерийские эскадроны или полки входили в состав обычных стрелковых дивизий, превращаясь часто в «ездящую пехоту». И никто до Егорова не пытался выбить из рук белогвардейцев их козырную кавалерийскую карту.

— В организационном отношении конница сейчас устойчивей, основательней пехоты,— рассуждал Александр Ильич.— Каждый пехотинец — сам по себе.

Вскочил, перекусил, чем придется, винтовку в руки и пошел. Ничем он не связан со взводом, с ротой. А у кавалеристов — общее хозяйство. Лошадей надо накормить, обиходить — тут в одиночку не управишься, тут крепкая низовая ячейка.

Я полностью был согласен с Егоровым и со своей стороны всячески старался способствовать Александру Ильичу. Под его командованием наши части отразили еще один натиск на Царицын, погнали белогвардейцев на юго-запад до самого Маныча. И в то же время постепенно осуществлялось то, что Егоров считал особенно важным.

Еще при Ворошилове (и Сталин активно содействовал этому) почти вся конница, имевшаяся в 10-й армии, была сведена в одну кавалерийскую дивизию, которой командовал Борис Мокеевич Думенко. Из отрядов и отрядиков, из полупартизанских полков и экскадронов родилась эта дивизия, собрали ее, можно сказать, по коню, по уздечке. Хоть и невелика численно, а боеспособность имела высокую. Почти все люди прошли империалистическую войну, каждый всадник — отменный рубака и меткий стрелок.

Эта дивизия могла бы послужить основой для более крупного формирования. Само собой получалось, что командовать таким формированием должен был Думенко. Кому же, ежели не ему: он самый видный, самый авторитетный среди казацко-кавалерийской вольницы Дона и Кубани. Его имя обладало большой притягательной силой для фронтовиков. Это ведь он создал на юге первый красный кавалерийский полк, затем бригаду и вот теперь возглавил первую кавалерийскую дивизию. И возглавил вопреки мнению Ворошилова, которому ничего не оставалось делать, как согласиться. Выскочил начдив из низов: хочешь не хочешь, а считайся с ним.

Климент Ефремович, командуя 10-й армией, вынужден был признать военный талант Думенко. Он терпел его. Почти также относился к Борису Мокеевичу и новый командир Егоров, считавший, что с дивизией этот партизан справится. Но ни Ворошилов, ни, тем более, Егоров не хотели, чтобы Думенко возглавил более крупное кавалерийское соединение, о котором мечтали и тот, и другой.

Недавний вахмистр Думенко имел, разумеется, определенные навыки строевого командира, был храбр, горяч, мог покорить земляков страстными призывами к борьбе со всемирными эксплуататорами. Везучий человек, он имел броскую, привлекательную внешность, но, наверное, не нашел для себя четкой руководящей линии. Ему нравился сам процесс драки, напряженной борьбы. Но когда окреп, организовался враг, для защиты Республики потребовались регулярные войска, подчинявшиеся единому руководству, единому плану борьбы. А Думенко поступал так, как считал нужным. Поведение его было непредсказуемым. Черт его знает, в кого он намерен стрелять сегодня, в кого будет стрелять завтра, кто у него друг, кто враг... Ему могло показаться неуважительным какое-то слово в письменном приказе, и он, разорвав бумагу, поворачивал дивизию в противоположном направлении. Или вдруг отправлялся в рейд по тылам белых, не удосужившись поставить в известность штаб армии, и никто не знал, где дивизия, куда запропастилась... В ней ведь нет ни коммунистов, ни комиссаров. Думенко — царь, бог и вершитель судеб.

На вызовы в штаб армии Думенко не являлся, посылая вместо себя Буденного, который был у него и помощником, и начальником штаба. А когда Егоров сам приехал в кавалерийскую дивизию, Борис Мокеевич был изрядно навеселе, грубил, обращаясь к командиру на «ты». И заявил: «Глаз да глаз нужен за тобой. Снаружи ты вроде красный, а нутро какое?..» Только выдержка помогла Александру Ильичу не сорваться. Больше того, через сутки он вновь наведался к Думенко, когда тот протрезвел, долго беседовал с начдивом с глазу на глаз, после чего ретивый кавалерист неделю ходил как побитый.

А между тем, имелся человек, почти столь же авторитетный среди конников, разбиравшийся в военном деле не хуже Думенко, но волею судьбы оставшийся на вторых ролях. Суть в том, что не Думенко присоединился к нему, а Семен Михайлович со своим отрядом влился в более крупный отряд Бориса Мокеевича. И получилось, что Думенко, добившись известности, славы, величественно восседал на дивизионном троне, а практическими делами, в том числе и боевыми, занимался неутомимый, вездесущий, напористый Семен Михайлович Буденный. Воинских отличий у него было побольше, чем у Думенко, он принадлежал к числу немногих, кто имел полный набор георгиевских крестов и медалей всех степеней, то есть самое высокое отличие за героизм. Послужил и повоевал он не меньше, чем Думенко, однако не занесся, не утратил понимания своего места под солнцем. Худощавый, ловкий, всегда аккуратно, даже щеголевато одетый, он в ту пору еще не носил тех усов, которые со временем стали определяющей чертой его портрета. Были у него усы, но обыкновенные казацкие, не закрывавшие скуластого лица с плоскими плитами щек, с крупным носом. Глаза — как небо зимой — холодные, чуть подернутые дымкой. Рукопожатие жесткое. И вообще он казался выточенным из крепкого дуба: если толкнешь — ушибешься.

Судя по всему, Буденный был сторонником укрепления дисциплины и организованности, искал связи с руководством армии, самостоятельность сочеталась в нем с исполнительностью, выработанной за долгие годы службы. Хорошо отзывались о нем Сталин и Ворошилов. Новый командарм-10 Егоров все чаще прямо обращался к Семену Михайловичу, минуя «непредсказуемого» Думенко. Я тоже считал, что если кто-то из кавалеристов достоин выдвижения, так это Буденный.

Между тем Александр Ильич постепенно упреплял дивизию Думенко людьми и артиллерией. В начале мая 1919 года Егоров подчинил себе еще одно воинское соединение, имевшее громкое название: 2-я Ставропольская рабоче-крестьянская кавалерийская дивизия товарища Апанасенко. Численность этой дивизии — всего две тысячи человек вместе с обозниками да три артиллерийских орудия, но костяк был надежный. Александр Ильич передал Апанасенко кавале-

рийский полк, входивший ранее в состав 32-й стрелковой дивизии. Затем вызвал к себе в полевой штаб, на станцию Двойничная, Семена Михайловича. Я присутствовал при этом разговоре. Бориса Мокеевича Думенко не было. Болел он или был уже тяжело ранен,— не помню точно. Эта рана, начиная с мая, надолго потом выведет его из строя. Во всяком случае, Буденный выполнял обязанности начдива, и я редко видел его таким возбужденным, как в тот день.

Наверное, у него уже была предварительная беседа с Егоровым, он сразу понял командарма. Александр Ильич заявил, что обстановка на фронте, активизация донской и кубанской конницы требуют немедленного создания в противовес им сильного кавалерийского соединения. Приказ о формировании конного корпуса готов. В него войдет 4-я кавдивизия (созданная Думенко) и дивизия Апанасенко, которой присвоен шестой номер. Командовать корпусом будет Буденный.

Семен Михайлович поднялся со стула. У него было счастливое лицо победителя, добившегося желанной цели.

— Товарищ Егоров... Я это... До самой последней капли,— хрипло произнес он, сжимая эфес шашки.

— Дорогой Семен Михайлович, хочу, чтобы была полная ясность,— дружески улыбнулся Александр Ильич,— мы ведь с вами понимаем, какие громы и молнии обрушатся теперь на наши головы, не правда ли?

— Пущай обрушиваются задним числом.

— Отстоять нашу идею, опрокинуть все обвинения мы можем только делом. Победа нам нужна, убедительная победа, Семен Михайлович.

— Я знаю,— сказал Буденный.

Вот так он и родился — первый в Красной Армии кавалерийский корпус. Новый командир корпуса вскоре уехал к себе, а Егоров остался ожидать неприятностей. Ведь решение о создании Конного корпуса он принял самолично, не имея формального права. Больше того, он хорошо знал, что против этой идеи, против этого решения обязательно резко выступит Председатель Реввоенсовета Республики Троцкий. По крайней мере по двум причинам. Это ведь Егоров прошлым летом обратился с докладной запиской к товарищу Ленину, доказав необходимость ввести должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики и создать авторитетный штаб при Главкоме. Хотел ли Егоров или нет, но он основательно качнул положение Троцкого, до той поры единолично ведавшего всеми военными делами. Слишком уж ответственный груз лежал на плечах человека, раньше никогда не занимавшегося военными вопросами, но выпускать из своих рук реальную власть он не желал. Хоть как-нибудь, лишь бы я! А учреждение новой должности и нового штаба значительно ослабило его позиции.

Это одно. Кроме того, Троцкий был вообще против, активно против создания в Красной Армии кавалерийских соединений. Есть экскадроны, есть полки — ну и хватит. При этом Троцкий не утруждал себя подыскиванием веских аргументов, а просто говорил, что конница — аристократический род войск, в ней прежде служили князья и графы, она была на привилегированном положении и пролетариату теперь не нужна. Мало того, конница в представлении Троцкого ассоциировалась почему-то лишь с казаками, а к казакам он испытывал прямо-таки физиологическую ненависть. Когда-то в еврейском местечке пережил он погром, учиненный черносотенцами и поддержанный казаками.

Находясь зимой 1918—1919 годов близ Дона, я был свидетелем того, как постепенно угас пыл боев, как пришла Красная Армия в казачьи станицы и мир начал устанавливаться на Тихом Дону. И совершенно уверен: не вспыхнуло бы там восстание, не пролилось бы столько российской крови, не было бы для Республики стольких осложнений и бед, если бы не троцкистская политика на Дону. Казаки — народ гордый. Они и бедность, и трудности переживут, они бы ко всему притерпелись, если бы не оскорбления, унижения, злобные провокации со стороны эмиссаров Троцкого. Казакам спарывали лампасы с шаровар, ревкомы упраздняли слово «станица»...

В том шикарном поезде, в котором с тремя поварами разъезжал по фронтам Троцкий имелся вагон-типография, выпускалась персональная, можно сказать, газета под названием «В пути», печатались многочисленные приказы. Несколько экземпляров газеты присылалось для сведения в штаб 10-й армии. Попал к нам и номер от 17 мая 1919 года со статьей «Восстание в тылу», вышедшей из-под пера самого Троцкого. Очень покоробила эта статья Егорова и меня. В ней говорилось, что восстание на Дону надо прижечь каленым железом. Ну, это закономерно. А дальше следовало требование безжалостно уничтожать не только мятежников, но и жителей казачьих хуторов и станиц. «Каины должны быть истреблены. Никакой пощады к станицам, которые будут оказывать сопротивление!» Да как же так?! На войне почти каждый населенный пункт берется с боем, «оказывает сопротивление». Значит, будем уничтожать все деревни, станицы, города, истреблять население, детей и женщин? А если в семье один сын за белых, другой — за красных? Да и вообще, при чем тут семьи, мирные жители? Так ведь в короткий срок оголим, истребим всю Россию, мы — одну половину, белые — другую. Для кого же, для чего же тогда воюем?

Оказалось — это еще цветочки! Я был совершенно потрясен, когда узнал, что по предложению Льва Давидовича, по его настоянию ЦК РКП(б) принял резолюцию о полном уничтожении донского казачества, подписанную Яковом Мовшевичем Свердловым! Это же надо: принять решение об уничтожении населения на территории, равной среднему европейскому государству! И кого уничтожать: прекрасных тружеников-земледельцев, замечательных воинов, оберегавших рубежи отечества. В мировой истории, полной всяческих трагедий, не бывало столь варварских официальных решений! Вполне понятно, что по донским станицам и хуторам поползли страшные слухи: в Москве, мол, постановлено извести всё казачество под корень. Ну и, естественно, ожесточение борьбы возросло, многие казаки, даже не желавшие воевать, брались за оружие.

Ставленники Троцкого свирепствовали не только на

Дону, они готовы были уничтожить и кубанских, и терских, и уральских казаков. Однако основная масса красных бойцов и командиров не пошла в этом отношении за Троцким и его сторонниками. Такие полководцы, как Егоров и Буденный, такие военно-политические руководители, как Сталин и Ворошилов, открыто выступили против линии Троцкого. В войсках его имя вызывало неприязнь и страх. Еще бы: если в части, в подразделении были отказы от выступления на фронт, Троцкий приказывал строить полк и расстреливать каждого десятого. Или даже каждого пятого. Что ему — людей жаль? А если в подразделении был перебежчик, Троцкий расстреливал комиссара. Такая патология была у этого эпилептика.

Забегая вперед, скажу: после всех зверств Льва Давидовича меня не очень удивило то, как жестоко расправился он с участниками Кронштадтского мятежа, залив крепость кровью и правых и виноватых. И уж, конечно, не воспринял я потом, спустя годы, как нечто потрясающее, сверхъестественное, решение Сталина об уничтожении кулачества как класса. Притерпелся к безудержной жестокости Троцкого, Уншлихта, притупилась восприимчивость. К тому же Сталин, в отличие от Троцкого, вел речь не об уничтожении людей-кулаков, а о политической акции, о ликвидации класса, то есть, как я понимал, о лишении кулаков их экономической силы. Существенная, на мой взгляд, разница.

Вернемся к событиям гражданской войны. На Дону восстание, на Кубани создана новая белая армия, Лев Давидович охрип, требуя полного искоренения казаков, а в этот момент командарм Егоров отдает приказ о создании первого в Республике Конного корпуса. И больше половины, примерно две трети личного состава этого корпуса — казаки! Воздадим должное мужеству и дальновидности Александра Ильича. Попробуйте только представить себе, чем кончился бы рейд генерала Мамонтова на Воронеж, поход Деникина на Москву, не окажись тогда на самом решающем участке борьбы мощное кавалерийское соединение Семена Буденного!

Только одного этого, только создания Конного корпуса и затем Первой Конной армии с лихвой достаточно, чтобы Александру Ильичу Егорову был воздвигнут достойный памятник. А ведь это лишь часть того, что он совершил для победы Советской Республики, для развития и укрепления наших Вооруженных Сил.

15

Один бой, важный бой, который был выигран Егоровым над картой, еще до первых выстрелов.

Двадцать пятого мая 1919 года войска Деникина начали с дальних подступов новое наступление на Царицын. Утром к нам на станцию Ремонтная, где находился поезд командарма, пришло донесение: белые форсируют реку Сал в районе хутора Плетнева. На правый берег переброшены значительные силы пехоты, наши стрелковые подразделения не могут их остановить и отбросить. Вполне возможно, что на этом направлении деникинцы наносят основной удар.

— Они начинают там, где мы предполагали,— произнес Александр Ильич, едва я по его вызову вошел в салон. По своему обыкновению, Егоров словно бы постеснялся сказать, что предполагал-то, собственно, только он, а у меня были колебания на сей счет. Накануне я даже высказался против того, что Егоров отвел с передовой весь корпус Буденного и скрытно сосредоточил его как раз возле названного хутора, на северных скатах высот. Но такова уж была тактичность Александра Ильича.

— И все-таки не отвлекающий ли это маневр? — высказал я опасение.

— Не думаю,— ответил Егоров.— Другой крупной группировки у них нет, и чтобы создать таковую, потребуется несколько суток. А сейчас, Николай Алексеевич, взгляните на карту. Любопытная картина, не правда ли?

Карта была не штабная, а лично Егорова, которую он вел сам и с которой никогда не расставался. Скрупулезно было нанесено положение наших войск и противника. Вот хутор Плетнев. Корпус Буденного навис над флангом деникинцев, переправившихся через Сал. Нет, они явно не знают, что здесь наша конница. И если деникинцы будут развивать наступление на запад, что они, скорее всего, и сделают, то с востока можно ударить им в тыл, отрезать от переправ.

— Они не рискнули бы, если бы им было известно, где Буденный,— вслух рассуждал Александр Ильич.— Буденный двигался ночью, не заходя в населенные пункты... Я велел приготовить лошадей, Николай Алексеевич, вам и себе. Не сочтите за труд поехать со мной.

— С удовольствием. Но зачем ехать вам?

— Нужно, Николай Алексеевич, очень нужно. Для Буденного это первое сражение в новой должности.

Даже наша кратковременная поездка была организована безупречно, как и все, за что брался обстоятельный и предусмотрительный Александр Ильич. В дороге мы несколько раз получили донесения из района боев и были в курсе событий. Деникинцы переправили через Сал по меньшей мере два полка пехоты и продолжали форсирование, оттесняя от реки наши подразделения. Именно оттесняли, даже не пытаясь опрокинуть. Это еще раз доказывало, что здесь противник готовится к стремительному рывку, не отвлекаясь на второстепенные задачи.

В мае солнце заходит поздно, однако оно уже склонилось к горизонту, когда мы приехали к Буденному. Обе его дивизии отдыхали. Картина открылась удивительная. Насколько хватал глаз, повсюду — на скатах и в низинах — расположились бойцы. Тысяч пять или больше. Эскадронами, полками спали они в степи на молодой траве. Под присмотром коноводов тут же паслись кони. Сам Семен Михайлович тоже похрапывал, раскинувшись на бурке. Жалко было будить его, но время не ждало. Александр Ильич, отстранив ординарца, тронул Буденного рукой. Никакого впечатления. Толкнул посильнее.

— А?— приподнялся Семен Михайлович, часто моргая.— Пора?

— Вот именно,— улыбнулся Егоров.— Прошу извинить, доспите потом.

— Товарищ командующий?! — как пружина, взметнулся Буденный.— Что случилось?

— Пока ничего, но есть возможность крепко помять бока неприятелю. Поднимайте и стройте корпус.

Егоров и я были приятно удивлены тем, что произошло после команды Буденного. Не очень-то просто в полевых условиях построить хотя бы полк, на это требуется время. Тем более — кавалеристов. И самому бойцу надо сообразить, что к чему, привести себя в порядок, найти эскадрон, взвод, отделение, да ведь еще и коня надо отыскать, подседлать или хотя бы подтянуть подпругу. А тут целый корпус, две дивизии, дюжина полков готовы были через пятнадцать минут выступать в поход и начать бой. Чувствовалась выучка. Александр Ильич похвалил Буденного. Тот сдержанного улыбнулся, был доволен.

Пока корпус строили, Егоров успел объяснить Семену Михайловичу обстановку, поставил задачу. План был прост и надежен. 6-я кавдивизия Апанасенко выходит к хутору Плетневу с запада, где держится наша пехота, и вместе со стрелками атакует противника, приковывая к себе внимание белых. Тем временем Буденный с 4-й кавдивизией незаметно подходит к переправе с востока, от хутора Гуреева, и всеми своими полками обрушивается на деникинцев с тыла, отсекая от реки. Чтобы у врага было больше паники и неразберихи, удар нужно нанести в сумерках, как только диск солнца скроется за горизонтом.

— Мы будем у Апанасенко,— сказал Егоров.— Коней нам смените, дайте свежих да повыносливей.

Без плана, без замысла, без предварительной прикидки всех возможностей на войне не обойтись, но в моей многолетней и разнообразной практике не было случая, чтобы бой или сражение протекали точно так, как было задумано. Ведь враг-то противодействует, внося свои поправки в развитие событий, да и всяких случайностей не избежать, поэтому обязательно требуется по ходу дела вносить изменения, надеяться на инициативу самих исполнителей. Особенно в быстротечных схватках подвижных, маневренных войск, будь то конница или мотопехота.

Вместе с передовыми эскадронами 6-й кавдивизии мы прибыли к месту боя в самый критический момент. Накопив на правом берегу Сала крупные силы, деникинцы решили уничтожить наш заслон, все еще державшийся за хутором. Он особенно не досаждал белым, однако оставлять его на ночь враг опасался. Но если белые ликвидируют заслон, то 6-й кавдивизии придется разворачиваться для атаки в степи без прикрытия, под огнем неприятеля. Егоров мгновенно оценил положение.

— Николай Алексеевич, скачите, пожалуйста, к Буденному, скажите ему, что мы начинаем атаку раньше. Пусть и он поторопится, если успеет.

— Буденный услышит, как разрастается бой — поймет.

— Ах, Николай Алексеевич,— с легкой укоризной промолвил Егоров.— Может и не понять. Он прежде всего о своей дивизии думает, а не обо всем корпусе. Не перестроился он еще, это не просто. Скачите, помогите ему, пожалуйста.

Примерно час потребовался мне, чтобы добраться до Семена Михайловича. За это время бой западнее Плетнева разгорелся ожесточенный, била артиллерия. А Буденный, как и предполагал Егоров, не обеспокоился этим. Он готовил для атаки свою дивизию, готовил умело, был целиком поглощен делом, упустив из вида, что отвечает и за другую дивизию, за всю операцию в целом. Да, он еще не чувствовал себя командиром корпуса. Он не заторопился и после того, как я передал ему указание Егорова. Семен Михайлович ждал, пока выдвинутся к реке пулеметные тачанки. Они должны огнем отсечь белых от переправы, а затем бить по левому берегу, чтобы враг не подбросил подкрепления. В общем, затянул Буденный до сумерек, но и атака его дивизии прошла, надо отдать должное, безупречно. Деникинцы обнаружили у себя в тылу конницу, когда поздно было уже что-то предпринять. Зажатые с двух сторон, белые заметались в панике. Многие сдались в плен, сопротивлявшихся вырубили. Назад, через Сал, успели перебраться лишь считанные десятки деникинцев. За полтора часа враг потерял примерно три пехотных полка со всем оружием. Задуманное белыми наступление обернулось для них трагедией.

И все было бы хорошо, но пропал Егоров. Бойцы рассказывали: первую атаку эскадронов 6-й кавдивизии деникинцы не только отразили, но и сами продвинулись вперед (пока Буденный еще не вступил в бой). Тогда Александр Ильич собрал вокруг себя отступивших кавалеристов и повел их спасать наш заслон, приковав к себе внимание неприятеля. Сам поскакал впереди группы всадников. Больше его не видели.

Долго искали командарма в окрестностях хутора, в самом хуторе, в садах и огородах, на берегу Сала. Попробуй найти в темноте, среди множества трупов, стонущих раненых. Наконец обнаружили Александра Ильича метрах в трехстах от хутора. Доскакал он все же до беляков. Валялись вокруг убитые люди и лошади, много было погибших наших пехотинцев. А Егорову пуля вошла в левое плечо. Он потерял большое количество крови, ослаб, был плох. Я с помощью бойца перевязал его, но место для перевязки неудобное, да и волнение мне помешало: кровь продолжала сочиться.

На скаку спрыгнул с коня Буденный, оттолкнув всех, упал на колени возле Егорова, опытным взглядом сразу оценил положение. Разодрал свою нижнюю рубашку, быстро и ловко наложил повязку. А лицо у него было растерянное, в глазах (один раз в жизни я только и видел!) стояли слезы, смотрел на Егорова умоляюще: «Выживи, выживи!»

Сам он отнес Александра Ильича к повозке, потом на станции сам же бережно перенес его из повозки в вагон. (И разве мог тогда я, свидетель этой трогательной, искренней сцены, предположить: пройдут годы, и Семен Михайлович выскажется за смертный приговор человеку, которого так хорошо знал, которому многим был обязан. И ни один мускул не дрогнет на его лице, ни на секунду не затуманится ледяной блеск его глаз.)

За тот бой у переправы одним из первых в стране

получил Александр Ильич Егоров орден Красного Знамени. Так было отмечено его военное мастерство и личное мужество. А я простился с ним на вокзале в Царицыне. Армейский врач настоял, чтобы Егорова отправили в Саратов к какому-то знаменитому хирургу. В одном вагоне с Александром Ильичом увезли и Бориса Думенко: состояние его было тяжелым, он бредил.

Прошло еще некоторое время, и Царицын, столь долго и упорно отражавший наступления неприятеля, пал под натиском деникинцев. Все-таки многое зависит не только от войск, но и от тех, кто ими командует. Город держался при Ворошилове и Сталине, даже не имея, казалось бы, достаточно сил для обороны. Город держался при Егорове. И не только держался — враг был отброшен. А не стало талантливого военного руководителя, энергичного организатора, и белые довольно легко захватили крепость на Волге. И виноватых нет. Какая же у человека вина, если он не способен: разве что только в том, что не осознал своей неспособности, принял на себя ответственность... Говорят, что солдатами не рождаются. Возможно. В эпоху массовых армий солдат средней руки готовят из всех подряд: не тысячами, а миллионами. А вот полководцу одной лишь учебы, одного опыта мало. Полководцем надо родиться.

16

Странное было тогда время: ни чинов, ни званий, ни постоянных обязанностей. Даже документов у многих людей не было, пользовались старыми, дореволюционными. Во всяком случае у меня не оказалось письменных свидетельств о том, что служил в Красной Армии. При спешном отступлении из Царицына я был озабочен лишь одним: сжечь штабные бумаги, представлявшие ценность для деникинцев. Сам выбрался из города, не забежав даже за баулом на квартиру.

Потом был пароход, битком набитый военными и гражданскими. Затем этот пароход остановили у какой-то пристани, всех здоровых высадили на сушу, а судно загрузили ранеными. Дальше я шел пешком, нигде не задерживаясь, так как опасался попасть к продолжавшим наступать белым. Наконец теплушка: несколько суток без еды в грязном вагоне, и вот я в Москве. Солдатская гимнастерка, голубые офицерские брюки, изрядно запачканные в дороге, и довольно хорошие сапоги — вот и все, что было на мне и при мне. Даже фуражку потерял при ночной посадке на пароход.

К кому мне являться теперь, докладывать о прибытии? Егоров лечится, Ворошилов — на Украине. Иосиф Виссарионович — неизвестно где, вроде бы в Смоленске, а может, и нет... И куда мне, собственно, торопиться? Что я, присягу давал служить в Красной Армии? Нужен был — использовали. Ну и ладно, может, еще вспомнят. И чего там греха таить: хотелось, чтобы вспомнили, пригласили.

Москва после долгого отсутствия показалась мне пустынной и нищенски обнаженной. Даже разросшаяся летняя зелень не могла скрыть унылых облупившихся стен в глубине дворов: они открылись там, где сожжены были заборы. Ходил я по улицам, и горько, больно мне было за нашу первопрестольную, совсем еще недавно такую богатую, хлебосольную, щедрую. И еще страшней было думать, что главные испытания, главная разруха, наверное, впереди. С юга приближается Деникин, а красные, разумеется, не сдадут столицу без жестокого боя. Будущее Москвы решалось на фронте, и мое место было там, но идти в какие-то учреждения, просить, доказывать, кто я, подвергаться допросам, проверке было унизительно и противно.

Чем жил тогда? Рвал недозревшие яблоки в одичавшем бесхозном саду и варил их, чтобы отбить кислоту. Собирал грибы. Почему-то много было крепких, нечервивых сыроежек. Моя квартирная хозяйка, строгая на вид, но сентиментальная эстонка — светловолосая, длинноногая и очень носатая — давала мне иногда к грибам чайную ложку соли. Она вообще благоволила ко мне и — одинокая женщина — строила вроде бы некоторые планы... Раза два в неделю (чаще я не хотел, остерегаясь сближения) мы пили с ней чай, угощались добротным пирогом. Она с детским любопытством расспрашивала о войне и все не могла понять, кто я такой: белый или красный? А вообще-то ей это было безразлично, она дорожила мной, как порядочным жильцом. Страшно одной-то в квартире, тем более по ночам,— грабили.

После долгих колебаний, вызванных и запутанной историей моей, и неопределенностью положения, и затрапезным видом, решился я все-таки побывать у своего глубокоуважаемого генерала Брусилова. И чуть было позорно не ретировался с порога, весьма недоверчиво встреченный женой его Надеждой Владимировной. Она, разумеется, была права, оберегая мужа от незваных гостей. К бывшему русскому Главкому пытались попасть люди всякие, в том числе и посланцы высшего белого генералитета, пытавшиеся склонить Брусилова на свою сторону. А то вроде бы странно получалось: самый известный генерал, самый прославленный полководец мировой войны находится не в белом стане, а живет в Москве, у большевиков. И убеждали Брусилова, и угрожали ему, и, как я узнал потом, даже выкрасть его хотели белые и сделать своим объединяющим знаменем. Но у Брусилова позиция была твердая и незыблемая. Он говорил: «Правительства меняются, а Россия остается, и все мы должны служить только ей по той специальности, которую избрали. Власть зависит от народа, пусть народ и решает. А мы все, от солдата до генерала, исполнители его воли».

Встретил меня Алексей Алексеевич с большой радостью. Тактично не расспрашивал о Вере: до него дошел слух, что жены моей нет в живых. Выглядел Брусилов неважно, был слаб, худ. Жилось ему нелегко. Он не пристал ни к тем, ни к другим, не получал денежного содержания, пайка. Больше того, в сентябре восемнадцатого, когда эсеры совершили покушение на Ленина и убили Урицкого, когда в ответ на это был объявлен красный террор, Брусилов был арестован вместе с другими «бывшими», два месяца провел в тюрьме, еще столько же — под домашним арестом. Изрядно пострадал он от революции, но на прямой вопрос,

в чьих рядах пошел бы сражаться, Алексей Алексеевич ответил мне:

— Будущее принадлежит красным.

— Позвольте узнать, почему?

— Они выражают волю народной массы. Разгулявшейся, бунтующей, опьяненной свободами массы. Большевики, по крайней мере, пытаются организовать ее, повести за собой. Наши бывшие друзья живут прошлым и сражаются за прошлое, за свои личные интересы. А это шатко и бесперспективно.

— Если вы так считаете, почему бы вам не примкнуть к красным? Они высоко ценили бы вас. И к тому же, какое политическое звучание!

— Дорогой мой Николай Алексеевич,— невесело усмехнулся Брусилов.— Я давно бы поступил таким образом, и лишь одно обстоятельство не позволяет... Сражаться против соотечественников я не способен. Мне больно даже слышать о том, что льется русская кровь, гибнут русские люди, слабеет наше отечество.

— С запада нам угрожают белополяки.

— Мне трудно воспринимать поляков как врагов. Это наша родня, такие же славяне.

Видя, что подобный разговор слишком волнует Брусилова, я постарался отвлечь генерала рассказом о том, как воспользовался его методом сосредоточения артогня и дал совет Сталину под Царицыном. Брусилов слушал с интересом, даже схему попросил набросать, но вдруг опять посуровел, произнес с горечью:

— Свои против своих...

Что мне оставалось делать? Заговорить о нейтральном, о семейных делах? Очень интересно было узнать, где теперь мой товарищ Алеша Брусилов-младший.

— Бежал из плена,— сказал Алексей Алексеевич.

Я не понял его:

— Разве Алеша воевал?

— Сражался на семейном фронте. Справился, разорвал оковы.

— Да где же он сейчас?

— Если бы знать!— вздохнул Брусилов.— Исчез, никакой весточки. Недосмотрел я за ним, все некогда было.

Слушал я прерывающийся голос старого генерала и думал: вот встретились двое и не могут побеседовать спокойно. Какую тему ни тронь, чего ни коснись,— везде боль. И одному тяжело, и другому, но мне все-таки легче, я намного моложе, в моем возрасте быстрей заживают переломы, зарубцовываются раны.

Забегая вперед, скажу здесь о том грехе, который по недомыслию своему принял вскорости на свою душу. Малый, вроде бы, грех-то, а не давал он мне покоя всю жизнь. Что мне стоило доставить радость старому человеку, окрылить его на какое-то время? Я ведь и хотел сделать это, но закрутился в текучке, в сиюминутных заботах и, порадовавшись сам, упустил возможность порадовать моего генерала.

А случилось вот что. В октябре девятнадцатого я находился при Сталине в штабе Южного фронта. В самые трудные для Республики дни, когда белые взяли Орел и шли на Тулу, встретил я на разбитой осенней дороге милого друга своего — Алешку Брусилова. Не задавленного семейной жизнью «нахлебника-офицеришку», как именовала его красавица жена со своими обывателями-родственниками, а прежнего бравого кавалериста, веселого и лихого краскома в фуражке со звездой, в длинной кавалерийской шинели, в щегольских сапогах, на которых красовались шпоры с малиновым звоном.

Как с неба свалился — спрыгнул он с высокого жеребца, тискал меня, вертел, целовал в щеки, захлебываясь вопросами: где, что, как, давно ли из Москвы, видел ли отца? И, терпеливо поджидая своего командира, по три в ряд далеко вытянувшаяся на дороге, стояла колонна всадников.

— Вот он, отряд мой!— с гордостью показал мне Алеша.— Орлы мои!— И, понизив голос, добавил:— Идем в рейд с червонными казаками Примакова. Левый фланг Деникина крошить будем, вот как!— озорно подтолкнул он меня. Стиснул мои плечи, легко вскочил на жеребца. И, уже отъехав порядочно, крикнул:— Отцу напиши, Коля, я не успел! До встречи!

Ушел Алеша Брусилов кромсать деникинские тылы и пропал, исчез со всем отрядом. А я не нашел времени сообщить о нашей встрече старому генералу.

Разное говорили тогда о судьбе Алеши. Будто нарвался отряд на засаду и первыми легли под пулеметным огнем командир с комиссаром. А еще: будто ночью окружили белые деревню, где остановился отряд, и выкосили всех красных бойцов подчистую. И был даже зловредный слушок о том, что генеральский сын, дескать, перешел к Деникину и теперь под чужой фамилией служит там адъютантом.

Всякое говорили, перемывая косточки. До тех пор, пока в декабре в газете «Боевая правда» не появилась заметка под заголовком: «Белые расстреляли б. корнета Брусилова». И короткое сообщение: «В Киеве по приговору военно-полевого суда белыми расстрелян б. корнет Брусилов, сын известного царского генерала. Он командовал красной кавалерией и попал в плен к белым в боях под Орлом».

Первой моей мыслью было: значит, держался Алеша стойко, не пошел на компромисс, раз не помиловали его. И со страхом представил себе, как будет читать эти строки Алексей Алексеевич, надеявшийся увидеть своего единственного сына, терзавшийся тем, что мало времени уделял ему... А ведь я мог бы хоть ненадолго, хоть на два месяца осчастливить отца, написав ему о встрече на фронтовой дороге...

Мог и не сделал: иногда это отягощает совесть сильнее хоть и ошибочного, хоть и неправильного, но совершенного.

17

В ту осень девятнадцатого года многие считали, что Совдепии пришел конец. Взглянешь на карту и убедишься. Войска Деникина захватили Кубань, Дон, Нижнее Поволжье, Украину и победным маршем двигались на Центральную Россию. От Курска, от Орла далеко ль до столицы?! А задержать врага некому, весь фронт на юге развалился под ударами неприятеля. Разбега-

лись, прятались, чтобы переждать сложный момент колеблющиеся, слабодушные и равнодушные. И особых почестей, думаю я, достойны те люди, которые поднялись на борьбу с врагом именно в те дни, когда все висело на волоске, не ища личной выгоды. Воистину, проявили они доблесть и благородство: на гибель шли — не на славу! Тем более вчерашние офицеры, которые знали, что от белых им не будет никакой пощады, а в случае неудачи и свои же, красные, не простят. Это я не только об Алеше Брусилове, но и об Александре Ильиче Егорове, да и без ложной скромности — о себе самом. Чего умалчивать-то: именно тогда совершил я поступок, которым гордился и горжусь по сию пору. В тот день, когда белые взяли Курск и пришли сообщения, что рассыпается, разбегается не столько Рабоче-Крестьянская в ту пору, сколько крестьянская Красная Армия, отправился я в Спасские казармы, что около площади трех вокзалов. Там спешно готовились пополнения для фронта, и я попросил, чтобы меня взяли в стрелковую часть.

Встретили меня без особого энтузиазма и даже с заметной подозрительностью, но я воспользовался, как теперь говорят обыватели, «блатом», назвал фамилии большевиков Сталина и Ворошилова, с которыми, дескать, рука об руку, воевал в Царицыне. Мне сказали, что проверят, но все же взяли. Я получил винтовку и должность командира отделения во втором взводе маршевой роты. И не моя «вина», что на этом посту пробыл лишь несколько дней: в той горячке и суматохе мои слова действительно умудрились проверить. Где-то в военных верхах прозвучала моя фамилия, и вот по распоряжению товарища Сталина «военспец Лукашов» был срочно направлен в заново создавшийся штаб Южного фронта. Для меня это была двойная радость: 8 октября по настоянию В. И. Ленина тяжелейший груз ответственности за главное военное направление, по существу ответственность за судьбу Республики, принял на свои широкие плечи Александр Ильич Егоров. К нему членом Реввоенсовета Южного фронта был назначен И. В. Сталин. Так что я опять оказался вместе с дорогими, уважаемыми людьми!

Когда говорят или пишут о событиях осени девятнадцатого года, о начале решающего разгрома белогвардейщины, очень много места уделяют замыслам, планам нашей стороны. Я понимаю, откуда это пошло. Чрезмерно старались историки угодить Иосифу Виссарионовичу, пышно рекламируя «сталинский план разгрома Деникина», выдвинутый и осуществленный якобы вопреки предательскому плану Троцкого. По мысли Сталина, дескать, удар следовало нанести по линии Орел — Курск — Харьков — Донбасс. Что и принесло стратегический успех. Потом, после смерти Сталина, доказывалось, что эта идея отнюдь не его. Ломались копья в дискуссиях, не отличавшихся объективностью, и за горячими спорами о планах отодвинулись, затушевались сами события.

Замыслов, предложений, как отбросить белых, в ту осень действительно было много. Хороших и разных. Намечались различные пути нашего наступления. От Царицына на Ростов, в тыл Деникину. На тот же Ростов, но через Миллерово — Вешенскую, чтобы выбить у врага главную опору — область Войска Донского. И, конечно, удар в центре, через Харьков, о чем, кстати, раньше всех упомянул в одном из своих выступлений Ленин.

Планы-то планами, а Деникин продолжал свой триумфальный марш. Повторяю, наш фронт фактически развалился под ударами белых. Но вот появились Егоров и Сталин, брошенные на решающее направление, и словно бы произошло чудо. Буквально через неделю фронт был воссоздан, деникинские полки остановлены севернее Орла, затем они попятились, побежали. Вот что надо бы ученым исследовать самым тщательным образом. Я же ограничусь лишь некоторыми своими наблюдениями.

На мой взгляд, необходимо выделить по крайней мере три фактора, которые обеспечили тогда наш успех. Прежде всего — очень своевременное и решительное напряжение сил Республики, даже последних, самых крайних наших возможностей. «Все на борьбу с Деникиным!» — таков был лозунг. Партийная мобилизация почти сплошь оголила тыловые ячейки большевиков. Ставили под ружье кого только можно. Подчищали в складах последние запасы патронов, снарядов, обмундирования. Из Тулы прибыл полк, ложи винтовок — белые: на заводе не успели даже покрасить.

Справедливости ради отмечу, что весь октябрь и весь ноябрь, то есть в самый тяжелый период, две трети пополнения и военных грузов шли не к нам на Южный фронт, а на Юго-Восточный, который Троцкий, ставший Наркомвоеном, и Главком — уважаемый Сергей Сергеевич Каменев продолжали считать главным. Однако командующий Юго-Восточным фронтом Василий Иванович Шорин воспользоваться полученной поддержкой не сумел и ощутимых результатов не добился. А вот Егоров и Сталин, хоть и пришли почти на пустое место, хоть и оказались на острие вражеского удара, хоть и получили гораздо меньше помощи, смогли все же переломить ход событий. Очень удачным, просто на редкость удачным оказалось сочетание командарма с членом Реввоенсовета,— и это я числю вторым определяющим фактором.

Иосиф Виссарионович тогда никаких военных талантов не проявил, да и не мог проявить того, чего не имелось. Военные познания его были невелики, и он, рассудительный человек, понимал это, не стеснялся учиться у Егорова азам полководческого мастерства. Сталин сам говорил впоследствии, что по-настоящему ознакомился со стратегией по боевой карте Александра Ильича. И вот что надобно особенно оценить: в отличие от Троцкого, который везде и всюду безапелляционно навязывал свое дилетантское мнение, у Иосифа Виссарионовича достало ума не вмешиваться в работу Егорова. Более того, он заботился о том, чтобы никто не отвлекал Александра Ильича от главных забот, не дергал, не портил нервы. Он полностью доверил Егорову все боевые дела. И кто — Сталин доверил! Тот самый Сталин, который еще совсем недавно, после вражеского мятежа в Петрограде, опять высказывал сомнение в полезности бывших офицеров, просил ЦК партии пересмотреть отношение к ним. А с Егоровым —

никаких колебаний. И не по принципу «доверяй, да проверяй» (подглядывай в щелочку), а положился безоговорочно. Именно поэтому Александр Ильич чувствовал себя уверенно, ощущая полноту ответственности. И действовал без опасений, решительно, как считал нужным.

Кстати, и на себе испытал я такое вот полное, открытое, безоглядное доверие Сталина, очень располагавшее, привязывающее к нему, я бы сказал — окрыляющее. Такому доверию просто невозможно изменить, его невозможно не оправдать. Но подобной чести удостаивались немногие. Лишь очень добросовестные, порядочные люди — Иосиф Виссарионович угадывал таких безошибочно. Впоследствии, правда, он стал приближать к себе людей другого толка, безусловно преданных лично ему, закрывая глаза на недостатки. Но это будет потом...

Как член Реввоенсовета Южфронта занимался Иосиф Виссарионович организацией партполитработы в войсках, подбором начсостава, подготовкой и доставкой резервов, подвозом боеприпасов, продовольствия, фуража, обмундирования. Сражался за то, чтобы воинские эшелоны шли не только к Шорину, но и к нам. Ограждал Егорова от бумажного потока наставлений, требований, запросов, разъяснений, они рекой плыли от Наркомвоена, от Главкома, из Полевого штаба. Имея вес в ЦК партии, в различных центральных ведомствах, Сталин улаживал там наболевшие вопросы, а когда требовалось,— связывался непосредственно с Лениным. В этом отношении он был просто незаменим. У Егорова была полная возможность сосредоточить все помыслы, все усилия, все организационные способности на ведении боевых действий, на обдумывании перспектив.

Помню, как пробивал Иосиф Виссарионович «пробку» на узловой станции Горбачево. Погода была мерзкая: холодный дождь со снегом, грязь разливанная. В войсках кончались патроны, не было курева. А на Горбачах застряли два эшелона.

Начальник станции и комендант, оба замызганные, небритые, с воспаленными глазами,— едва на ногах держались. Глядя на них, я думал: просить, кричать, приказывать бесполезно. Они выдохлись. Привыкли к любым угрозам. Их даже удивило, что Сталин, имевший самые широкие полномочия, вплоть до расстрела саботажников, прибывший с сильной охраной, и вообще персона весьма важная, заговорил с ними ровным, спокойным, негромким голосом:

— У вас три исправных паровоза. Почему бездействуют?

— Нет топлива.

— Нет угля?— уточнил Сталин.

— И угля нет ни крошки, и дров — ни полена.

— Почему не позаботились заготовить дров? Чья это обязанность?

— Не знаю, чья обязанность, но мы позаботились,— обозлился начальник станции.— Мы заготовили!— почти истерически выкрикнул он.— На ползимы дров было! А налетел такой вот уполномоченный с конвоем и приказал грузить все дрова в Москву, и немедленно. Или сразу к стене! Москва замерзает!

— Как фамилия уполномоченного?— спросил Сталин.— Николай Алексеевич, выясните, я приму меры от таких наскоков.

Выждав, пока начальник станции немного остыл, Иосиф Виссарионович заговорил снова:

— Что в этих постройках?

— Склады. Почти пустые. Контора. Купеческий дом.

— Очень хорошие бревна,— произнес Иосиф Виссарионович.— И близко... Товарищ комендант, берите всю нашу охрану. Приведите сюда сто жителей. И пятьдесят пил достаньте. Постройки разобрать, бревна распилить. За час на одну пилу минимум десять чурбаков. Расколоть пополам — двадцать поленьев. Это уже тысяча поленьев... Товарищ комендант,— голос Сталина звучал жестко и требовательно,— под вашу личную ответственность. Первый эшелон отправить через три часа. Второй — через шесть. И чтобы топливо на паровозах было в оба конца. А пока паровозы в пути, продолжайте готовить дрова. Эшелоны будут идти, даже если понадобится разобрать весь поселок. Вам понятно?

И вот составы, полтора суток простоявшие на станции, казалось безнадежно застрявшие там, двинулись на юг точно в указанный срок. В самые трудные часы напряженного боя наши стрелки получили вдоволь патронов, загрохотала наша артиллерия, и взбодрилась, поднялась, пошла вперед залежавшаяся пехота.

А сколько их было, подобных «пробок», неурядиц, глупости, саботажа...

После того как Егоров и Сталин возглавили фронт, белые еще продолжали продвигаться вперед: невозможно было сразу погасить инерцию мощной волны, катившейся без задержки от самого Ростова, требовалось к тому же добиться психологического перелома прежде всего у своих бойцов и командиров, свыкшихся с неизбежностью отступления. При Егорове и Сталине белым удалось захватить еще один большой город — Орел. Но успех успеху рознь. Если раньше деникинцы сильными ударами опрокидывали, громили противостоящие им красные войска и затем, гуляючи, шли дальше, до следующего города, до следующего рубежа, то под Орлом они триумфа не достигли. Егоров заранее вывел на север все обозы, тыловые подразделения, резервные части; отправил на переформирование толпы беглецов, отставших от разбитых полков. Наши оборонявшиеся роты, продержавшись на окраинах Орла, сколько смогли, отошли вполне организованно и заняли вновь указанные им рубежи.

Егоров твердо знал первейшую суворовскую заповедь, которую часто повторял и Алексей Алексеевич Брусилов: сражение сперва надобно выиграть умом, а потом уж на поле брани. Главная обязанность полководца — думать, причем думать не только за себя, но и за противника, чтобы понять его замыслы, его маневр. Подобный дар имеют немногие. Александр Ильич, к счастью, в полной мере обладал им.

Лучшие силы Деникина, стремившиеся к Москве, были собраны в кулак и быстро двигались на север в узкой полосе, не отдаляясь от железной дороги: распутица кругом, а рельсы надежны. К тому же главную ударную мощь белых составляли бронепоезда и артиллерийские батареи, перевозимые на платформах.

По рельсам шло все снабжение с юга. Это и учел Егоров: сие я считаю третьим решающим фактором.

Значит, дробящий кулак — в узкой полосе возле железной дороги. А справа и слева что? В летне-осенних боях отборные деникинские части, офицерские полки значительно поредели. Чтобы не уменьшилась численность войск, белые проводили мобилизацию молодых возрастов в захваченных селах и деревнях. Бывалых солдат, фронтовиков, ненавидевших офицеров еще с германской войны, деникинцы брать опасались, а необстрелянная молодежь, к тому же насильно призванная,— это далеко не самое лучшее пополнение. Так и получилось, что только на острие клина остались у деникинцев надежные, закаленные части. Они дрались умело́, упорно — знали, за что. И совсем другое — полки, прикрывавшие фланги, расширявшие захваченную территорию. Может, их и не назовешь слабыми, но они не шли ни в какое сравнение с опытнейшими, отлично вооруженными подразделениями, составлявшими основу Добровольческой армии.

Деникинцы сразу почувствовали, как резко изменилась тактика красных. Егоров не искал больших, решающих боев с наступавшей группировкой. Не выгодно было нам: враг-то на главном направлении все еще был сильнее. Однако белые не могли теперь делать большие рывки от города к городу. Стремясь затупить, истощить вражеский клин, Егоров ставил на его пути барьер за барьером. Прибывший из Тулы полк окопался перед полустанком. Дальше, возле станции,— полк калужан. Еще глубже — москвичи; потом — батальоны, быстро сформированные из остатков наших рассеянных дивизий. И теперь каждый километр, каждый населенный пункт деникинцы вынуждены были брать штурмом.

Враг останавливался, развертывал боевые порядки, подтягивал артиллерию, готовил и начинал атаку. Наши, не выдержав натиска, отходили, но возле следующей деревни, станции или возвышенности все повторялось снова. Опять противник вел разведку, выдвигал артиллерию. Развернувшись цепью, белые шли под дождем, по непролазной грязи навстречу нашим пулям. Перебегали, падали, матерясь: мокрые, заляпанные, измученные. И это — раз за разом. Сутки, другие, третьи. А едва ослабевал натиск врага (не железные — надобно и отдохнуть), сразу активизировалась наша пехота, стремясь вернуть утраченные позиции, изматывая белых, не позволяя им, как говорится, ни поспать, ни пожрать. Вымотались деникинцы до ручки, засыпали сидя или даже стоя. Ну и потери у них были заметные, особенно увеличилось число заболевших.

Однако успех операции, по замыслу Егорова, надлежало искать не в центре, а на растянутых и слабых вражеских флангах, в слабо защищенном тылу. Новых войск Александр Ильич почти не имел, но зато принял самые энергичные меры, чтобы разыскать, нацелить на боевые действия остатки наших рассеянных, разбитых частей. По всем дорогам скакали кавалеристы со строгим приказом: кто остался от батальона, от полка, от дивизии — всем немедленно и решительно атаковать на своем участке деникинцев, теснить их, сколько возможно. И выяснилось, что разрозненных, оказавшихся без руководства наших войск на флангах и в тылу противника осталось немало. Получив ориентировку и четкий приказ, они приступили к активным действиям, помогая армиям, которые, по приказу Егорова, двинулись вперед правее и левее железной дороги. Армии эти были, конечно, слабоваты, но и противник перед ними не очень силен. Благодаря решительности, требовательности командующего шевельнулись, тронулись, пошли на врага большие массы людей, начали теснить деникинцев на разных направлениях, прорывая, разрушая их тонкие защитные линии, враг вынужден был оттягиваться к железной дороге. Но и там у белых просто не было возможности оборонять каждый участок насыпи на протяжении десятков и сотен верст. То в одном, то в другом месте перерезали ее наши части, перехватывали единственную вражескую артерию.

Перестали подходить с юга эшелоны с боеприпасами, с пополнением. Застряли бронепоезда. Некуда было отправлять раненых и больных. Белые командиры, боясь полного окружения, смотрели теперь не столько вперед, сколько назад, и думали уже не о параде в близкой Москве, а о том, как бы спасти остатки своих войск и себя. Ударная группировка начала пятиться, наши пошли вперед, наступил психологический перелом, и процесс этот продолжал развиваться и ускоряться, особенно после того, как белые оставили Орел.

Это был уже заметный успех, но успех еще шаткий, переменчивый. Главные силы Деникина были целы. Они могли отдохнуть, пополниться, вновь захватить инициативу. Фронтальным наступлением мы лишь оттесняли врага, освобождали территорию, а требовалось другое: разгромить и уничтожить его войска. Вот теперь-то и сказалась еще одна дальняя задумка Егорова.

Вспомним, кто одним из первых в Красной Армии осознал важную роль конницы в маневренной войне, коей являлась война гражданская? Кто заботился о том, чтобы создать у нас крупные кавалерийские соединения и отдал приказ об организации конного корпуса Буденного? И вот теперь этот корпус успешно, даже очень успешно сражался на левом крыле Южфронта, разгромил конницу Мамонтова и Шкуро под Воронежем, шел через Касторную на Новый Оскол. Сокрушающим лезвием вонзился он во вражеский тыл. А с противоположной стороны, на правом — западном крыле нашего фронта, подобную задачу решали червонные казаки начдива Примакова, тоже действующие за спиной деникинцев. И, заглядывая вперед, Егоров увидел, предугадал маневр, который мог решить исход всей кампании. Это — стремительное движение конницы Буденного все глубже в тыл врага, на его важнейшие коммуникации. Движение безостановочное, быстрое, увлекающее за собой медлительную пехоту. Чтобы центр тяжести событий находился там, где это особенно невыгодно противнику. Буденный смел и расчетлив, он сумеет осуществить рискованный замысел, надо только усилить его, добавить войск, возвысить его авторитет. Не развернуть ли Конный корпус в Конную армию? Такого еще не бывало в мировой практике, чтобы создавалась целая армия кавалеристов. Но мало ли чего не бывало прежде, на то она и революция, чтобы творить новое!

Не берусь утверждать категорически, у кого впервые родилась мысль о создании Конной армии, может сразу у нескольких человек — так подсказывала обстановка. Знаю только, что в штабе Южного фронта об этом первым заговорил Александр Ильич. И он же сделал первый практический шаг для осуществления этой идеи: придал Буденному нескольких бронепоездов, а главное — усилил его 11-й кавалерийской дивизией. В отличие от основных — полупартизанских дивизий Семена Михайловича — 4-й и 6-й, в которых коммунистов и комиссаров почти не было, 11-я кавдивизия формировалась в центре страны на новой организационной основе. В ней имелось много рабочих, партийцев, боевой дух ее был особенно высок. Передача этой кавдивизии Буденному и явилась первым практическим шагом по созданию Конной армии. Александр Ильич хорошо понимал разницу между заявлениями и конкретными делами. Иосиф Виссарионович был полностью согласен с Егоровым.

Итак, Егоров воевал, осуществляя в трудных условиях крупномасштабные операции, а Сталин, находясь рядом с ним, учился у Александра Ильича, как готовить и проводить оные операции. Для Сталина это была большая и важная школа, заложившая фундамент того, что проявится потом во время второй мировой войны. Нельзя понять многие последующие решения и действия Иосифа Виссарионовича, если не учитывать того опыта, который он, до этого в основном политический руководитель, получил на Южном фронте, работая вместе с Егоровым.

Той осенью в значительной степени определилось и мое место при Сталине, те обязанности, которые довелось потом в разных вариантах выполнять до самой его смерти. Должности советника при Сталине не существовало. Да он со своим самолюбием и не потерпел бы официальных советчиков. Но ему нужны были люди, которым он совершенно доверял, мнение которых охотно выслушивал, на плечи которых мог без колебаний переложить часть своего груза. Одним из таких людей волею судеб оказался я, ставши негласным советником Сталина, в первую очередь по военным вопросам.

Повторю, что сам Иосиф Виссарионович в ту пору слабо разбирался в стратегии, в оперативном искусстве и даже в элементарной тактике. Чего уж там — с военной картой работать еще не мог — не занимался он этим прежде. А показывать свою некомпетентность, вносить дилетантские предложения, утверждать решения, суть которых не совсем понимал, Сталину не хотелось. Я же с удовольствием делился с ним своими соображениями, основанными на солидном теоретическом фундаменте и практическом опыте. Делился, естественно, когда оставались вдвоем, но, по его просьбе, присутствовал с ним на всех военных заседаниях, совещаниях. Ему, очевидно, импонировала моя молчаливость, стремление быть незаметным, держаться в тени. После трагических событий моей жизни я стал неразговорчив и вообще сторонился людей, особенно тех, которые любят задавать вопросы. Сталина это устраивало со всех точек зрения. В полном распоряжении Иосифа Виссарионовича было два ума — его собственный и мой. Любое событие, любое решение он мог оценивать по крайней мере с двух точек зрения.

В штабе Южного фронта, в Серпухове, Сталин бывал нечасто, точнее сказать, наездами. Проводил в Москве, в других местах по нескольку дней, иногда целую неделю. Ведь, будучи членом Реввоенсовета Южфронта, он выполнял и другие обязанности как член ЦК партии, как народный комиссар по делам национальностей, как нарком государственного контроля. Это требовало времени. Я удивлялся: зачем на одного человека возлагать столько забот, он же просто физически не может во все вникнуть, трудиться с полном отдачей, без спешки? Людей, что ли, надежных не хватало на все должности?!

Уже в ту пору Иосиф Виссарионович, не любивший беспричинности, нелогичности, случайностей, большое значение уделял тому, как предстать перед людьми, какое впечатление произвести. Заранее обдумывал поступки, слова, жесты. Даже одеждой все заметнее подчеркивал свое двоякое положение: военного деятеля и партийного руководителя. Шинель носил солдатскую, просторную и длинную; в такую обрядил его когда-то в Красноярске бравый фельдфебель Охрименко. Привык, значит. А на голове — лохматая ушанка, какие носили обычно рабочие в Питере (молодая жена Аллилуева в Петрограде подарила). Френч у Сталина военного фасона, со стоячим воротником, с накладными карманами, но пуговицы обтянуты материей. И брюки штатские. Фуражку же он тогда почти не носил, она плохо держалась на его пышной, пружинистой шевелюре. Усы не щеточкой, как у штафирок, а совсем военные, густые, подбритые снизу ровной чертой. Но вояки, особенно кавалеристы, закручивали кончики усов в стрелку, обретая лихой вид, а для Сталина это было бы слишком. Он знал меру.

Находился ли Иосиф Виссарионович в Серпухове или уезжал, при всех условиях я должен был знать, что делается на Южном фронте, какие у нас успехи и неудачи, какие распоряжения поступили сверху или отданы Егоровым; численность наших и вражеских войск, наличие боеприпасов; данные разведки, расположение госпиталей, местонахождение бронепоездов и многое, многое другое. Вопросы Сталина бывали самые неожиданные. То он просил охарактеризовать командира энского полка; то интересовался, какие силы Деникина отвлечены на борьбу с Махно; то вдруг ему требовались сведения, сколько подков необходимо отправить в 11-ю дивизию. И я всегда, вернее почти всегда, сразу и безошибочно отвечал ему, чем и тешил свое собственное честолюбие. Я жил только интересами фронта, вникая буквально во все, и Иосиф Виссарионович ценил это. Случалось так: приезжает Сталин в Серпухов, а в это время Егоров находится где-то в войсках. Мне приходилось делать обзор событий по всему фронту. Александр Ильич Егоров настолько привык к этому, что, отправляясь в путь, обязательно говорил мне, какие сведения выделить, к чему привлечь внимание Сталина.

Я был доволен своей работой, независимым положением, кругом людей, с которыми приходилось общаться.

Только очень важная цель принудила Егорова и Сталина оголить штаб фронта, вместе отправиться в далекое и рискованное путешествие. Салон-вагон командующего и салон-вагон члена Реввоенсовета рядом, в центре состава. В соседнем пассажирском вагоне — оперативная группа штаба, Пархоменко, Щаденко и я. И Ворошилов со своей неизменной спутницей, Екатериной Давыдовной Горбман, с которой познакомился и оженился в ссылке на севере. И с той поры был неразлучен. Чего им не хватало для полного счастья,— это ребенка. Его во всю жизнь так и не дал им бог, несмотря на привязанность Екатерины Давыдовны к мужу и их неразлучность.

В голове состава находился вагон охраны, в нем несколько человек, пользовавшихся особым доверием Сталина. Среди них — мой царицынский знакомый Власик, наглый, самоуверенный и жестокий по отношению к тем, кто ниже его, и сладострастно раболепствующий перед начальством, особенно перед Иосифом Виссарионовичем. Готов был растянуться на полу, чтобы Сталин ступал к нему. Беспринципный слуга-хам, выбившийся «из грязи в князи». Лишь объективности ради добавлю, он был неприятен мне, как вообще бывает неприятен соучастник минувших сомнительных деяний, чье присутствие вызывает не самые приятные воспоминания.

До Воронежа ехали обычным порядком. Там к составу, перед вагонами и после них, прицепили платформы с запасными шпалами и рельсами. Настороженно выглядывали из-под шпал тупорылые пулеметы. Под защитой бронепоезда наш состав двинулся дальше по тем местам, где недавно отгремели бои, где железнодорожное полотно было заштопано на скорую руку. Миновав Касторную, с большим трудом дотянули до станции Новый Оскол, где еще дымились присыпанные свежим снегом пожарища. Оттуда на санях — в село Велико-Михайловку, затерянное средь степных просторов, в штаб Семена Михайловича.

Шестого декабря 1919 года в этом селе произошло событие, влияние которого долго потом сказывалось на всей жизни нашей страны и с особой силой отразилось на начале и ходе Великой Отечественной войны. Здесь впервые сошлись вместе и заключили дружественный союз люди, которые потом более тридцати лет определяли основные линии развития государства, те люди, влияние которых сказывается и по сию пору. В бревенчатом доме на Телеграфной улице встретились Егоров, Ворошилов и Буденный, коим суждено стать первыми Маршалами Советского Союза. С ними за столом сидел человек, которому доведется носить редчайшее воинское звание — Генералиссимуса, доведется вершить судьбу огромного государства и в мирные дни, и в годы самой кровопролитной войны. С этой встречи начался отсчет многих достижений Иосифа Виссарионовича — с одной стороны, и отсчет многих трагедий и неудач — с другой.

Можно спорить о каких-то подробностях, деталях, но несомненно главное: именно с этой встречи началось прямое и неуклонное восхождение Иосифа Виссарионовича к твердой власти. Он получил реальную основу для достижения своих целей.

В тот холодный ветреный день было организационно оформлено создание небывалого в мировой военной практике кавалерийского объединения, был зачитан приказ о преобразовании Конного корпуса Южного фронта в Первую Конную армию. Командовать поручалось Буденному. В состав Реввоенсовета армии вошли старые знакомые Иосифа Виссарионовича — Ворошилов и Щаденко. Было намечено значительно увеличить численность объединения (в нем было тогда около семи тысяч человек), добавлялась артиллерия, в Конармию вливались отряд бронепоездов, автобронеотряд, авиационная группа. В общем, срочно делалось все, чтобы превратить Первую Конную в мощную и надежную опору Республики. И в надежную опору тех, кто создавал Конармию, преодолевая сопротивление все того же Троцкого, понимавшего, что в этой армии у него нет или почти нет сторонников.

Дело было сделано, и мы (я не отделяю себя от группы инициаторов) могли быть довольны, могли радоваться. Однако причины для радости у каждого были свои, каждый шел к этому свершению собственной дорогой и преследовал собственные цели. Самым бескорыстным был, пожалуй, в данном случае Егоров. Он был доволен как человек, раньше других военных специалистов понявший роль крупных масс конницы в гражданской войне. Его стремления увенчались созданием целой Конной армии! Первой среди всех времен и народов: Александр Ильич испытывал профессиональную гордость.

В Велико-Михайловке Егоров обдумывал, набрасывал план предстоящих боевых действий. Утвержденный Реввоенсоветом Южного фронта, план этот превратился вскоре в официальную директиву, которая предопределила ход дальнейших событий. Операция замысливалась огромная, на большом пространстве от Днепра до Дона. В ней участвовало много войск, но особая роль отводилась Буденному. Его ударная группа в составе Конармии, 9-й и 12-й стрелковых дивизий должна была стремительно ворваться в самый центр Донецкого бассейна. А затем — дальше, до Азовского моря, до Таганрога, чтобы рассечь надвое все войска Деникина, отрезать Добровольческую армию от казачьего Дона. «Обращаю внимание т. Буденного,— подчеркнул в директиве Егоров,— что от быстроты и решительности действий его ударной группы будет зависеть успех всей намеченной операции».

Точный расчет полководца и творческое вдохновение незаурядной личности сочетались в этом замысле Александра Ильича. Верил он, что Буденный, окрыленный новой высокой должностью, чувствующий поддержку свыше, сумеет выполнить намеченный план. На совещании в Велико-Михайловке, в доме на Телеграфной улице, восседал Егоров, словно патриарх, со спокойной добродушной улыбкой, в своей любимой позе, скрестив на груди могучие, широкие в кисти руки русского богатыря, слушал выступления, вспыхивающие споры, лишь изредка вставляя словцо, будто чуть-чуть подправляя веслом плывущую по намеченному фарватеру лодку.

Если уж для Егорова, озабоченного стратегическими замыслами, создание Конной армии было событием значительным и радующим, то что же говорить о Семене Михайловиче? Два года назад — унтер, он вдруг вознесся на совершенно сказочную высоту. Год назад — командир партизанского отряда, затем — эскадрона, помощник командира полка. А нынче — генерал! И не просто генерал — бригадный, дивизионный, корпусной, а командующий целой армией! Никакой кавалерийский начальник за всю историю человечества на такую вершину не поднимался, даже звания соответствующего не имелось! А поддержка какая: и Егоров, и Сталин. И товарищ Калинин месяц назад к нему приезжал: вот, мол, Семен Михайлович из крестьян, а полководцем стал! Это, дескать, по-нашенски, по-пролетарски! Теперь Калинин, который сам из мужиков, горой стоит в Москве за Буденного.

Уже в то время, в самом начале своей карьеры, Семен Михайлович был убежден: на высоком посту просто так не удержишься, надо не только добросовестно выполнять свои обязанности, но и сметать тех, кто станет на пути. Решительности ему было не занимать, беспощадности научила война (если не я его, то он меня!). Недавно, в сентябре, он разоружил только что сформированный Донской казачий кавалерийский корпус, арестовал его командира — Филиппа Кузьмича Миронова и весь штаб. Видел в этом корпусе и в Миронове прямых конкурентов, способных затмить его славу.

Впрочем, Миронов был хоть и опасным, но не самым главным соперником. Имелся и пострашнее — Борис Мокеевич Думенко. К служебному соперничеству примешивались личные счеты, глубокая личная обида. Долгое время широкая тень Бориса Думенко загораживала Буденного, и он вынужден был, подавив самолюбие, считаться с этим, потому что на Сале и Маныче, на Среднем и Нижнем Дону слыл Думенко первым и самым большим красным кавалеристом. Обидно...

С помощью Егорова стал Буденный командиром кавкорпуса, когда увезли в госпиталь Думенко. Корпус так и назвали «буденновским». Почта в то время либо совсем не ходила, либо запаздывала на полгода, но в тесном мире кавалеристов все было известно, слухи неведомыми путями распространялись без задержки по всему Дону и всей Кубани. Знали конники: Думенко не столько ранение свое тяжелое переживал, сколько то, что вылетел из большого седла. А Семен захватил все хозяйство. Словосочетание «корпус Буденного» действовало на Думенко, как красная тряпка на быка.

Правая рука не повиновалась, грудь была так изувечена, что при резком движении Борис Мокеевич задыхался, но не мог он смириться с тем, что бывший помощник — Семен вознесся на генеральскую высоту. Отдыхать бы Думенко, детей да внуков пестовать, а он уехал из лазарета и всю свою бешеную энергию употребил на то, чтобы подняться вровень с Буденным. Собрав разрозненные эскадроны, изъяв кавалерийские части и подразделения из стрелковых дивизий, наскоро, с грехом пополам на одном самолюбии сформировал Думенко некое соединение, именовавшееся Конно-Сводным корпусом. Бойцов-то было меньше, чем в любой буденновской дивизии, но лиха беда начало. Думал Борис Мокеевич, что потекут, побегут к нему бывшие сослуживцы (в том числе и от Буденного), что соберет он под свое крыло массу красных казаков и иногородних. Но времена уже были не те, кончалась партизанщина, дезертиров и перебежчиков карали по закону военного времени. И все же Сводно-Конный корпус рос помаленьку, вызывая тревогу и беспокойство Буденного. Сегодня соотношение один к трем, а завтра — черт его знает! Как ни суди, а Бориса Мокеевича почитают в станицах.

И вот теперь Семен Михайлович командует уже не корпусом, а Конной армией, в которую любой корпус может войти составной частью. Обскакал Буденный своего соперника, попробуй догнать!

Радостные эмоции Егорова, Буденного и мои были на поверхности, их можно было видеть и объяснить. Создали новое объединение для разгрома врага — вот и хорошо! А если еще и личная заинтересованность в этом есть — тем лучше, тем надежней. И, пожалуй, меньше всех чувства свои проявлял Иосиф Виссарионович. Казался даже равнодушным, погруженным в какие-то размышления. Но, как выяснилось впоследствии, именно он вместе с Ворошиловым возлагал на Конную армию такие большие надежды, что мы и представить себе не могли. В этом проявилась одна из черт Сталина, позволявших ему выходить победителем в долговременных закулисных невидимых битвах. Если мы, военные, жили сегодняшними и завтрашними событиями, то он, политик, заглядывал в отдаленное будущее, прикидывая, как сегодняшние решения отзовутся на последующих политических событиях. И расчетливо расставлял нас, своих помощников, на нужные позиции, озабочивая теми делами, которые считал нужными. То есть, добиваясь нынешних успехов, пытался готовить, формировать грядущие свершения. Я тогда еще не понимал этого.

В ту пору, через два года после Октябрьского переворота, в Советской республике было несколько лиц, занимавших особое, хотя и не равноценное положение. Первым и главным среди них был, безусловно, Владимир Ильич Ленин, чье имя не только у нас в стране, но и во всем мире словно бы ассоциировалось с понятием «революция». Глубокий теоретик, блестящий полемист, выдающийся практический руководитель, он, ко всему прочему, после покушения Фанни Каплан, был окружен ореолом мученика, страдальца. Авторитет Ленина был настолько высок в Республике, что никто не шел в сравнение с ним. Даже самоуверенный Троцкий, не признававший ничьей мудрости, кроме своей, и тот не пытался стать вровень с Владимиром Ильичем, а довольствовался тем, что считал себя вторым человеком в новом государстве. И основания для этого у него имелись. Многие его сторонники занимали (благодаря ему) высокие посты и безусловно поддерживали своего патрона.

Троцкий не только ведал организацией Красной Армии, но и принимал большое участие в создании карательных органов. Командный состав и там, и там, работники штабов и руководящих инстанций — наполовину, если не на две трети, были выдвиженцами

самого Льва Давидовича или его помощников. В руках Троцкого находилась реальная сила, придававшая ему вес и уверенность, он мог уничтожать или третировать своих противников, в том числе даже известных партийцев. Пример тому — Ворошилов, изрядно пострадавший от Троцкого. А вот Сталин, хоть и занимал ответственные посты в партии и государстве, надежной вооруженной опоры не имел и являлся лишь энергичным, дисциплинированным добросовестным исполнителем указаний ЦК и самого Ленина.

Трудно под Царицыном — туда направляют Сталина. Плохо в Петрограде — получай, Иосиф Виссарионович, чрезвычайные полномочия, наводи порядок. Страшная угроза на юге — давайте, дорогой товарищ Сталин, принимайте вместе с Егоровым самый опасный фронт. Все это было почетно, Иосиф Виссарионович гордился таким доверием Ильича, но отзови его с поста, на котором только что вершил важные дела — и Сталин лишь рядовой боец партии. И опять его судьба зависит от того же Троцкого, за спиной которого полтора десятка армий, многие десятки дивизий. К тому же Троцкий уже понимал, что главный его противник — Сталин, вокруг которого начинают сплачиваться идейные противники Льва Давидовича и те, кто был им обижен.

В этой усилившейся борьбе Сталину мешала замкнутость, неумение быстро сходиться с людьми. На партийных съездах встречался он со многими потенциальными сторонниками, единомышленниками, но ни с кем не сблизился. Давно знакомые Калинин, Фрунзе, Артем оставались для него партийными товарищами, но не друзьями. Даже на Кавказе, где Иосиф Виссарионович вел работу до революции (исключая время ссылок), у него не было верных друзей. А приехав в семнадцатом году в Питер, он вообще оказался в одиночестве в новой для него обстановке. Жил только революцией. Личное — встречи с одной старой знакомой (о ней речь впереди) и любовь к молодой Наде Аллилуевой, которая стала его женой и в которой он так хотел обрести верного человека.

Два совершенно различных сильных характера — Сталин и Троцкий, ужиться они не могли, кто-то должен был взять верх. Сталин искал опору. И те, кто примыкал к нему, безусловно признавая за ним лидерство, становились соратниками на всю жизнь. В этом отношении особая роль выпала на долю Ворошилова и Буденного.

В руках Троцкого большая часть общевойсковых армий. Но такая армия — организм нестабильный, быстро меняющийся: текучка бойцов и командиров, изъятие частей и целых соединений способны за короткое время обновить личный состав, изменить настроение, ориентацию. А Конная армия — это совсем другое. Взвод, эскадрон, полк — ячейки крепкие, почти нерасторжимые. Свои традиции, общая забота о конском составе и многое другое связывали в кавалерии людей. Это и учитывал Сталин, активно поддерживая, продвигая по инстанциям идею создания мощного кавалерийского соединения. И обязательно под руководством Буденного и Ворошилова, которые относились к Троцкому, как и сам Иосиф Виссарионович. Проверенные по Царицыну люди, такие, как Шаденко и Пархоменко, помогут укрепить руководство во всех звеньях, выдвинут на командные должности надежных людей. Это будет такой орешек, который не по зубам никакому противнику: ни белогвардейцам, ни Троцкому.

19

Два дня Иосифа Виссарионовича мучил насморк. Он не расставался с большими носовыми платками, часто их менял. Сморкался стеснительно, отворачиваясь от собеседников. Голос его, и без того низкий, звучал еще глуше. Иногда он поводил плечами, будто в ознобе.

Обычная простуда? Нет. Я уже неоднократно замечал, что такое состояние появляется у Сталина, когда он крайне возбужден, взволнован. Один или со мной — хмур, раздражителен, а на людях, наоборот,— подчеркнуто спокоен, говорит монотонней обычного, все движения замедленны, заторможены. При первом знакомстве Иосиф Виссарионович показался мне весьма хладнокровным, непохожим на горячих, взрывчатых южан. Однако довольно скоро я убедился что это лишь маска, что человек он очень впечатлительный, легко возбудимый, но все эмоции подавляет усилием воли, постоянно держа себя в крепкой узде. Трудная жизнь приучила — тюрьмы, ссылки. А ведь это очень тяжело — искусственно поддерживать такое состояние. Ну, вспыхнул бы, отбушевал, разрядился — и легче бы стало. А он давил в себе гнев, обиду, страх, не позволяя им проявиться даже в жестах. Сильные переживания лишь вызывали в нем столь же сильное напряжение воли для полного сокрытия чувств. Внешне он казался особенно невозмутимым. Но вдруг появлялись симптомы простуды: насморк, хрипота, озноб. Вероятно, организм нашел хоть какую-то форму нервной разрядки.

По этой неожиданно вспыхнувшей его болезни я понял, насколько тревожился Иосиф Виссарионович, приехав в Велико-Михайловку. Он не был уверен, что все пройдет гладко, обернется пользой ему и общему делу. В любую минуту мог вмешаться Троцкий, воспротивиться созданию Конармии, сорвать планы. Да и своенравный Семен Михайлович — полновластный хозяин кавалерийских дивизий — выдвигал совершенно неприемлемые требования. Он, к примеру, настаивал, чтобы в Реввоенсовет Конармии вошли не только представители со стороны (Ворошилов и Шаденко), но и еще два человека из его конницы. Уперся — с места не сдвинешь. Пришлось лавировать, убеждать.

На последнем вечернем заседании я подумал: все закончилось благополучно, если мои предположения о здоровье Сталина верны, он должен поправиться в самое ближайшее время. Причин-то для напряжения больше нет. И действительно, за поздним обильным ужином на квартире Буденного он чувствовал себя гораздо лучше, свободней, почти не сморкался. Охотно пил вино, произнес тост и даже косил глазами в сторону хоть и не молодой, но весьма пригожей хозяйки с роскошными формами.

Утром он уже не пользовался носовым платком, однако пережитое волнение еще сказывалось, его слегка

познабливало. Когда сел в санки, укутался тулупом так, что лишь черная шапка виднелась.

Отправились на передовую. Александру Ильичу очень хотелось увидеть кавалеристов в бою, наши и неприятельские действия. Иосиф Виссарионович сказал, что тоже поедет. При случае он потом мог заявить: своими глазами видел, как сражаются отважные конники товарища Буденного.

Нам повезло: и погода была хорошая, с бодрящим морозцем, и бой развернулся такой, какие случаются редко. Никто не ждал, что именно в этот день белая конница нанесет нам фланговый удар в районе населенного пункта Волоконовки, а затем, опять же по воле случая, сама окажется зажатой между 4-й и 6-й буденновскими дивизиями. На огромном ровном пространстве, на белых полях, столкнулись кавалерийские массы, противники сошлись лицом к лицу, огневой бой перерос в жестокую, дикую рубку.

О том сражении немало написано, я не буду подробно рассказывать о нем, не это сейчас важно. Мы наблюдали за схваткой с холма, сами подвергаясь опасности. Видели многие подробности. А когда все кончилось и стихли выстрелы, спустились на поле брани. Все мы, в том числе и Сталин, не были новичками на фронте, успели повидать и убитых, и раненых. Но на этом залитом кровью поле не просто убивали, здесь кололи пиками, рубили, кромсали саблями. Потом по трупам, по валявшимся раненым несколько раз прокатились разгоряченные боем кавалерийские лавы: кованые копыта коней топтали, обезображивали тела. Меня даже замутило от этой страшной картины. Ворошилов был бледен. Сталин удивленно, растерянно смотрел то в одну, то в другую сторону. Сказал, отступая от мертвеца с размозженной головой:

— Это чудовищно!.. Семен Михайлович, что же это такое? Разве нельзя избегать таких ужасов и таких больших жертв?!

За дословность не ручаюсь, не записывал тогда, но произнес Сталин нечто подобное, и Семен Михайлович близок к истине, приводя высказывание Иосифа Виссарионовича в своих воспоминаниях. Не уничтожать белых солдат, а громить, рассеивать неприятеля, брать в плен — вот о чем говорил еще Сталин под впечатлением того боя.

После смерти Сталина довелось слышать сомнения и даже упреки: не мог, дескать, Иосиф Виссарионович произнести такое. Он ведь жестокий, бессердечный, твердый как камень. Правильно, было в нем и то, и другое, и третье. Но ведь не родился же он таким. Всему свое время.

20

Ровно месяц, а правильнее — всего месяц потребовался Конармии, чтобы дойти до Ростова-на-Дону и захватить некоронованную деникинскую столицу. И не просто дойти по бездорожью, в зимнюю стужу, преодолев большие пространства, но и разбить в многочисленных боях лучшие части белых, расколоть надвое их фронт, освободить Донбасс. Что там ни говори, а главную роль в разгроме Деникина, как и задумал Егоров, сыграла Первая Конная. Она не только сама стремительно катилась на юг, но и увлекала за собой пехоту двух соседних армий. Честь и слава за это Первой Конной! Честь и слава ее начальникам — Буденному и Ворошилову, которые и победу сумели одержать, и в ходе боев усилили свое детище: Конармия значительно выросла. И, конечно, честь и слава руководителям Южного фронта — Егорову и Сталину: они наметили верные планы и выполнили все замыслы. А если кто-то возразит, что дело не в Егорове и Сталине, что и без них результат был таков же, я только пожму плечами в ответ. И, пожалуй, напомню такой исторический факт. В первой половине января 1920 года мало кто сомневался, что деникинцам пришел конец. Оставалось лишь добить их. Конная армия в Ростове, левее ее на подступы к Северному Кавказу вышли 8-я, 9-я и 10-я общевойсковые армии. Казалось, еще один нажим — и будет поставлена точка.

В Москве кто-то поторопился, Южный фронт был преобразован в Юго-Западный (против белополяков), командовать им остался Егоров. На новую работу — восстанавливать разрушенное хозяйство — уехал Сталин. А войска, совершившие славный поход, были переданы в состав Юго-Восточного фронта, которым командовал Василий Иванович Шорин (вскоре этот фронт будет переименован в Кавказский). И произошел срыв, которого не ожидали ни мы, ни белые. Наступление наших войск, в том числе Первой Конной, приостановилось.

21

Люди, изучавшие труды Ленина, интересовавшиеся ходом гражданской войны, знакомы с тревожной телеграммой Владимира Ильича, которую он послал Тухачевскому и Орджоникидзе. В ней говорилось: «Крайне обеспокоен состоянием наших войск на Кавказском фронте, полным разложением у Буденного». Была такая телеграмма, из истории ее не выкинешь, как слово из песни. Исследователи, литераторы пытались объяснить, чем же было вызвано беспокойство Владимира Ильича, такое его отношение к командарму Первой Конной. На ведущее место выдвигалось опять же неповиновение Шорину, говорилось о разгуле кавалеристов в Ростове, о самочинных реквизициях, когда не поймешь, где военная необходимость, а где банальный грабеж. (Но что поделаешь, ведь Конную армию никто не снабжал, она жила за счет населения, за счет трофеев.)

Однако не только и не столько этим был встревожен Владимир Ильич: бессмысленная гибель двух наших дивизий возле станицы Мечетинской, смерть прославленного начдива Азина — вот чем было вызвано острое беспокойство Ленина. А что привело к такой трагедии? Как ни поворачивай дело, все-таки прав был Иосиф Виссарионович, видевший корень зла прежде всего во взаимоотношениях Буденного и Думенко. Мне довелось разбираться в этом вопросе. И вот что поразительно: сколько уж десятилетий минуло с гражданской войны, сколько событий свершилось, а на Дону

и Кубани, на Сале и Маныче ветераны красной конницы до сих пор делят себя на буденновцев и думенковцев, до сих пор у многих стариков сжимаются кулаки, когда слышат имя Семена Михайловича. Уходят герои давних битв, но их дети, их внуки продолжают спорить о том, кто был прав, кто честнее и вернее служил революции. Почему Буденный с первой встречи и до последней секунды люто ненавидел Тухачевского, с особой охотой ратовал за смертный приговор для него? Почему имена легендарных героев гражданской войны Азина и Гая на много лет были вычеркнуты из всех списков, даже упоминать о них было опасно?

История эта сложная и запутанная. Я выделю лишь то, что необходимо для понимания дальнейших поступков основных персонажей этой книги. Начнем, как говорится, от печки.

Итак, Бориса Мокеевича Думенко можно считать первым организатором красной конницы на юге. Буденный, примкнувший к нему со своим отрядом, долго находился в тени этого известного кавалериста. Партизанские отряды и полупартизанские красные полки занимались самообеспечением, поэтому конфликтов с населением было больше чем достаточно. Особенно отличались лихие хлопцы из эскадрона Буденного. Что ни станица, то жалобы на грабеж, на дебоширство. А когда прибежала к Думенко изнасилованная немолодая женщина в разодранном платье, Борис Мокеевич, говорят, чуть не задохнулся от ярости. Вызвал Буденного и не стал разбираться, кто да что. Глянул грозно: «Я тебя упреждал?» — «Было». — «Распустил вожжи, теперь отвечай... Я прощу — народ не простит... Плетюганов тебе!»

Наказание, как свидетельствуют очевидцы, было, в общем-то, символическим. Хлестнули несколько раз. Но кого хлестнули?! Семена Буденного, геройского фронтовика, обладателя полного георгиевского банта! На него, на такого заслуженного, даже офицер в царской армии не имел права руку поднять, его только особый суд мог наказать. А тут — свой же станичник, недавний унтер!

Умел, ох умел Семен Михайлович ненавидеть люто, непрощаемо и притом глубоко таить до поры до времени свою ненависть. Пока сила была на стороне Думенко, Буденный помалкивал, исправно нес службу. Но пришел и его срок, подчинил он себе красную кавалерию. Добился, чего хотел.

Однако судьба-злодейка не преминула вновь скрестить их пути, столкнуть давних соперников лоб в лоб. Армия Буденного захватила Ростов, а вскоре в тот же район с войсками Шорина вышел через Новочеркасск Конно-Сводный корпус Думенко. Несмотря на то что Буденный был теперь старше по должности, Думенко считал унизительным подчиняться своему бывшему помощнику, даже если этого требовали интересы дела. Самолюбие не позволяло. Хорохорился Думенко, держась за прошлые заслуги и не понимая, как много перемен свершилось за минувшие месяцы.

Чем стала к началу двадцатого года Первая Конная? Это три действующих и одна формирующаяся дивизии с четкой организацией, с сильной артиллерией, с сотнями пулеметов на тачанках. Это бронепоезда и самолеты, умелые штабы и мобильные тыловые подразделения. Это более тысячи членов партии на пятнадцать тысяч бойцов, политотделы во всех соединениях, партийные ячейки не только во всех полках, но и в эскадронах. Это сплав боевого мастерства Семена Михайловича с большим опытом партийно-политической работы, которым обладал Климент Ефремович, да плюс организаторский талант Ефима Шаденко. Это, наконец, полная поддержка со стороны таких авторитетных деятелей, как Егоров и Сталин.

А Конно-Сводный корпус Думенко, который Семен Михайлович презрительно называл не иначе как «Сбродным корпусом», насчитывал три или три с половиной тысячи всадников, набранных с бора по сосенке. Дисциплина слабая. На штабных должностях — случайные люди, в лучшем случае — пьяницы, а в худшем — саботажники. Политическая работа практически отсутствовала. Прислали в корпус комиссаром дельного большевика Микеладзе, руководившего до этого подпольем в тылу деникинцев, но Думенко сгоряча сразу же выразил комиссару свое недоверие, не пожелал делить с ним власть. А через короткий срок нашли Микеладзе мертвым неподалеку от штаба: был зарублен шашками. Кто прикончил его, не дознались.

Не тот, совсем не тот стал Думенко после тяжелого ранения, ослаб и душевно, и физически, а гордыню имел прежнюю. Ему бы влиться в армию Буденного, тогда конфликт, вероятно, был бы исчерпан, но Думенко хотел действовать самостоятельно, хотел тоже стать командармом, вернуть былую славу. Ко всему прочему вознамерился Борис Мокеевич первым вернуться победителем на Сал и Маныч, где зачиналась когда-то красная конница, где было много родных и знакомых, рассчитывал пополниться там земляками. Вот уж этого Семен Михайлович никак не желал допустить. Победитель-то он, ему и въезжать со своей армией в станицы Платоновскую и Великокняжескую. А Думенко со своей «сбродной» командой пусть в хвосте тащится. Семен Михайлович не скупился на хулу, обвиняя Бориса Мокеевича в измене, в стремлении перейти к белым, намеревался даже арестовать его, как арестовали Миронова, но не было подходящего случая.

Теперь понятно, почему Буденный упорно и настойчиво предлагал командованию Кавказским фронтом собственный план: собрать Конармию в кулак, перебросить по правому берегу Маныча в район Платовской, Великокняжеской, железнодорожной станции Шаблиевки и там нанести удар в стык Донской и Кубанской армий Деникина. Этот план не отвечал замыслу операции, которую готовили Тухачевский и Орджоникидзе. Однако я откровенно раскрыл последнему всю подоплеку событий, изложил мнение Иосифа Виссарионовича и собственные соображения. Григорий Константинович Орджоникидзе все понял. Не знаю, какие доводы привел он Тухачевскому, во всяком случае тот тоже пошел навстречу. План Буденного был принят с одним уточнением. В приказе, который был отдан Первой Конной, говорилось: заняв район Платовской — Великокняжеской, Конармия должна затем повернуть свои главные силы на запад и, взаимодействуя с другими соединениями, захватить станицу Мечетинскую, важный

опорный пункт белых на подступах к Ростову. Таким образом и Буденный был доволен, и замысел Тухачевского в принципе не нарушался, только увеличивалось расстояние, которое кавалеристам надлежало преодолеть.

Бросок на Платовскую был очень трудным: более ста километров по бездорожью, по глубокому снегу, через разрушенные войной хутора, где не осталось ни продовольствия, ни фуража. Но буденновцев, как на крыльях, несло в родные места. Дошли, выбили противника, затеяли радостный праздник.

Люди веселились, ликовал и Семен Михайлович. Однако ему надлежало теперь мозговать, куда прокладывать дальнейший маршрут. Как витязь на распутье, с той лишь разницей, что перед Буденным лежали не три, а две дороги и думать он должен не только за себя — за целую армию. Одна дорога — на юг. Рукой подать — железнодорожная станция Торговая, обширное село Воронцово-Николаевка. Там крупные силы противника, которые так или иначе необходимо уничтожить. Близкая, верная цель, к тому же богатые трофеи.

Второй путь, как сказано в приказе Тухачевского, — на запад, к станице Мечетинской. Значит, опять гнать конницу сто с лишним верст по сугробному бездорожью, изматывать людей и лошадей. Для чего в такую даль, когда белые рядом, есть кого бить? К тому же где-то под Мечетинской обретается Думенко со своим «сбродным» корпусом. Встречаться с ним — никакого удовольствия. Пусть один повоюет. Прищемят ему деникинцы нос, ну и хрен с ним.

Привычный повиноваться приказам, Буденный, наверно, все же выполнил бы столь важное распоряжение Тухачевского, если бы не одно обстоятельство. Ударили вдруг редкостные для тех мест морозы. Температура упала до двадцати, затем — до двадцати пяти градусов. В населенном пункте зябко, а попробуй оказаться в открытой степи, где гуляет леденящий ветер! Укрыться негде — хутора сожжены. Обмундированы люди плохо, у многих бойцов гимнастерка — на голое тело да шинель. Хороший хозяин в такую погоду собаку из дома не выгонит.

Никуда не денется эта Мечетинская. Вот потеплеет, можно двинуть туда сильный отряд, — так рассуждал Буденный, не захотевший или не смогший понять: он воюет не сам по себе, операция его армии — лишь часть обширного плана, где взаимозависимы действия многих соединений. Не имея связи со штабом фронта и не торопясь ее устанавливать, Семен Михайлович поступил по-своему, а события между тем развивались совсем не так, как он предполагал.

Белые генералы — не тот противник, с которым можно шутки шутить. Они не прощали ни одной ошибки. Другое дело, что массы народа были не на их стороне, опоры у них не было, но воевали они очень даже неплохо. Едва узнали, что Конная армия, основная сила красных, ушла из района Ростова, приняли быстрые и весьма разумные меры. Нанесли неожиданный удар, захватили город, вернули себе «деникинскую столицу», важнейший узел коммуникаций. Возникла угроза Донбассу, и это очень встревожило военное и партийное руководство в Москве. По указанию Ленина к Ростову были срочно двинуты дивизии с другого фронта.

Но и это не все. Сложившуюся обстановку белые сочли удобной для разгрома Конармии. Каким образом? Бросить на фланг и в тыл Буденному всю имевшуюся кавалерию. За несколько дней генерал Павлов собрал более двенадцати тысяч донских и кубанских казаков. Энергии и опыта у Павлова было достаточно. Морозы, насторожившие Буденного, не испугали генерала. Наоборот, Павлов считал, что его закаленные казаки выдержат трудный поход, нападение на красных, которые разбрелись отдыхать по теплым хатам, будет неожиданным и эффективным.

В самом начале рейда Павлов коротким стремительным ударом опрокинул Конно-Сводный корпус Думенко, но преследовать и добивать не стал, жалея время. Затем в степи его разъезды обнаружили две красные дивизии. Не ожидая встречи с противником, они спокойно шли к станице Мечетинской. Да и чего опасаться, если согласно приказу сюда уже должны были двинуться полки Буденного. Но их-то как раз и не оказалось. Фланги у дивизий открытые, ровная местность удобна для стремительной кавалерийской атаки. И генерал Павлов воспользовался таким подарком судьбы. Мощная казачья лава внезапно обрушилась на 1-ю Кавказскую кавалерийскую дивизию Г. Гая, в коротком бою рассеяла ее и уничтожила по крайней мере две трети красных бойцов. Остальных вынесли, спасли от погони крепкие кони[1]. Расправившись с Гаем, генерал Павлов повернул все свои двадцать четыре полка против 28-й стрелковой дивизии Владимира Азина, прославившейся на Восточном фронте и лишь недавно прибывшей в эти места. Дивизия была окружена в степи плотным кольцом. Пулеметы отказали на морозе. А по нашим стрелкам прямой наводкой ударила белая артиллерия, затем с четырех сторон хлынули казачьи лавы. Красные воины сопротивлялись отчаянно и почти все полегли под ударами шашек, под пулями. Лишь триста вырвались из кольца. В общем, 28-я стрелковая была уничтожена, орденоносец начдив Азин попал в плен и был казнен белыми.

Так расплачиваются на войне за самовольство, за невыполнение приказов.

Падение Ростова, опрокинутый корпус Думенко, разгром двух красных дивизий — у Владимира Ильича имелись веские основания для беспокойства, для резких слов о Буденном. Заварил Семен Михайлович такую кашу, что вроде бы и не расхлебать — обожжешься. Но, видно, под счастливой звездой он родился и пользовался особым покровительством бога Марса. Сколько было и есть полководцев, которые делают все разумно,

---

[1] В историю гражданской войны Г. Гай (Гайк Бжишкян) вошел как командир стрелковой дивизии Восточного фронта. 30 августа 1918 года на заводе Михельсона был ранен В. И. Ленин. Когда это известие дошло до бойцов дивизии Гая, они штурмом взяли Симбирск. В Москву была послана телеграмма: «Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу одну рану, а за вторую будет Самара!» Ленин ответил, что взятие Симбирска «есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны...». Вскоре дивизия стала именоваться Самаро-Ульяновской Железной. Она и до сей поры находится в составе Советских Вооруженных Сил, служба в ней считается особо почетной. (*Примеч. Н. Лукашова.*)

верно и оказываются битыми. А Семен Михайлович и знаний не имел, и с логикой не считался, поступая против правил, повинуясь каким-то внутренним импульсам, а в конечном счете лавры победителя доставались ему. Значит, всей своей сутью, образом мышления соответствовал он условиям именно той гражданской междоусобной войны, которая и породила его.

Как получилось в тот раз? Четверо суток без горячей пищи, почти без отдыха мотались казаки Павлова в лютый мороз по голой степи. Ослабли, выдохлись. Много было обмороженных, отставших, сбившихся с пути. Чуть живые добрались белые до жилых мест, одна только мысль владела всеми: попасть в дом, обогреться, заснуть. С полуночи до рассвета пытались казаки атаковать занятые буденновцами станицы, но каждый раз откатывались, встреченные пулеметным и ружейным огнем. Их отбрасывали контратаками, но они остервенело лезли к спасительному теплу снова и снова.

Около пяти тысяч убитыми и замерзшими потерял тогда генерал Павлов. Рискованным рейдом, бессмысленными атаками белые сами способствовали уничтожению своей лучшей конницы. А потери Конармии были минимальными.

Отбросив Павлова на Средний Егорлык, Буденный, подчинив себе стрелковые дивизии, обрушился на корпус генерала Крыжановского, расколотил его, взял богатые трофеи. Затем, не давая врагу передышки, грянул на деникинцев, сосредоточившихся возле станицы Егорлыкской и станции Атаман. Здесь завязалось кровопролитнейшее и, можно сказать, решающее сражение за Северный Кавказ. Понимая это, белые бросили против Буденного все, что только могли. Даже Ростов оставили без всякого давления, направили свои лучшие части все туда же, на Первую Конную, крушившую деникинские тылы. Полк за полком, дивизия за дивизией подходили к месту сражения, и Буденный поочередно бил, рассеивал, уничтожал их. Конечно, и Конармия понесла очень большие потери, но она сделала главное: за несколько суток перемолола основные силы Деникина, после чего враг на юге уже не сумел оправиться. Воспользовавшись успехом, быстро пошли вперед четыре общевойсковые армии Кавказского фронта.

Каким судом судить после этого Семена Михайловича? В чем он виноват, а в чем прав? Не дает жизнь однозначных ответов.

Буденный сознавал значение своего успеха, чувствовал себя очень уверенно: Шорина они с Ворошиловым спихнули при помощи Сталина. Арестован и обвинен в измене Думенко, ждет в Ростове трибунала, и не избежать ему смерти. Белых расколошматили к чертовой матери! Кругом шестнадцать! Рассуждая так и чувствуя свою силу, Семен Михайлович решился еще на один шаг. Зная, что командующий фронтом Тухачевский не очень-то благожелательно относится к нему за самостийность, за рискованные выкрутасы, чуть было не приведшие к тяжелым последствиям, Буденный замыслил приструнить свое новое начальство. А то ведь хрен его знает: и следствие назначить может за невыполнение приказа, и под арест взять. Вопреки существующему порядку намерился явиться к командующему без вызова. Надо объясниться, пока не поздно. И как только пришло известие, что служебный вагон Тухачевского находится на станции Батайск, Буденный и Ворошилов отправились туда с сильным конвоем, способным не только станцию оцепить, но и весь город под контроль взять.

Для Тухачевского появление буденновского отряда в Батайске было полной неожиданностью, и, согласитесь, любые мысли могли прийти в его голову, любые сомнения. Однако Тухачевский — человек решительный и к тому же воспитанный — принял Буденного и Ворошилова сразу, едва доложили о них. Поздоровался, пригласил в салон, но, едва лишь гости переступили порог, спросил резко и требовательно:

— Товарищ Буденный, почему не выполнили моего распоряжения об ударе на Мечетинскую, а повели Конную армию в район Торговой?

Семен Михайлович заранее подготовился к такому разговору, принялся неторопливо излагать насчет небывалых морозов, насчет генерала Павлова, который попер против погоды.

— Вам известно, к чему привело невыполнение вами боевого приказа?

Это был вопрос посложнее, за ним обрисовался соответствующий пункт возможного решения военного трибунала. Никакой конвой не защитит, не спасет. Буденный напрягся, ледяным немигающим взглядом попытался сломать взгляд Тухачевского.

Стояли друг против друга: заматеревший, налитый силой, усатый вояка, пятнадцать лет не покидавший седла, смекалистый и беспощадный, пропахший махоркой и конским потом, — и стройный красивый юноша, очень чистенький, аккуратный, я бы сказал даже — барственный, с брезгливо-ироническим разрезом рта (Тухачевский выглядел моложе своих двадцати пяти лет). Сколько подобных юнцов перевидал за свою жизнь Семен Михайлович, сколько их было, молоденьких офицериков, помыкавших им! Потом не одному такому вот чистенькому красавчику располосовал он голову тяжелой шашкой с большой медной рукояткой. А этого не то что клинком — соплей в талии перешибешь. Но за его спиной власть, сам Ленин направил его сюда.

Семен Михайлович отвел взгляд, повернулся к Ворошилову. Не выдержал твердого, укоризненного взгляда Тухачевского или не хотел, чтобы заметил командующий ту ненависть, которая закипела в нем к этому дворянчику-чистоплюю, позволяющему себе бестрепетно и строго говорить с ним, с Семеном Буденным! А если уж начинал Семен Михайлович ненавидеть, то навсегда — в этом отношении Михаилу Николаевичу Тухачевскому крепко не повезло. А он и не понял, продолжая ставить вопросы, в принципе совершенно правильные, но слишком прямые, не щадившие самолюбия Буденного.

— Как вы здесь очутились? Почему без моего ведома оставили армию? Я вас не вызывал, — произнес Тухачевский, все еще не предлагая Буденному сесть.

Мне было ясно, что командующий прекрасно понял смысл сцены, которую пытались разыграть перед ним: неожиданное появление, шумящий за окнами вагона грозный конвой...

Тухачевского на испуг не возьмешь. Металл столкнулся с металлом, и надо было что-то предпринимать. Я пошел в конец вагона, в купе Григория Константиновича Орджоникидзе. Тот сидел на диване и пил чай с хлебом, кося глаза в раскрытую на столике книгу.

— Назревает взрыв, — сказал я.

— Кто там? — рассеянно поинтересовался Григорий Константинович.

— Буденный и Ворошилов, совсем неожиданно.

— А Тухачевский, конечно, ощипывает им перья? — поднялся Орджоникидзе. — Жаль, что меня не предупредили.

— Тухачевский знает, кого и как встретить.

— Но он совсем не знает законов гостеприимства, — добродушно возразил Григорий Константинович. — Он молод, а дорожить гостями начинаешь лишь в нашем возрасте.

Орджоникидзе пригладил усы под большим вислым носом, шагнул в коридор и первыми же словами, звонким веселым голосом сразу разрядил накалившуюся атмосферу.

— Не ругай их, Михаил Николаевич, не надо ругать. Противник разбит, сам знаешь, и разбит в значительной степени Конной армией. А еще Екатерина Вторая сказала, что победителей не судят. Давай и мы не будем судить! — засмеялся Григорий Константинович. — Давайте будем радоваться все вместе.

Разговор пошел легче, спокойней. Гости расположились в салоне. Тухачевский развернул карту...

Такой была их первая встреча, и я думаю, что Семен Михайлович должен был простить требовательность, официальность, колючесть Тухачевского. Особенно после того, как узнал, что в кармане командующего лежала телеграмма Ленина, в которой говорилось о полном разложении у Буденного. Однако Семен Михайлович не простил.

22

Сколько раз бывал я в Новочеркасске, а вот не знаю этого города, ничего не помню в нем, кроме дома за высоким забором, злосчастного флигеля в глубине двора и кладбища на окраине — все мои эмоции связаны с ними. Через два года, в мае двадцатого, снова приехал я туда, где навсегда остался самый близкий мне человек. На этот раз весна выдалась солнечной, яркой, много было цветов. Сады стояли сплошь белые, и белизна эта в сочетании с небесной синевой создавала торжественное настроение, действовала возвышающе и очищающе.

На станции удалось взять извозчика, я велел ему ехать на кладбище. Мужичонка оказался разговорчивый и малость навеселе.

— Гляжу на вас и не пойму, кто такой, — рассуждал он. — По всему обличию сразу видать — ваше благородие, а фуражка со звездой. Бриджи самые что ни есть офицерские, а на плечах никаких следов от погон...

— Не все ли равно?

— Дык интересно. И товарищей пролетариев возить надоело, никакого дохода от них, себе дороже.

Я не мешал ему болтать — он отвлекал от тяжелых дум, рассеивал чувство вины, нараставшее во мне. Вот ведь Веры давно нет, а я здоров, бодр, ощущаю полноту жизни, не могу не замечать красоты. Я не с ней, как хотел раньше. Более того, я стал за это время иным, отдалился от нее, от нашего общего прошлого, захвачен новыми заботами. Поняла бы она меня, моя Вера?

Отпустив извозчика, я быстро прошел мимо церковной ограды к овражку. Кусты здесь стали выше и гуще. Могилу я не сразу узнал. Она была обложена дерном, обнесена оградкой со скамеечкой внутри. И даже увядшие цветы лежали на холмике. Значит, старый чиновник наведывался сюда.

— Прости меня, Вера, — сказал я, опустившись на одно колено, — прости, что не был так долго... Ты, ведь слышала, здесь тоже стреляли. Такая вражда, такие огненные завесы везде, только теперь пробился сюда...

Ухоженная, аккуратная могила, затянутая салатовой зеленью молодой травы, казалась мне чужой, не располагала к откровению. Не верилось, что именно здесь в ту страшную ночь я разгребал руками землю, ломал ногти о мерзлые комья, пытаясь добраться до Веры, увидеть ее. И сейчас я не стал даже рассказывать ей, как рассчитался с двумя негодяями. Самому неприятно было. Упомянул лишь о том, что они получили от меня все, на что я способен.

Из дорожного чемоданчика достал походную флягу, налил в крышку коньяк, по русскому обычаю выпил за свою жену, чтоб земля ей пухом и нашему нерожденному ребенку тоже. Про Москву шептал Вере, про последнюю встречу с Алексеем Алексеевичем Брусиловым и сыном его Алешей. Постепенно пустела фляга, и соответственно нарастало во мне раздражение: почему это моя жена вынуждена теперь вечно лежать на задворках, отсеченная от других людей, от церкви высокой оградой?! Что это за несправедливость?! Советская власть, за которую я воевал, вообще не признает религии, а тут такие предрассудки...

— Хочешь, перезахороню тебя? — спросил я. И, подумав, ответил себе: нет, не надо трогать, шевелить гроб, нарушать покой Веры. Заговорил опять: — Раз так, мы сделаем по-другому.— Встал, одернул френч.— Подожди, скоро вернусь.

Тогда в Новочеркасске только что развернулся запасный кавалерийский полк, который должен был быстро готовить пополнение для Первой Конной (по указанию Ленина). В основном за счет опытных донских казаков, попавших в плен или отсиживавшихся по хуторам. Маршевые эскадроны для Конармии особенно важны были в связи с предстоящими боями против белополяков. Но никто из членов Реввоенсовета еще не побывал в запасном полку, все были заняты организацией марша конницы от Дона к Днепру. Поэтому Шаденко, ведавший в Первой Конной управлением формирований, узнав, что я еду через Новочеркасск, очень просил задержаться в городе, проинспектировать полк, передать командиру ряд указаний, а свои выводы и предложения в письменном виде переслать Реввоенсовету Конной. Соответствующий мандат мне был выдан.

Командир запасного полка, человек степенный, по-

воевавший, встретил меня доброжелательно и рад был каждому совету: он варился здесь в собственном соку. Трудно ему было налаживать дело без помощи и руководства сверху. Все — сами. Даже оружие добывали самостоятельно, любыми правдами и неправдами. Особенно было плохо с обмундированием, его совершенно не получали, бойцы и командиры донашивали кто что имел.

Мы побывали в двух эскадронах, и я убедился, что порядок в полку вполне удовлетворительный, занятия шли на хорошем уровне, дежурная служба неслась четко, кони сытые, ухоженные. Командиру полка было приятно, что я заметил это. Сказав, что пробуду в полку трое суток, и договорившись о квартире, я огорошил командира столь неожиданной просьбой, что он не сразу понял, шучу я или говорю серьезно. Но вообще-то мужчина оказался сообразительный, побывавший, видимо, в разных переделках. Выслушав мое объяснение, он даже обрадовался:

— А что?! Мы вот тоже потери несем от бандитов, от болезней умирают бойцы. А хороним, где придется. Непорядок! Зарезервируем землю, чтоб по всем правилам, на настоящем кладбище.

От слов — к делу. Верхом, в сопровождении трех всадников, поехали мы к церкви и своим появлением изрядно переполошили старух на паперти да и самого батюшку: чернобородого, черноглазого, с темным морщинистым лицом, в котором угадывалось что-то турецкое. В те годы появление военных не сулило добра.

— Тесно живете, батюшка! — сказал командир полка, оглядывая с высокого коня кладбище.— Места свободного не видно. Небось прихожане жалуются?!

— Сетований не слышно, а места совсем не осталось, что верно, то верно,— подтвердил священник.— В последнее время многих прибрал Господь, особенно власть имущих.

— Кого и за что прибрал,— это другой разговор,— сказал командир полка.— Хотим мы тебя порадовать, батюшка. Разрушай забор вот с этой стороны и переноси его дальше сажен на двадцать. Чтоб тот кустарник и весь край оврага вошел.

— Не наша земля-то, не церковная,— осторожно возразил священник. И чувствовалось: очень заинтересовало его такое предложение.

— Земля всюду народная. Как командир Красной Армии, я отвожу эту полосу для захоронения наших геройских бойцов, которые все крещеные и, значит, церковным порядкам не противоречат. Ну и для прочих горожан-прихожан, чтоб без тесноты и давки. А вы смотрите, чтобы все могилы, какие там есть и будут, содержались в полном порядке. С вас спросим. Уяснил, батюшка?

— Бумагу бы надобно.

— Завтра получите выписку из приказа.

— Спасибо, благослови вас Господь за богоугодное дело.— Священник вскинул руку для крестного знамения, но своевременно спохватился. Поняв, что перед ним начальство, воспользовался благоприятным моментом: — Ограду-то мы разрушим, а новую как поставим? Ни материала, ни людей нет.

— Материал найдешь, тут немного и надо,— ответил командир полка.— А люди будут. Завтра к десяти пришлю взвод. Тридцать человек поработают два дня. Хватит?

— Куда уж лучше-то! — обрадовался священник.— Со всеми делами управимся.

Командир уехал, оставив мне коновода. А я вместе со священником пошел к могиле жены.

23

Весной 1920 года в «Правде» были опубликованы материалы, привлекшие внимание каждого русского офицера, в каком бы лагере он ни находился. На многих, особенно на белогвардейцев, эти материалы произвели ошеломляющее впечатление. 5 мая в этой газете появился приказ Реввоенсовета Республики, в котором, в частности, говорилось: «Образовать при Главнокомандующем всеми вооруженными силами высокоавторитетное по своему составу Особое совещание по вопросам увеличения сил и средств для борьбы с наступлением польской контрреволюции...» В состав Особого совещания были включены русские полководцы, отличившиеся во время второй мировой войны, в том числе хорошо знакомые мне генералы А. М. Зайончковский, А. А. Поливанов, А. А. Цуриков. Какие только слухи не распространялись о них: замучены в большевистских застенках, расстреляны, умерли от голода. А они и многие другие, оказывается, не только живы, но выразили готовность служить Советской власти. Особенно же потрясло всех, в том числе и меня, что председателем Особого совещания был назначен бывший Верховный Главнокомандующий русской армией, лучший полководец мировой войны, мой дорогой учитель Алексей Алексеевич Брусилов! В то время я не знал, что еще 18 апреля Алексей Алексеевич подал заявление о вступлении на службу в Красную Армию.

Вместе с приказом была напечатана статья с такими словами: «В высокой степени знаменательно, что А. А. Брусилов признает безусловно правильной советскую политику, выразившуюся в безоговорочном признании независимости Польской республики. Не менее знаменательно и то, что А. А. Брусилов самым фактом предложения своих услуг для дела борьбы с буржуазно-шляхетской Польшей как бы подтвердил от лица известных кругов, что рабоче-крестьянская власть имеет право ждать и требовать поддержки и помощи от всех честных и преданных народу граждан, независимо от их прошлого воспитания, в той великой борьбе на Западе, от которой зависит будущее России».

Для меня решение Алексея Алексеевича стать на защиту молодой Республики имело особое значение. Я бесповоротно утвердился в своем собственном выборе, а теперь получил еще одно подтверждение, что выбор этот абсолютно правильный: даже такой принципиальный и независимый человек, как Брусилов, добровольно занял место в том же строю.

Не успели еще улечься страсти, вызванные созда-

нием Особого совещания, как 30 мая и опять же в партийной «Правде» появился новый важнейший документ — призыв «Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились». Вот что в нем говорилось:

«В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их вам ни нанес, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию, на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче-Крестьянской России вас ни назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку-Россию».

И опять первым подписался под этим документом Брусилов!

Что творилось в последующие дни в военных комиссариатах по всей Республике! Шли и шли бывшие офицеры, излечившиеся от ран, считавшиеся прежде больными, даже воевавшие ранее на стороне белых! Только сказала им Советская власть о своем полном доверии — и получила для фронта прекрасные боевые кадры! А ведь это в те дни, когда белополяки дошли до Днепра, а Врангель развивал наступление на юге.

И это не все. Специальной шифрованной телеграммой Владимир Ильич Ленин приказал Реввоенсовету Республики подготовить авторитетное обращение — манифест для офицеров врангелевской армии с гарантией полной безопасности в случае перехода на нашу сторону. Подписи: председатель ВЦИК М. И. Калинин и председатель Особого совещания при Главкоме А. А. Брусилов.

Отпечатанное в виде листовки, обращение это было распространено в Северной Таврии, в Крыму. На многие умы повлияло оно, помогло спасти много жизней.

Популярность Брусилова была огромной, роль его выступления — тоже. Вот красноречивый факт. В августе 1920 года на фронте сложилось критическое положение. Наше наступление в Польше приостановилось, белополяки активизировались. 13-й армии грозил разгром. На юге теснил нас Врангель. Страна напрягала для борьбы все силы. И в эти дни линию фронта перешел врангелевский офицер. Потребовал доставить его в штаб Юго-Западного фронта и там сообщил: в Крыму создана тайная организация, объединяющая большую группу офицеров, занимающих высокие должности. В их числе — значительное количество генштабистов (были и мои однокашники по учебе). Организация готова произвести переворот, сбросить Врангеля, объявив Крымскую армию Красной Крымской армией. Условие одно: командовать этой армией в течение одного года будет А. А. Брусилов, который, дескать, сумеет отстоять справедливость, защитить бывших солдат и офицеров от гонений и преследований, добросовестно решит все наболевшие вопросы.

Сообщение о перебежчике ушло в Москву. Известно, что Ленин встретил новость заинтересованно, предложил обсудить в ЦК партии. Не знаю, почему назревавшее событие не произошло, а свершись оно — и не было бы кровопролития в Северной Таврии, на Сиваше, на Перекопе. В составе наших вооруженных сил оказалась бы еще одна большая, хорошо оснащенная армия. Наверняка иначе развернулись бы события на берегах Вислы.

Если кто и был противником всего этого, то в первую очередь Троцкий со своими приспешниками. К тому времени он привлек из западных местечек большое количество своих собратьев, направив их на средние руководящие посты в государственный аппарат и в армию. Эти кадры готовы были выполнить любое указание Льва Давидовича. Однако сии полуграмотные дельцы не шли ни в какое сравнение с образованными, принципиальными, честными офицерами, которые могли бы прийти на службу новой России. Они преградили бы путь потоку, хлынувшему из местечек во все города и районы страны. Разве Льва Давидовича устраивало такое положение?!

И вот Крым, ценой больших жертв и усилий, отвоеван. Множество офицеров, юнкеров, бывалых казаков и солдат сдались в плен. Своим же, русским. Многие (почти все из числа сдавшихся) прошли через две войны, мировую и гражданскую, были, можно сказать, профессиональными воинами. Превосходнейший боевой материал! Но как им распорядиться?! Брусилов предлагал сформировать офицерские казачьи эскадроны, даже полки, отправить их в Среднюю Азию против басмачей. Этим достигались две цели: недавние белогвардейцы доказали бы лояльность новой власти, начали бы служить ей, да и с басмачами было бы разом покончено, профессионалы быстро посшибали бы их с седел. А то ведь потом борьба с басмачами растянулась до тридцатых годов, было погублено много мирных жителей, вырублено много молодых и неопытных красных бойцов. Все жертвы и жертвы...

Но нет, не послали закаленных воинов в Среднюю Азию. С ними поступлено было примитивно и варварски. Их уничтожили в Крыму. Сколько? По примерным подсчетам от 50 до 80 тысяч человек! Целую армию! Цвет российского воинства, который мог бы послужить укреплению новых вооруженных сил, который сыграл бы свою роль и в будущих войнах! Готовый костяк командных кадров для войны с теми же фашистами! Но этих людей использовали лишь на то, чтобы полить кровью, чтобы их телами удобрить сухую крымскую землю. Говорю об этом не с сарказмом — с глубочайшей горечью.

Кто виновен в крымской трагедии? Кто распорядился уничтожить десятки тысяч пленных? Во всяком случае не Сталин, на которого принято сваливать все грехи. Сталин не имел к этому никакого отношения.

Истребляли пленных тайком, до нас с Брусиловым доходили лишь запоздалые слухи...

Различными делами занимался тогда Алексей Алек-

сеевич в Красной Армии, но я выделю лишь то, что знакомей мне. Сам бывший кавалерист, Брусилов, как и Егоров, не считал, что конница изжила себя. Наоборот, он говорил, что у кавалерии есть будущее, надо только разумно подходить к ее использованию. И первым долгом — восстановить в стране конское поголовье, которое за годы войны уменьшилось с 35 до 11 миллионов голов, причем исчезли лучшие, самые выносливые, самые породистые кони. Эту работу и возглавил Алексей Алексеевич, став главным военным инспектором коннозаводства и коневодства и одновременно начальником Управления инспектора кавалерии РККА, то есть главным руководителем и организатором всей нашей конницы. Вместе с ним, по совету Иосифа Виссарионовича, работал и я.

Почему и для чего — это будет понятно из дальнейшего рассказа. В апреле 1922 года Сталина избрали Генеральным секретарем Центрального Комитета партии. Конечно, в ту пору пост этот не был столь важным, решающим, как впоследствии. По-прежнему недосягаемой вершиной был в стране Ленин. По-прежнему значительную роль в военных делах играл Троцкий, но и Сталин, если и не шагнул дальше Льва Давидовича, то по крайней мере шел вровень с ним. Забот у Иосифа Виссарионовича значительно прибавилось, занимался он, естественно, в основном партийными, политическими делами, но и связь с войсками продолжал укреплять, постепенно оттесняя Троцкого.

Вскоре после победы над Врангелем Иосиф Виссарионович настоял на том, чтобы я снова перешел под крыло своего старого учителя Брусилова; помогал бы ему, семидесятилетнему, в трудах и заботах, даже в писании мемуаров, в коих могло быть много поучительного. Сталин хотел, чтобы я, как и прежде, был в курсе всех дел военного ведомства, знал все теории, веяния, даже слухи. И еще: находясь при «главном кавалеристе» Республики, я мог заботиться о сохранении опоры Сталина — Первой Конной армии, о тех ее людях, которых Иосиф Виссарионович считал надежными соратниками. Это было особенно трудно, потому что началась послевоенная массовая демобилизация войск.

За мной числилась тогда большая четырехкомнатная квартира неподалеку от Кремля со стороны Боровицких ворот. Но занимал я только две комнаты, остальные, за капитальной стенкой использовал для своих нужд Иосиф Виссарионович. У него имелся свой вход со стороны двора, своя кухня. Общались мы через дверь в стене, совершенно звуконепроницаемую, и с моей, и с его стороны скрытую портьерами.

Появлялся Сталин не часто — раза два в неделю, и в самое разнообразное время: и днем, и вечером, и поздно ночью. Приезжал либо в хорошем настроении, либо (почти всегда) в дурном расположении духа, а в обычном состоянии — очень редко. Наверное, не желал показывать свое расстройство людям, в семье, хотелось ему скрыться, уединиться, отдохнуть душой или поразмыслить над чем-то. Вот и искал одиночества. А я, значит, не был ему в тягость. Впрочем, он не всегда приглашал и меня.

В плохом настроении Иосиф Виссарионович не пил, усаживался в большое кресло и молча курил трубку, долго и сосредоточенно глядя в одну точку. Лишь по движению бровей можно было понять что он напряженно размышляет, сомневается, ищет...

Будучи доволен чем-то, радуясь чему-либо, Сталин обязательно приглашал на свою половину меня, много говорил, не прочь был выпить. Иногда — коньяк, но чаще — сухое вино, которое не доставляло мне особого удовольствия, и я не отказывался лишь для того, чтобы не огорчить Иосифа Виссарионовича, не разрушить компанию.

Хозяйство на половине Сталина вёл Николай Власик. Заботился о еде, о чистоте, по-моему даже пол мыл сам, никого не допуская в эту тайную обитель. Не знаю, имелась ли у Власика другая должность, но он явно не переутруждал себя и от спокойной малоподвижной жизни начал жиреть: выперло пузо, а главное — раздались, набухли поросячьи щеки.

На нашей квартире не бывали московские знакомые или соратники Иосифа Виссарионовича, за исключением Анастаса Микояна. Привозил Сталин лишь каких-то кавказцев, тут впервые я увидел моложавого Лаврентия Берию. Он держался очень скромно, тихо разговаривал о чем-то с Власиком, бесшумно, по-кошачьи ходил по комнатам, в ванную, на кухню. И вроде бы обнюхивал углы. После его посещения на всех дверях сменили запоры, поставили более надежные.

Впрочем, гости бывали редко, обычно мы с Иосифом Виссарионовичем оставались вдвоем. Я рассказывал о новостях в военном ведомстве, в инспекции кавалерии. Он интересовался, как идет работа над воспоминаниями Брусилова.

Работа над ними продвигалась медленно. И виной тому не столько ухудшившееся здоровье Алексея Алексеевича, сколько различные осложнения на «фронте внешнем и на фронте внутреннем», как говорил он. Усилия Брусилова по укреплению и развитию конницы, по восстановлению конского поголовья в стране зачастую не находили поддержки высших руководителей, а порой даже самые разумные начинания встречались в штыки. Помните особое отношение Троцкого к кавалерии? Это отношение стало еще более резким после того, как была создана Первая Конная, которую Лев Давидович считал «вотчиной и оплотом» Сталина. Ни одной возможности не упускал Троцкий, чтобы вставить кавалерии палки в колеса. Это очень мешало Брусилову, нервировало его.

Нелегко было Алексею Алексеевичу и на «внутреннем фронте», в семье. Слишком уж честолюбивая и эгоистичная жена его Надежда Владимировна никак не могла смириться с утратой высокого положения «первой военной дамы», того ореола почтительности, к которому успела привыкнуть. Она ругала большевиков, мечтала о заграница, увлекалась мистикой, спиритизмом. А главное — ей казалось, что Алексей Алексеевич не то и не так пишет. Вмешивалась, навязывала свое мнение. Больше, дескать, надо рассказывать о жизни в кругу семьи, о встречах со знаменитостями, о самом себе, наконец. Я же, наоборот, советовал Брусилову подробнее анализировать замысел, подготовку и проведение боевых операций, освещать

поучительные моменты баталий, разбирать просчеты наши и неприятельские, характеризовать полководческие способности отдельных лиц. Надежда Владимировна не хотела с этим мириться, и тем самым я нажил в ней врага и почти перестал, к моему глубокому огорчению, бывать у них дома. Жаль. Я почитал Алексея Алексеевича как отца своего, и он тоже очень тепло относился ко мне.

Позволю себе привести еще одну маленькую выдержку из бумаг Брусилова. Мой дорогой генерал писал: «Я подчиняюсь воле народа — он вправе иметь правительство, которое желает. Я могу быть не согласен с отдельными положениями, тактикой Советской власти, но, признавая здоровую жизненную основу, охотно отдаю свои силы на благо горячо любимой мною Родины».

Таково кредо Алексея Алексеевича Брусилова. И мое тоже.

Здоровье генерала продолжало ухудшаться. Усилились боли в ноге — давала себя знать рана. Алексей Алексеевич скрепя сердце подал в отставку. Хоть и не сразу, она была принята. Однако с существенной оговоркой: Брусилов оставался для особо важных поручений при Реввоенсовете Республики. Этот пост он занимал до самой смерти, которая недолго заставила себя ждать.

Скончался Алексей Алексеевич 17 марта 1926 года. Похоронили его в Новодевичьем монастыре у Смоленского собора. Вернулся я оттуда подавленный и совершенно разбитый. С уходом Брусилова закончилась целая полоса моей жизни, порвались последние нити, связывавшие меня с прошлым.

Троцкий быстро и беспощадно сокращал Красную Армию, даже не сокращал, а разгонял. Увольнялись не только красноармейцы, но и опытные, заслуженные командиры. За короткий срок в десять раз уменьшились наши Вооруженные Силы: с пяти миллионов пятисот тысяч до пятисот шестидесяти тысяч. Это сущий пустяк при наших просторах, при нашей огромной границе. Мы стали одним из самых беззащитных государств в Европе. Есть общепринятый показатель — количество солдат на десять тысяч населения. В 1924 году этот показатель выглядел так:

Франция — 200 солдат (самая большая армия в Европе),

Эстония — 123 солдата,

Румыния — 95 солдат,

Польша — 93 солдата.

А мы, окруженные со всех сторон врагами, имели всего 41 бойца на десять тысяч населения! Такое сокращение подрывало саму основу русской армии, вело к потере боевых кадров, славных традиций, материальной базы. Это был саморазгром. Как говорил потом Сталин: «Если бы бог нам не помог и нам пришлось бы впутаться в войну, нас распушили бы в пух и прах».

А что же, Лев Давидович был настолько глуп, что не понимал этого? Все ему было ясно, как в светлый день, и он совершенно сознательно гнул свою линию, прикрываясь очень даже революционным тезисом. С внутренней контрреволюцией, дескать, покончено, а иностранные армии нам не страшны, зарубежные рабочие и крестьяне не станут с нами воевать, возьмет верх пролетарская солидарность.

И это сказано сразу после того, как мы вышвырнули со своей русской земли германцев и белополяков, японцев и белочехов, англичан, канадцев, американцев! Вот уж воистину фарисействовал Лев Давидович!

Нет, Троцкий не желал, чтобы Республика совершенно ослабла и пала жертвой интервентов. В таком случае он сам потерял бы все. А он, наоборот, собирался укрепить собственное положение. Сокращая армию, Троцкий рассчитывал прежде всего изгнать из нее своих противников, неугодных ему людей, признававших в первую очередь авторитет Фрунзе, Сталина, Ворошилова. А затем возродить полки и дивизии, поставив в руководство только своих приверженцев. Другими словами — он хотел полностью захватить военную власть, чтобы диктовать условия, проводить свою политику. Борьба за вооруженные силы была лишь частью общеполитической борьбы, причем наиболее важной, решающей частью. Это хорошо понимали Сталин и Фрунзе. Не было сомнений, что Троцкий доберется и до Первой Конной, дислоцировавшейся на Северном Кавказе. Собственно, попытки ликвидировать ее уже были. Это ведь Лев Давидович предложил и настаивал: надо послать усиленный конный корпус через Афганистан в Индию, чтобы произвести там революцию... А где взять усиленный конный корпус, если у нас имелось в то время лишь одно постоянное, сильное кавалерийское объединение — Первая Конная армия? Предложение Троцкого фактически означало отправить к черту на кулички именно ее (все остальные кавалерийские соединения и объединения возникали на короткие сроки, были слабы и распадались, как, например, Вторая Конная армия). Верный был способ избавиться от буденновской конницы!

Не берусь оценивать предложение Троцкого с политической точки зрения (экспорт революции), но для человека военного авантюристичность и бессмысленность была очевидна. Смогла бы кавалерия, не имея тылов, не пополняясь людьми и конским составом, пройти тысячи верст по пустыням Средней Азии, по афганскому каменистому безводью, преодолеть трудные горные перевалы? Уже сама эта задача представлялась невыполнимой: конница вымоталась бы, не одолев и половины пути. А как встретит вооруженных пришельцев афганское население, только что отбившееся от англичан, подозрительно и недружелюбно настроенное ко всем европейцам, ко всем «неверным», видя в них лишь завоевателей-колонизаторов? С боями пришлось бы пробиваться.

Если предположить самое лучшее, самое невероятное: пятнадцать — двадцать тысяч измученных всадников после долгих мытарств доберутся все же до Индии — что тогда? Кто там ждет их, что они смогут сделать в совершенно чужом краю? Поднять революцию? Да там же стоят крупные силы английских войск,

там формирования местных феодалов. От нашей конницы и следа не останется.

Авантюра, конечно, была явная, Ленин не поддержал ее, выступил против, и индийский поход, слава богу, не состоялся. Но Троцкий не из тех, кто отступает от своих замыслов.

Я ждал, что Иосиф Виссарионович со дня на день спросит меня, как быть с Первой Конной, как сохранить надежные соединения. Долго и много думал я об этом, зато когда начался важный сей разговор, был полностью готов к нему, имел даже соответствующую карту. Мы сидели дома возле окна за столиком, на котором красовалась бутылка вина и два бокала. Власик принес яблоки.

Я начал с того, что Конную армию как полноценное объединение сохранить не удастся. Значит, надо сберечь хотя бы ее дивизии или отдельные полки. Как это сделать? Не дожидаясь, пока Троцкий потребует расформирования Первой Конной, мы сами расформируем ее. Мы — это помощник Главкома по кавалерии Буденный и новый командующий Московским военным округом Ворошилов. Думаю, поможет в этом и Фрунзе. Одну дивизию перебрасываем вот сюда (показал я на карте), в район Минска, для укрепления западной границы. Другую — в район Воронежа, где вспыхивают кулацкие восстания. Если нам понадобятся эти дивизии, их за сутки можно перебросить по железной дороге в Москву.

Особое место в моих замыслах отводилось 14-й Майкопской кавдивизии, самой сильной и самой надежной. Я предложил перевести ее в Московский военный округ, в непосредственное подчинение товарища Ворошилова. Всего в округе десять дивизий, из них девять слабые, территориальные, и только одну, кавалерийскую, мы постараемся сохранить полностью, чтобы она в любой момент могла выступить против любого врага. Чтобы одна стоила девяти.

— Хорошая мысль, правильная мысль,— одобрил Иосиф Виссарионович.— Но не переборщим ли мы с четырнадцатой кавдивизией? Троцкий на дыбы встанет, поняв нашу стратегию.

— А мы сделаем это без всякого шума. Изменим номер дивизии. Пусть она считается, к примеру, десятой.

— Но не снимайте наименования «Майкопской», люди гордятся этим почетным званием,— сказал Сталин, разглядывая карту.— Ну что же, Николай Алексеевич, я полностью согласен с вами. Кавалерийские дивизии будут теперь еще ближе к нам. Оттуда мы будет черпать нужные кадры. Свяжитесь с товарищем Буденным и Ворошиловым и действуйте.

Рискуя надоесть читателю, упомяну еще об одной маленькой хитрости, которая была предложена мной и осуществлена для перестраховки, для введения в заблуждение наших противников. В ряде небольших городов были размещены совершенно безобидные на первый взгляд отдельные кавалерийские эскадроны для несения гарнизонной службы. В основном — в узловых пунктах на пути к Москве. Что представляли они из себя, покажу на примере отдельного эскадрона, дислоцированного в Острогожске. Подлежавшая сокращению кавалерийская бригада из буденновской армии была сведена в кавалерийский полк, затем в эскадрон. Количество бойцов значительно уменьшилось, но оружие было полностью сохранено, командный состав получал жалованье по своим прежним должностям. На учете были люди и кони в соседних населенных пунктах. В случае необходимости этот эскадрон за сутки мог превратиться в полк, за двое суток — в полноценную кавалерийскую бригаду. Вот такие резервы были у нас, в руках Буденного и Ворошилова, а следовательно,— в руках Сталина.

Несмотря на десятикратное сокращение войск Республики, Троцкий не добился своей цели. В смутное время, в период болезни и смерти Ленина, когда обострилась битва за власть, Иосиф Виссарионович имел такую реальную и послушную вооруженную силу, какой не имел никто.

Начинался новый этап борьбы.

Часть вторая

1

Иосиф Виссарионович знал, что я с брезгливостью отношусь ко всяким политическим игрищам, к разным там правым и левым, к фракциям и оппозициям, видя во всем этом лишь вредную для государства, ослабляющую государство борьбу за место у пирога между партиями, группами людей и в конечном счете между отдельными личностями. У меня была простая позиция: я русский человек, мне дорого и важно то, что идет на пользу государства Российского. К этой моей позиции Сталин относился с уважением, во всяком случае не переубеждал меня. Иосифу Виссарионовичу важно было, что я предан отечеству и дружески верен ему самому. Вероятно, он сознательно, умело использовал такие мои убеждения, мое умонастроение в своих конкретных целях. Будучи в партии главным специалистом по национальным делам, он обязан был знать, что думает по тому или иному поводу образованный, рассуждающий русский патриот, славянин (в руководстве партии и государства русских, украинцев, белорусов насчитывалось тогда мало, но страна-то была в основном славянской!). Этим и объясняется, вероятно, что круг вопросов, с которыми обращался ко мне Иосиф Виссарионович, становился все шире.

Привлек меня Сталин и к той работе, которая летом и осенью 1922 года была, пожалуй, самой важной — к созданию нового советского многонационального объединения. Одним из первых познакомился я с идеями Иосифа Виссарионовича на этот счет, а затем и с планом, который фигурировал под названием «плана автономизации» и значительно расширил трещину, наметившуюся во взаимоотношениях между Сталиным и Лениным. Чтобы понять, почему возникло отчуждение и почему «план автономизации» был с треском провален, надо хотя бы кратко упомянуть о некоторых предшествовавших событиях.

После двух революций и за годы гражданской войны совсем еще недавно могучее, строго организованное государство наше превратилось в груду admini-

стративных «обломков». Румынские бояре отрезали Бессарабию (Молдавию). Отделилась Польша, прихватив Западную Украину и Западную Белоруссию. Граница проходила рядом с Минском, а оттуда и до Москвы рукой подать. Скверно было на Балтике. Столетиями боролась Россия за выход к этому морю, с трудом прорубила «окно в Европу», и вот рухнуло все мгновенно. Не смогли удержать (а может, не особенно и старались?!) Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, образовалось там «лоскутное одеяло», на котором поторопились улечься западные государства. У нас вместо широкого окна осталась лишь узенькая «форточка» — из Петрограда через мелководный Финский залив.

На Дальнем Востоке — «буферная» республика. В Средней Азии вообще не поймешь что: хозяйничали там ханы, эмиры и все сильней ощущалось влияние англичан. Горько было видеть, как распадается наша страна, и очень обидно, что лозунг «За единую и неделимую!» был выдвинут не Советской властью, а белогвардейцами. За этим лозунгом шли многие патриоты, не очень-то разбиравшиеся в политике: они не могли смириться с развалом нашего великого государства. То, что собиралось веками, за что плачено было кровью, разбазаривалось с непонятной щедростью.

Вероятно, Ленина, верившего в неизбежность и близость мировой революции, не очень волновало изменение границ, утрата той или иной территории. Какие уж там рубежи, зачем они, если повсюду у власти свой брат — пролетарий! Владимир Ильич писал: «Пусть буржуазия затевает презренную жалкую грызню и торг из-за границ, рабочие же всех стран и всех наций не разойдутся на этой гнусной почве».

Насчет рабочих судить не берусь, но буржуазия действительно затеяла грызню, отхватив при этом большой «кус» нашей территории, расшатав всю нашу административную систему. Обстановка складывалась весьма скверная, распад государства надо было остановить, и чем скорее, тем лучше. Иосиф Виссарионович понимал это.

Думаю, что в ту пору Сталин уже твердо решил стать главой нашей страны и вольно или невольно расценивал все явления с точки зрения будущего руководителя. Ему, конечно, хотелось, чтобы государство было единым, сильным. Да и я не переставал твердить ему, что сложившееся положение опасно для всех нас.

Была еще и такая сторона: мы, великороссы, давно не переживали, не испытывали то, что постоянно давит на малые народы — опасность порабощения, уничтожения. Мы как-то утратили чувство опасности. Да и украинцы в значительной степени тоже. А для грузин, для других народностей Кавказа и Закавказья эта опасность была и оставалась близкой реальностью. Не случайно в свое время Армения, Азербайджан и Грузия добровольно вошли в состав Российского государства, укрылись под надежной защитой, обретя на многие годы мир и спокойствие. А что ожидало их теперь? Сталин лучше многих других деятелей в Москве и на местах представлял картину ближайшего будущего. Армян при первой возможности беспощадно вырежут турки, персы, курды, турецкие черкесы. Грузинам не избежать той же участи: раздробления и зверского истребления. Про Азербайджан и говорить нечего: слишком много охотников на его территорию, на его нефть. Промышленность приберут к рукам англичане, землю присоединит Персия: к своему Южному Азербайджану прибавят Северный, только и всего.

К родным местам каждый неравнодушен. Заботясь о сохранении всех частей страны, Иосиф Виссарионович думал прежде всего о Кавказе. Пока шли споры — разговоры об укреплении государственности, Сталин без всякой шумихи готовил почву для того, чтобы объединить Грузию, Армению, Азербайджан в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую республику. Слив свои силы, они могли первое время защищаться хотя бы от самых близких врагов, от разбойных нападений персов и турок.

Давайте глянем теперь, что представляла собой наша страна во второй половине 1922 года. Что уцелело от бывшей великой империи? Прежде всего, хоть и урезанный со всех сторон, однако прочный и надежный костяк — Российская Федерация (РСФСР). Тесно связана с ней была Белоруссия, выделяясь лишь некоторыми формальными признаками. На Украине сложнее. Если восточные районы и центр ее, со смешанным населением, с древними общерусскими традициями, стремились к единой государственности, то на западе имелось немало жовтоблакитников, петлюровских и гетмановских недобитков, готовых драться за «независимую Украину», тем паче за руководящие посты в предполагаемой самостийно-опереточной державе. На юге — только что народившиеся республики, создавшие свою Закавказскую федерацию. В Средней Азии — полный политический хаос. Прибавим к этому отсутствие какого-либо законодательства, какой-либо платформы для объединения республики. И, как мне казалось, чрезмерное потакание со стороны Москвы капризам местных политических руководителей.

С таким вот «хозяйством» и должен был управляться (помимо других многочисленных обязанностей) нарком по делам национальностей Сталин, стремившийся удержать, спаять, сохранить все, что еще возможно. Его даже упрекали в ограниченности мышления, в том, что не уповал на грядущую мировую революцию и чуть ли не скатывался к пресловутому лозунгу «единая и неделимая!». Однако Сталин был тверд в своей позиции. Стирание границ, мировая революция — это еще впереди. То ли будет, то ли нет. А враг существует сегодня, и бороться с ним способно лишь сильное, единое государство. В этом отношении Иосиф Виссарионович имел в моем лице надежнейшего соратника.

Интересно вот что. Первое время после революции повсюду чувствовалось какое-то ошалелое стремление к самостоятельности, к политической независимости. Я убедился в этом, когда весной восемнадцатого пробирался из Москвы в Новочеркасск. Что там говорить про нации, про народности: чуть ли не каждая губерния пыталась стать государством, уезды и даже волости объявляли себя независимыми республиками, создавая собственные «вооруженные силы». Однако чем дальше, тем быстрее исчезало такое вот центробежное устремление. Опьянение свободой сменилось

похмельем, затем здравыми размышлениями. Разруха, беспорядки, кровопролитие, болезни надоели всем. Люди начали возвращаться к простым истинам. Мы должны быть сильными, чтобы защититься от любого врага. Мы должны сообща пользоваться всеми богатствами, чтобы вести нормальный образ жизни. Например, степные районы задыхались без леса, а на севере не было подсолнечного масла, фруктов. Деревне требовалось железо, мануфактура, а городу — хлеб. Временных торговых договоров между республиками было теперь явно недостаточно. Это осознали сперва на периферии, в республиках. Оттуда пошли настоятельные требования о более тесном объединении. Первым проявил инициативу УК большевистской партии Украины. Начались переговоры об урегулировании и уточнении федеративных отношений между УССР и РСФСР. Речь велась о создании единой федерации — вот что я хочу особенно подчеркнуть. Не желая отстать от Украины, подобные предложения выдвинула Белоруссия, все республики Закавказья.

Дела шли так, как хотел Иосиф Виссарионович. 10 августа 1922 года по его инициативе — по инициативе Генерального секретаря ЦК РКП(б) — Политбюро приняло решение создать комиссию для подготовки предложения по усовершенствованию федеративных взаимоотношений между РСФСР и другими республиками. А если сказать проще — комиссию по выработке основ для объединения всех раздробленных частей в единое целое государство. И настолько это было важно, что Сталин не терпел ни малейшего промедления. На следующий же день Оргбюро ЦК РКП(б) утвердило состав комиссии. Первым по списку, естественно, значился И. В. Сталин. Далее: В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе, С. А. Агамали-оглы (от Азербайджана), А. Ф. Мясников, а точнее — Мясникян (от Армении), П. Г. Мдивани (от Грузии), Г. И. Петровский (от Украины), А. Г. Червяков (от Белоруссии) и еще несколько авторитетных товарищей.

Комиссия, как видим, была очень даже представительная, каждая из республик занимала в ней достойное место, однако первую скрипку по своему положению играл в ней Иосиф Виссарионович. К этому времени здоровье Ленина настолько ухудшилось, что его оберегали от забот и волнений, даже не сообщили о создании и работе комиссии.

Проект решения, названный «Планом автономизации», подготовил, консультируясь с вышеназванными членами комиссии, сам Иосиф Виссарионович. Работал он несколько вечеров на нашей квартире, изолируясь от других дел, при этом был радостно возбужден, весел и считал, что план ему удался. Я был первым читателем проекта и думаю, что Сталин специально познакомил меня с планом. Мнение партийных товарищей ему было известно, теперь хотел узнать, что думает русский человек, независимый и беспартийный.

Я, конечно, не очень разбирался в тонкостях, но должен сказать, что «План автономизации» не вызвал у меня сомнений и возражений. Все в нем было просто и правильно. Республики объединяются на равных началах в единое государство. Власть, существующая в Москве (а эта власть создавалась при участии республик), распространяется на всю новую федерацию. При этом республики сохраняют и свои местные органы власти, свой язык, право решать целый ряд внутренних вопросов. То есть сохраняют свою автономию в границах единого государства. Все понятно, чего еще больше желать-то? Так я и сказал Сталину.

— По-моему, Иосиф Виссарионович, этот план никого не ущемляет и никому не дает преимуществ. Главное — полное равенство. А остальное не имеет значения: от мелких споров и раздоров даже в дружной семье не избавишься.

Примерно так же отреагировали на этот проект и почти все члены комиссии. «План автономизации» был принят без поправок и добавлений. Украина, Белоруссия и Закавказская федерация входят в РСФСР на правах автономных республик — формулировка простая и четкая. Однако на местах такое решение не нашло всеобщей поддержки. Против него выступили прежде всего те честолюбивые деятели, которые сами рвались к государственной власти. Пусть и небольшая страна, да своя, можно самому править.

ЦК КП(б) Украины в принципе высказал свое согласие. Компартии Азербайджана, Армении полностью поддержали решение. Белоруссия осторожничала, высказавшись за то, чтобы сохранить пока прежнее положение. А самый тяжелый удар по плану и по настроению Иосифа Виссарионовича нанесла Грузия, точнее — ЦК компартии Грузии, где верховодил П. Г. Мдивани, собравший вокруг себя группу националистов и очень уж стремившийся обрести всю полноту власти. Не без его старания «План автономизации» был признан в Грузии преждевременным и не подлежащим обсуждению партийными массами — такого обсуждения Мдивани боялся. Формулировка отказа была туманной: «Объединение хозяйственных усилий и общей политики считаем необходимым, но с сохранением всех атрибутов независимости». Сталин не без иронии расшифровал это таким образом: «Пусть государство нам помогает, пусть государство нас защищает, а во всем остальном мы сами по себе».

В неловкое и трудное положение поставили Иосифа Виссарионовича руководители из Тифлиса. И в ЦК, и в партии вообще Сталин считался не только крупнейшим знатоком национального вопроса, но и вроде бы постоянным представителем Грузии, посланцем одного из коренных народов нашей страны. А по существу Грузия-то и отказала ему в доверии...

Впрочем, нет: считать, что отказала Грузия, было бы слишком (в ту пору подавляющее большинство грузин еще ничего не слышало о Сталине). Отказала ему в поддержке группа Мдивани. Воинственный национализм этой группы для меня, например, был совершенно бесспорен. К чему стремился Мдивани? Владычествовать хотел, вот что. Не только в Грузии, но и вообще за Кавказским хребтом. План прост и прямолинеен: превратить Закавказскую федерацию в Грузинскую федерацию, включающую в себя Азербайджан, Армению, Аджарию и Абхазию. И при этом заручиться поддержкой РСФСР на случай войны, экономических трудностей.

Невозможность такого варианта пытался доказать Мдивани по поручению Сталина рассудительный и очень порядочный человек — Григорий Константинович Орджоникидзе, возглавлявший Закавказский крайком партии. И раз, и два, и три принимался он переубеждать Мдивани, но это имело вроде бы даже обратное действие: Мдивани становился все более самоуверенным, чванливым, а позиция его все более жесткой. Мдивани наглел...

Дошло до того, что корректный и терпеливый Орджоникидзе, прекрасно знавший, сколь велико преимущество разума перед силой, после долгих разговоров не выдержал, вскипел, утратил самообладание и нанес сторонникам Мдивани удар, выходящий, так сказать, за рамки словесной дискуссии. В горячем споре один из приверженцев Мдивани — А. Кабахидзе — назвал Орджоникидзе «сталинским ишаком», за что и получил увесистую пощечину...

Нет, я не оправдываю поступок Григория Константиновича. К тому же ему крепко «досталось на орехи». Его осудили многие руководители, в том числе и Сталин, считавший, что кулак — это не довод в политическом споре. Ну, а Кабахидзе и Мдивани, разумеется, затаили обиду на всю дальнейшую жизнь, которая, кстати, оборвалась у них почти одновременно с жизнью Орджоникидзе. Не без вмешательства Сталина. Но до этого тогда, в 1922 году, было еще далеко.

Так называемый «грузинский инцидент» продолжался долго, был сложен и запутан, вовлек в себя множество людей, доставил изрядные огорчения Владимиру Ильичу, ухудшил его здоровье. Не буду рассказывать об этом подробно, тем более что некоторые детали так и остались неясными для меня. Скажу только: разногласия разрослись до такой степени, что грузинский ЦК решил всем составом выйти в отставку. В Москве эту группу поддерживали Каменев, Бухарин и Зиновьев. Они считали, что члены грузинского ЦК правы, возмущаясь военно-командным стилем руководства Заккрайкома, высказывая свой особый подход к вступлению Грузии в новое общее государство. Все это вызывало негодование Сталина, именовавшего членов грузинского ЦК «фракцией национал-коммунистов».

Специальная партийная комиссия, в состав которой входили Ф. Э. Дзержинский (председатель), Д. З. Мануильский и В. С. Мицкевич-Капсукас, расследовав деятельность членов грузинского ЦК, Заккрайкома и поведение Орджоникидзе, решительно поддержала точку зрения Сталина. А вот Владимир Ильич остался недоволен работой и выводами комиссии. Он считал, что надо политическую ответственность «за всю эту поистине великорусско-националистическую кампанию возложить на Сталина и Дзержинского...». Каков нонсенс, а? Грузин и поляк в роли великорусских шовинистов?! Диву даешься!

Страсти накалялись. Владимир Ильич письменно обратился к Троцкому с просьбой разобраться в грузинском вопросе, защитить грузинских товарищей перед ЦК партии. «Дело это сейчас находится под «преследованием» Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив. Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, то я мог бы быть спокойным».

Наступил ответственнейший момент во взаимоотношениях двух лидеров — Сталина и Троцкого. Поддержи Лев Давидович тогда Иосифа Виссарионовича в трудное для него время, и многое было бы смягчено, прощено, утихло бы пламя взаимной ненависти. Сталин умел быть благодарным.

Лев Давидович понимал, конечно, всю сложность обстановки. И опять затеял столь свойственную его натуре двойную политическую игру. Зачем открыто выступать против линии Сталина — Дзержинского? Какая выгода? Нет, сославшись на болезнь, он отклонил просьбу Ленина, не взял на себя никаких официальных обязательств по запутанному «грузинскому делу». Формально к нему не могло быть претензий ни с чьей стороны. Но в своих выступлениях, в статье по национальному вопросу, которая появилась в «Правде», в своих «поправках» к тезисам Сталина к XII съезду партии — везде Троцкий с изрядной порцией яда критиковал Иосифа Виссарионовича, указывая на его ошибки. Тот, мол, преувеличивает опасность мелкобуржуазных, меньшевистских, националистических уклонов на местах и национального либерализма в центре, но не видит или не хочет видеть опасности великодержавного шовинизма. Ну и так далее. Пуще всего боялся Лев Давидович сильного государства с крепким славянским ядром. В таком государстве ему и его сообщникам просто нечего было делать.

И на этот раз не вышло согласия. Наоборот: борьба между Сталиным и Троцким еще более обострилась.

Я, однако, забежал вперед... В конце сентября 1922 года на нашей квартире собрались приехавшие из Грузии партийные деятели, которых приглашал к себе в Горки Владимир Ильич, познакомившийся с «Планом автономизации». Не знаю, был ли тогда у нас Мдивани, но точно запомнил Думбадзе, которого Сталин называл по имени — Ладо, и М. С. Окуджаву. Встретив гостей, я ушел на свою половину и не появлялся потом весь вечер. Однако Сталин специально оставил дверь приоткрытой, лишь задернул ее портьерой. Разговор был очень резкий и громкий. Иосиф Виссарионович несколько раз сорвался на крик, чего с ним почти никогда не случалось. Но его можно было понять: конфликт был очень серьезен. И все по вине земляков...

Итак, образованием единого государства занялся сам Ленин. Изучив документы, связанные с «Планом автономизации», побеседовав со многими представителями республик, Владимир Ильич пригласил к себе Сталина. В хороший солнечный день бабьего лета мы с ним на автомашине поехали в Горки. Дорога оказалась ухабистой, нас изрядно трясло и качало, но Иосиф Виссарионович не замечал этого, поглощенный своими мыслями. Хмурился. Несколько раз порывался сказать что-то, но сдерживал себя: рядом был незнакомый водитель.

Зачем Сталин взял меня в ту поездку? Наверно, ему требовалась моральная поддержка. Грузины против выдвинутого плана... Белорусы колеблются. Но все другие-то — за! Можно что-то уточнить, изменить... Вот, мол, мнение русского человека, интеллигента, патриота.

Может быть, он и не рассчитывал выдвигать меня на первую линию, но присутствие мое вселяло в него уверенность. Как всегда при сильном и тщательно скрываемом волнении, Иосифа Виссарионовича познабливало, он доставал носовой платок.

Райским местом показались мне Горки. Тишина, многоцветье осеннего леса, красивые аллеи, горьковатый запах прелой листвы... Открывавшиеся с окраины парка живописные дали очень напоминали просторы, которыми я любовался когда-то с балкона нашей усадьбы. Да и дворец напомнил наш с Верой дом. Однако все это я заметил и оценил позже, когда Ленин и Сталин уединились для разговора. Сперва мое внимание было приковано к Владимиру Ильичу. Показалось, что выглядит он не так уж плохо, как можно было ожидать после всех разговоров о его здоровье. Но вскоре стало ясно, что лишь хороший день да оживление, вызванное встречей, взбодрили его. Желтоватая кожа обтягивала заострившиеся скулы. Шел он медленно, говорил, делая значительные паузы. Причем говорил громко, рассуждал вслух, не делая тайны ни от кого, кто мог его слышать — так поступают люди, абсолютно убежденные в своей правоте. Из его слов, долетавших до меня, я понял, что Ленин считает «План автономизации» не шагом вперед, а чуть ли не шагом назад. Республики, дескать, уже освоились с самостоятельным положением, создали свои органы управления, построили национальный аппарат — ломка всего этого вызовет недовольство. Значит, объединяться надо на иной, на принципиально новой основе. Не механическое подчинение республиканских органов власти соответствующим высшим органам РСФСР, а полное равноправие каждой республики. Для этого создать еще один, новый этаж власти, общегосударственной власти, в которой все республики будут иметь одинаковое представительство.

Иосиф Виссарионович при мне возразил только раз, сказав, что мы усложним дело, утяжелим руководство, разведем чиновников, если ко всем имеющимся организациям создадим еще общий ЦИК, общесоюзные наркоматы и прочие многочисленные учреждения. Будет еще один этаж бюрократии. И это в угоду капризам некоторых «независимцев» из одной-двух республик.

— Нет-нет! — быстро произнес Ленин.— Их найдется много, таких независимцев, и во всех республиках. Они способны появляться вновь и вновь. А мы сразу выбьем почву у них из-под ног.

То, что предлагал Ленин, представлялось достаточно убедительным. Но он, как говорится, «шил костюм» на свой рост. Для него, с его живым характером, эрудицией, гибким умом, с его авторитетом, естественным и интересным был изменяющийся, нарастающий процесс созидания. Сталин же, в силу своего совершенно иного характера, хотел покончить с делом один раз и надолго, навести полный порядок в одном вопросе и браться за другой. Он, конечно, мог обдумывать, вести, направлять сразу несколько дел, но чем дальше они затягивались, тем сильнее раздражали его, любившего четкость, категоричность. Он не был столь многообразен, как Ленин, для которого разбираться сразу в десятках процессов было совершенно обычным состоянием. Вполне естественно, что Иосиф Виссарионович хотел строить такое государство, которым легче, проще было бы управлять. Сталин хотел завершения, результата, а Ленин, вероятно, считал, что сейчас надо лишь повернуть поток в нужное русло, не бетонируя накрепко берега, чтобы при необходимости легче было варьировать, искать иных возможностей.

Разговор их длился долго. Они прогуливались по парку, заходили в библиотеку — и опять вернулись на воздух. Владимир Ильич заметно устал, речь его сделалась вялой. Только взгляд был живой, ироничный. Чувствовалось, что он доволен беседой.

Перед отъездом сели они в плетеные кресла на балконе. Неяркое, но теплое солнце освещало белую балюстраду, густую пеструю листву за их спинами. Я с особым волнением смотрел на двух вождей, думая о том, что в их руках находятся судьбы многих народов, судьба России, от этих людей зависит ход мировой истории. И потому, что долго не мог отвести взор, картина эта ярко врезалась в память.

Во всем они были разные, абсолютно во всем: от одежды, внешнего облика до способа излагать свои мысли, даже до самых мыслей. Сталин в высоких сапогах, в черных брюках и белом кителе, застегнутом на все пуговицы, со стоячим воротником, имел вид строгий, сидел чуть подавшись вперед, в позе угадывалось некоторое напряжение. А Ленин свободно откинулся в кресле, забросив ногу на ногу, сложив на животе руки. На нем штиблеты, просторные брюки, не стесняющий движений теплый френч с расстегнутым отложным воротником. Его раскованность, естественность особенно подчеркивались сдержанностью, военной строгостью Сталина.

В последнее время Иосиф Виссарионович редко ездил по стране, много сидел за столом, начал полнеть, округлилось, посветлело лицо, менее заметны стали рябинки. Ленин же, наоборот, был худ, черты лица заострившиеся. Лоб казался таким огромным, что приковывал к себе внимание. А лоб Сталина оставался непропорционально узким, хоть он и зачесывал назад густые, пружинистые волосы. Брови тоже густые, с изломом. Он был в ту пору привлекателен, находился в расцвете лет, особенно украшала его улыбка, смягчавшая суровость. Но улыбался он редко. А Ленин часто. И улыбался, и смеялся, поглядывая на Иосифа Виссарионовича с необидной снисходительностью, как учитель на зарвавшегося, но своевременно остановленного ученика. И подумалось мне: очень сильна идея, объединяв-шая этих вот совершенно непохожих людей, с разными характерами, вкусами, темпераментом, прошлым и будущим. Впрочем, отталкиваясь от одной опоры, они уже тогда шли каждый своим путем. Вскоре после того, как мы вернулись в Москву, Иосиф Виссарионович обронил фразу, удивившую меня:

— План автономизации не так уж плох сам по себе,— сказал он.— Однако план построения государства слишком важен для того, чтобы его выдвинул Сталин.

Что касается меня, то мое мнение осталось неизменным. Считаю: если бы республики объединились так, как предлагал Иосиф Виссарионович, мы избежа-

ли бы потом многих трудностей, неразберихи, бюрократической волокиты. Меньше было бы поводов для разных обид. Почему, скажем, маленькая Эстония имеет свой ЦК партии, а огромная Россия его не имеет? Почему Грузия обладает правом выхода из состава СССР, а Абхазия или Аджария нет? Да и многое другое.

Будь жив Владимир Ильич, принципы объединения республик изменялись бы наверняка по требованию времени, обстоятельств. Для Ленина это было просто. Сталин же, как я говорил, не любил сворачивать с проложенных рельсов. Другие руководители тоже опасались нарушить сложившееся равновесие. Вот и «катились» по наезженному, привычному пути.

Отмена «Плана автономизации» имела для Иосифа Виссарионовича целый ряд неприятных последствий. По сути, ему было выражено недоверие. Он оказался отринутым от основных решений при важнейшем событии — рождении нового государства. В доклад об образовании СССР, который Сталин готовил для Объединительного съезда, было внесено много ленинских поправок, которые фактически изменили его суть.

Открылся съезд 30 декабря 1922 года в Москве, в очень студеный день. Владимир Ильич не присутствовал — опять подвело здоровье. Но его влияние ощущалось во всем. И получилось, что основными фигурами на этом чрезвычайном форуме стали Михаил Иванович Калинин и (неожиданно для многих) приехавший с Украины Михаил Васильевич Фрунзе. Они вели съезд, задавали тон, а Иосиф Виссарионович вынужден был держаться в тени. Самолюбие его оказалось уязвленным еще раз.

2

Как получилось, что не без ведома Ленина избран был Иосиф Виссарионович Генеральным секретарем ЦК РКП(б), а очень скоро Владимир Ильич в известном «Письме к съезду» выступил против его пребывания на столь высоком посту?! Считая Сталина одним из выдающихся деятелей партии, Владимир Ильич предлагал все же подумать о том, чтобы назначить на пост Генерального секретаря другого человека. Какого же? Который отличается от товарища Сталина только одним перевесом, именно: более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, менее капризен и т. д. Владимир Ильич особенно подчеркивал, что эти отрицательные качества Сталина, сосредоточившего в своих руках большую власть, могут приобрести решающее значение.

Ну, как в воду глядел! И приобрели, и много вреда принесли государству нашему, коммунистическому движению вообще, да и самому Сталину, у которого было много хороших задатков, только «крен» получился на один борт. А как же все-таки произошло стремительное возвышение Сталина, как он закрепился на ключевых позициях, с которых трудно было сбить или оттеснить его? Я много думал над этим.

До революции и первое время после нее Иосиф Виссарионович был не только одним из верных последователей Ленина, но, что особенно важно, одним из самых деятельных и, пожалуй, самых дисциплинированных. Он безусловно и любой ценой выполнял все, что поручал ему Ленин. Среди болтунов, которых много появилось тогда, Иосиф Виссарионович выделялся своей энергией, бóльшим чувством ответственности. Владимир Ильич ценил эти его качества. Взаимное уважение, взаимное доверие было полным. До определенного времени.

Впервые черная кошка пробежала между ними в августе 1920 года. Сталин опять был на самом опасном направлении. Вместе с Александром Ильичом Егоровым возглавлял Юго-Западный фронт, руководил разгромом белополяков. Был освобожден Киев, затем почти вся Украина. Первая Конная армия, надежда и опора Иосифа Виссарионовича, сыграла в тех сражениях решающую роль. Прорвав вражеский фронт, она искалечила тылы белополяков, проложила путь пехоте.

Казалось, все складывается удачно для наших войск. Западный фронт Тухачевского приближался к Варшаве. На юге Буденный вместе с пехотной группой Якира устремился ко Львову. Стоило взять этот большой город, и рухнуло бы все южное крыло белопольского фронта. Но обстановка вдруг осложнилась. Из Крыма в Северную Таврию вывел свои дивизии барон Врангель. Он угрожал тылам наших войск, он мог повернуть на Донбасс, способен был вдохнуть надежду в затаившуюся контрреволюцию, и опять вспыхнуло бы повсюду пламя междоусобной борьбы.

Белополяки тем временем успели сколотить значительную группировку под Варшавой: стянули туда двенадцать дивизий, половину своих вооруженных сил. Они намеревались перейти в контрнаступление. Развернулась цепь событий, во многом определивших нашу неудачу, не позволивших вернуть Польшу в семью советских республик, оставивших поляков в стане противника. Не удалось нам соединиться с революционерами, поднявшими восстания в Центральной Европе. А как знать, может, действительно мировая революция была тогда реальностью?! Во всяком случае — революция в Европе.

О причинах срыва много спорили участники тех событий, до сих пор спорят историки... Кто хочет знать подробности, того я отсылаю к статьям А. И. Егорова, С. С. Каменева, С. М. Буденного, М. Н. Тухачевского, Б. М. Шапошникова, В. К. Триандафиллова. Эти работы порой резки, тенденциозны, но в совокупности дают представление о происходившем. А мне важно лишь одно: сказать о том, как Иосиф Виссарионович впервые не выполнил распоряжение Ленина.

Еще в апреле того же 1920 года Реввоенсовет республики выработал план ведения войны с панской Польшей, начавшей против нас боевые действия. Варианты плана обсуждались в ЦК партии, их изучал Степан Степанович Данилов, с которым В. И. Ленин советовался обычно по военным вопросам (о Данилове я расскажу позже). По поручению Центрального Комитета партии Сталин сам уточнил с главкомом С. С. Каменевым окончательный вариант плана, а перед этим мы до глубокой ночи просидели над планом вдвоем. Сам же Сталин и докладывал последний вариант на

заседании Политбюро, которое состоялось 28 апреля. И этот план был утвержден. Он предусматривал, что главный удар в направлении Минск — Вильна — Варшава наносит Западный фронт. Юго-Западный наступает на Ровно — Брест. И вот что важно: после выхода фронтов на линию Бреста они должны будут объединиться в один Западный фронт, чтобы добить основные силы белополяков в районе Варшавы.

Все это в принципе было правильно. Однако планы планами, а война войной. Получилось так, что Юго-Западный фронт добился больших успехов на своем направлении и не хотел отказываться от благоприятных перспектив. Кому не жаль упускать лавры победителя?! И когда 2 августа Центральный Комитет партии подтвердил свое прежнее решение о слиянии фронтов, у Сталина было уже другое мнение, другое настроение. Бросай, значит, налаженное дело, срочно создавай Реввоенсовет нового Южного фронта, нацеленного против врангелевцев! Хмуря брови, читал он депешу главкома, присланную Егорову:

«С форсированием армиями Запфронта р. Нарева и овладением Брест-Литовском наступает время объединения в руках Командзапа управления всеми армиями, продолжающими движение к р. Висле, т. е. передачи в ближайшие дни 12 и 1-й Конной армий из Югзапфронта в распоряжение Командзапа».

Иосиф Виссарионович смял бланк телеграммы и швырнул на стол. Кроме всего прочего, это распоряжение отнимало у него главную военную опору — Конармию. Попадет она в руки Тухачевского, у которого нет и не может быть хороших отношений с Буденным. Рассыплется Конармия на отдельные дивизии. И нет ее... Да Буденный со своим характером все сделает, только бы не подчиняться Тухачевскому, не выполнять его распоряжений.

От Егорова Иосиф Виссарионович вернулся в свой салон-вагон, а там уже ожидала более важная для него депеша, не от главкома, а от самого Владимира Ильича.

«Только что провели в Политбюро разделение фронтов, чтобы Вы исключительно занялись Врангелем. В связи с восстаниями, особенно на Кубани, а затем в Сибири, опасность Врангеля становится громадной... Я Вас прошу очень внимательно обсудить положение с Врангелем и дать Ваше заключение. С главкомом я условился, что он дает Вам больше патронов, подкреплений и аэропланов».

Патроны, конечно, нужны были, и подкрепления тоже, но без 1-й Конной и Львов не возьмешь, и Врангеля остановить нечем...

Раздосадованный Иосиф Виссарионович немедленно дал короткий ответ: «Вашу записку о разделении фронтов получил, не следовало бы Политбюро заниматься пустяками».

Ленин был удивлен:

«Не совсем понимаю, почему вы недовольны разделением фронтов. Сообщите ваши мотивы». Вместе с этой телеграммой Сталину был послан полный текст принятого решения.

Иосиф Виссарионович молчал долго, больше суток. Чтобы не сорваться в гневе. Выслушивал доводы рассудительного Егорова (меня тогда не было с ними). И думал. Поняв, что барьер не преодолеть, менять свои замыслы придется, он, по совету Александра Ильича, постарался выбрать наименьшее зло. Иосиф Виссарионович телеграфировал в Политбюро о согласии передать Западному фронту требуемые армии, но просил штаб и Реввоенсовет Юго-Западного фронта не дробить, а целиком преобразовать их в штаб и Реввоенсовет Южного фронта. Просьба эта была удовлетворена, реорганизация несколько упростилась, но хаос все равно получился изрядный.

Хотя бы так. Штаб Западного фронта прямой связи с переданными ему армиями не имел, в том числе и с Первой Конной, вынужден был направлять свои директивы и указания через штаб Юго-Западного фронта, который теперь становился штабом Южного фронта, и у него хватало новых забот и хлопот. Директивы шли по трое, четверо суток, превращаясь в ничего не значащие бумажки. А с наиболее важной директивой, предписывавшей Конармии прервать Львовскую операцию и повернуть на Варшаву, получилось вот что. 15 августа Тухачевский дал из Минска такое распоряжение:

«Командарму 1-й Конной с получением сего вывести из боя свои конные части, заняв участок от района Топоров и к югу частями 45-й и 47-й стрелковых дивизий... Всей Конармии в составе 4, 6 и 14 кавдивизий четырьмя переходами перейти в район Устилуг, Владимир-Волынский».

Пока эту телеграмму передавали из инстанции в инстанцию, пока она дошла до Буденного, в ней осталась лишь подпись Тухачевского, а подписи члена Реввоенсовета Западного фронта Уншлихта не было (как выяснилось позже, ее пропустил один из телеграфистов). По существовавшим правилам, директива или приказ, не скрепленный подписью члена Реввоенсовета, не считался действительным. Этим и воспользовался Семен Михайлович, продолжая наступать на Львов. Пока-де разберутся, пока следующая телеграмма придет. Тем более что противоречивые директивы поступали и от Главкома Каменева, и от наркомвоена Троцкого. Сам господь бог не разобрался бы, какие указания выполнять в первую очередь. Ко всему прочему Буденный знал, что Иосиф Виссарионович, несмотря на требования из Москвы, отказался подписать приказ о прекращении Львовской операции, считая это ошибкой, и добивался, чтобы Конная армия вообще не уходила на север.

Результат раздоров и неразберихи оказался печальным. Конармия вплотную приблизилась ко Львову, сковав там несколько белопольских дивизий. Еще бы нажим — и победа. Но тут Буденного заставили все же повернуть в сторону Варшавы. В общем, и Львов не взяли, и к Варшаве Первая Конная не успела (или не захотела успеть). Противник начал контрнаступление.

Кто несет ответственность за такой срыв? Тухачевский утверждал, что во всем виноват Буденный. Тот, в свою очередь, нападал на Тухачевского. Некоторые историки видят корень зла в том, что Сталин не выполнил четких указаний Владимира Ильича. Сам Ленин, выступая на X съезде партии, сказал по этому поводу так: «При нашем наступлении, слишком быстром продвижении почти до Варшавы, несомненно была

сделана ошибка. Я сейчас не буду разбираться, была ли это ошибка стратегическая или политическая, ибо это завело бы меня слишком далеко...»

Понятно: очень уж больным был тогда этот вопрос, не утративший и доныне своей остроты. На многие судьбы он повлиял. Бывалые кавалеристы любили одно время песню, в которой имелись такие слова:

Рейдом прорвались глыбоко в Польшу,
Чулы «даешь!» пид Варшавой...

Действительно, поили тогда наши кавалеристы коней в Висле, только не буденновцы, а воины Третьего конного корпуса: им командовал знакомый нам боевой командир Гай, который в восемнадцатом году освободил родной город Ленина. Корпус Гая двигался стремительно, увлекая за собой пехоту: эта группа не только вышла на Вислу, но и перерезала основные магистрали, связывавшие Польшу с западом. Рядом была Германия. Еще рывок, и две пролетарские революции слились бы в единую могучую волну. Судьба Пилсудского и его приспешников висела на волоске. Это был как раз тот момент, когда для достижения успеха достаточно еще лишь одного усилия. Может быть, одной дивизии. Но в самый ответственный день на решающем участке такая дивизия не появилась. А общие результаты плачевны.

Третий конный корпус и пехота двух армий оказались в кольце. С одной стороны, нейтральная Германия, а с другой — стена неприятельских войск. Несколько раз бросались красноармейцы в атаку, на прорыв, но безуспешно. Кончились боеприпасы. И тогда Гай взял на себя ответственность за принятие трудного, однако правильного решения: перейти границу Германии, интернироваться там, чтобы сохранить главное — людей. Мне довелось читать в его дневнике:

«С тяжелым сердцем, многие со слезами на глазах, но организованно, с развернутыми знаменами, с «Интернационалом», под убийственным огнем артиллерии противника, мы перешли границу, уведя с собой в Германию 600 раненых, 2000 пленных и 11 польских орудий».

Короче говоря, повторилась трагедия, случившаяся в начале двадцатого года под Ростовом. И ситуация схожая, и действующие лица те же. Там Буденный не выполнил приказа командующего фронтом Тухачевского, не повернул свою армию на станицу Мечетинскую, чем поставил под удар другие войска. Там были разгромлены белыми две наши дивизии: стрелковая В. Азина и кавалерийская Г. Гая. И в августе того же года произошло нечто подобное. Только в более крупном масштабе. Опять Буденный не выполнил боевого приказа, не посчитался с распоряжениями Тухачевского, и вот молодая республика лишилась целой группировки: конного корпуса и двух армий. Это, по сути, и определило исход польской кампании.

Буденный в адрес Гая сказал тогда: «Каждый сам должен уметь воевать, а не надеяться на других...» Не понял, значит, Семен Михайлович, что такое оперативное взаимодействие. Или опять же не захотел понять.

Я не утверждаю, что поверни Буденный на Варшаву, и события потекли бы по более удачному для нас руслу. Были в обоих вариантах свои плюсы и минусы. Однако приказы выполнять надобно безусловно: без этого нет армии, нет победы. Но не ради разбора военных действий пишу об этом, а ради того, чтобы показать ту пропасть, которая со временем рассечет весь командный состав наших вооруженных сил: на одной стороне окажется Сталин с теми людьми, с которыми воевал, которым полностью верил, а на другой все или почти все остальные. В том числе, разумеется, Тухачевский и Гай, хорошо знавшие полководческий уровень Буденного, Ворошилова, да и самого Сталина, хотя последний в ту пору полководцем себя не числил, а был военно-политическим руководителем. Лишними, опасными свидетелями были Тухачевский и Гай. Пройдет время, и отольется им это тяжелым свинцом.

После упомянутых событий, после неудачи в Польше, Владимир Ильич начал испытывать некоторое недовольство Сталиным, пристальнее приглядывался к нему. Во всяком случае, и Сталин, и Егоров, добившиеся блестящих успехов в борьбе с Деникиным и белополяками, овеянные славой победителей, были мало-помалу отстранены от решающих военных дел, получили возможность отдохнуть после своих головокружительных викторий.. А разгром Врангеля был доверен большевику, хотя и заслуженному, но не очень-то еще известному тогда — Михаилу Васильевичу Фрунзе. Что он и сделал вполне успешно.

При всем том в апреле 1922 года, сразу после XI съезда партии, пленум ЦК избрал Иосифа Виссарионовича Генеральным секретарем РКП(б). А если выразиться точнее (как Ленин в своем известном письме о Сталине), тот «стал» генсеком. Полюбопытствовав, я просмотрел протоколы соответствующих заседаний, но не нашел в них ответа, кто голосовал «за», кто «против». Да и было ли голосование-то?

В ту пору всю деятельность, всю жизнь партии направлял Владимир Ильич, все важные вопросы обсуждались на Политбюро. А секретариат ЦК и руководители секретариата занимались делами административными, организационными. Это был исполнительно-контролирующий орган. От него, конечно, кое-что зависело, но далеко не все. А между тем партия росла численно, быстро усложнялись стоявшие перед ней задачи, секретариат не справлялся с работой, много было волокиты, укоренялся бюрократизм. Авторитет секретариата был невысок, необходимо было поднять всю его деятельность на новый уровень, навести четкий порядок во всем. Это как раз для Сталина с его строгостью, жесткостью. А чтобы подчеркнуть, выделить значение секретариата ЦК в системе партийного аппарата, руководитель впредь должен был именоваться не просто секретарем (как раньше Свердлов и другие), а Генеральным секретарем Центрального Комитета. И хотя эта административная, в общем-то, должность не давала каких-то особых прав, она открывала путь к большой власти... От человека, который готовил вопросы для Политбюро, а потом контролировал осуществление решений, зависело многое. Да и не все текущие вопросы выносились на обсуждение, их можно было решать в рабочем порядке. И Генеральный секретарь Сталин умело пользовался этим.

Кстати сказать, XI съезд партии был первым, на

котором мне довелось присутствовать. Не в качестве делегата, конечно: Иосиф Виссарионович просил меня находиться в кулуарах на всякий случай; действительно, несколько раз обращался ко мне с вопросами, давал поручения. Он развил тогда бурную деятельность и подспудно, через других людей, влиял на работу съезда, готовил для себя благоприятную почву.

Владимир Ильич, сделавший Политический отчет ЦК, выступавший в прениях, был все же очень болен, слаб и не мог без отдыха присутствовать на заседаниях. Появлялся неожиданно в президиуме, садился в глубине сцены, накинув на плечи пальто. Внимательно выслушивал делегатов с мест. Потом столь же неожиданно и бесшумно уходил к себе в кабинет или дальше по коридору — в квартиру. Раза три с ним исчезал и Сталин. Всем, в общем-то, ясно было, что конкретно руководить многотрудными делами партии должен физически крепкий человек, а Владимир Ильич поможет указаниями и советами.

Многие делегаты считали, что теперь, после завершения гражданской войны, когда главным стало объединение республик в одно государство, партию не обязательно должен возглавлять русский товарищ. Есть Ленин, есть Калинин, олицетворяющие Советскую власть. А от других национальностей кто на самом верхнем верху? И коль скоро речь заходила об этом, чаще других назывались две фамилии — Троцкий и Сталин.

Сторонники Троцкого много горланили в кулуарах, рвались выступать на заседаниях, но шансы их были невелики. Чванством, зазнайством, наглостью Лев Давидович успел оттолкнуть многих товарищей по партии. И Ленин, на мой взгляд, не поддерживал его.

В общем — Иосиф Виссарионович стал генсеком. Потом уж начались разговоры о его грубости, резкости, капризности. Но я не считаю, что по натуре своей Сталин был груб, невнимателен к людям. Отнюдь. Он редко пользовался грязными словами, осуждал матерщину. Не любил скабрезных анекдотов, до которых бывают падки грузины. Заботливо относился к друзьям, охотно советовался с теми, от кого надеялся получить разумный совет. Но в характере его имелись черты, доставлявшие неприятность тем гражданам, которые оных не знали, не учитывали. Он любил работать по-своему, собственными методами и не терпел тех, кто выбивал его из привычной колеи.

Помню историю с двумя крестьянскими ходоками, прибывшими с Урала. Жалоба у них была на местных партийных работников. Вопрос этот показался кому-то серьезным, мужиков пропустили к генсеку. Я в этот момент был у него. Иосифу Виссарионовичу нравились люди смекалистые, энергичные, быстрые. Краткое обсуждение, решение — и действуй. Терпеть не мог медлительных тугодумов. А мужики, расположившись в кабинете, будто на весь день пришли, повели разговор степенно, издалека... Их, разумеется, можно понять. Сельское общество снарядило ходоков на последние гроши, крестьяне и на лошадях ехали, и чугункой добирались целый месяц, и в столице не сразу достучались до главного партийца. Их обида казалась им важнейшей, заслонила все на свете. Прежде чем открыть свою боль, хотели уяснить, какой человек перед ними, что за душой у этого рябого да чернявого, с жучиными усами. Ну и вежливость деревенская не позволила приступать сразу к сути. Сперва надобно о том да о сем... Откуда, мол, родом, как поживает семья, много ли детишек?!

Сталин отвечал сквозь зубы. Для него — нож острый говорить о себе, о своем прошлом, о своих близких и вообще переливать из пустого в порожнее, вместо того чтобы сразу брать быка за рога. Вот Михаил Иванович Калинин с неподдельным интересом стал бы расспрашивать: почему да как сгорела у ходока изба? Сколько леса нужно на новостройку, чем будет крыть крышу да и хороший ли там печник? Для Михаила Ивановича это было важно, ведь за каждым ходоком стоит целая волость: отношение к ходоку в Кремле — это отношение Советской власти ко всему крестьянству. А Сталина раздражала лишняя говорливость, отвлекавшая его от существенных забот. Воспользовавшись паузой, он спросил:

— Какая у вас жалоба или просьба ко мне?

— Видишь, мил человек, деревня у нас хоть и небольшая, и покрупней есть в уезде, да три корня в ней. От трех семей она зачалась, и три фамилии...

— У меня нет времени выслушивать родословную вашей деревни. Конкретно, что привело вас сюда? — Сталин говорил с тем чрезмерным спокойствием, которое скрывало его раздражение. Он уже клокотал внутри. А мужики продолжали:

— Это самое, значит, и привело. Потому как три корня и каждый за себя. Оно, значит, кое-кто и переженился, корнями-то переплелись, а отличие какое-никакое имеется. По фамилиям опять же...

— Вон! — тихо скомандовал Сталин, указав на дверь.

— Чево? — опешили ходоки.

— Вон отсюда,— еще тише произнес Иосиф Виссарионович, подавляя свой гнев.— Обдумайте, что вам нужно, тогда явитесь! Все!

— Ну, спасибо, господин партийный товарищ,— попятился, кланяясь, старший бородатый крестьянин.— Рыбка-то, она, значит, тово, с головы... От чего ушли, к тому пришли...

Я последовал за мужиками, постарался успокоить их, объяснить занятость Сталина. А старший твердил, упрекая младшего: «Знамо, к Ленину надо было стучаться. А ты сюды потянул, вроде бы Ленин и Сталин одной кумпании. А он видишь как...»

Когда я возвратился в кабинет, Иосиф Виссарионович успел справиться со своим гневом, только глаза еще были сердитые. Спросил:

— Миротворчеством занимались?

— Ходоки будут жаловаться на вас.

— Значит, они на всех жалуются. Специалисты по кляузам... О чем вы беседовали?

Я рассказал. Три корня в деревне, три клана, можно считать. Все партийцы — из одного клана, сватья-братья. Ячейка большевиков — сплошная родня, горой друг за дружку. Самоуправство в деревне, в волостном Совете, даже в уезде своя рука. Все прочие — как

батраки. Им худшие земли, дальние покосы, наряды в извоз. Себе — все лучшее. Помощь от государства получили — родне. И не возрази — в грязь втопчут. До полусмерти избили одного смелого парня. А кто докажет, если круговая порука! Бандиты, а не коммунисты.

Сталин мрачнел, раздумывая:

— Пошлем решительного человека, пусть разберется на месте. Открыто, при всех. Будут виновные — выбросить из партии и под суд. А если клевета — наказать клеветников.— И усмехнулся:— Пока ходоки домой вернутся, чтобы все было сделано!

Однако вышло не совсем так, как хотел Иосиф Виссарионович. О его разговоре с мужиками стало известно Ленину. Осуждение и тревогу высказал по этому поводу Владимир Ильич.

Еще случай, не менее показательный. Повторю, что Иосиф Виссарионович по-своему очень любил, глубоко уважал Ленина: это был единственный человек, которого Сталин считал выше себя и подчиняться которому не считал зазорным и оскорбительным. Лишь немногих он ставил вровень с собой, всех остальных считал ниже. Чем больше укреплялся он у власти, тем заметнее это ощущалось, а потом он и вообще воспарил... Однако Владимир Ильич был и оставался для него вождем и учителем, раз и навсегда признанным авторитетом. Усугублявшаяся болезнь Ленина очень беспокоила Иосифа Виссарионовича, он заботился о том, чтобы создать для выздоровления все необходимые условия.

Состоялось специальное решение ЦК, запрещавшее нагружать Ленина работой, волновать его, даже читать газеты. Но он скорей без еды прожил бы, чем без постоянной информации, без ощущения пульса времени. Уговорил Надежду Константиновну, упросил, чтобы читала ему газеты: хотя бы немного, выборочно. Чтобы сообщала главные новости. И она делала это, считая меньшим злом, нежели полная изоляция. Ленин, естественно, тревожился, задумывался, делал запросы, давал указания, в том числе и в адрес ЦК.

Кроме фактов заботы Сталина о Ленине, я не сбрасываю со счетов и предположение о том, что полное отключение Владимира Ильича от текущих дел в ту пору очень устраивало честолюбивого Иосифа Виссарионовича, не терпевшего контроля, советов, коллективных решений. Он уже вошел во вкус полновластного хозяйствования. И вдруг, неожиданно, ленинское вмешательство, ленинские указания, круто менявшие все планы и замыслы, словно бы подчеркивавшие его, сталинское, несовершенство. Когда это повторилось в очередной раз по какому-то важному поводу, Сталин сорвался. Сняв телефонную трубку, потребовал Надежду Константиновну. Голос был беспощаден, обнаженно груб:

— Ты почему, старая...— Он задохнулся от ярости.— Почему нарушаешь постановление Центрального Комитета? Кто тебе дал право? Ты что, хочешь Ильича в гроб загнать? Не допустим! Перестань читать ему, а то мы посадим возле него другую...

Никогда прежде Крупская не жаловалась на резкость Сталина. Более того, она с пониманием относилась к той дружеской грубоватости, с которой общались бывшие подпольщики, прошедшие через тюрьмы, каторги, ссылки. А теперь не выдержала оскорблений, сказала Владимиру Ильичу. Вернее, тот сам спросил, заметив ее расстройство. А узнав, выразил Сталину категорическое осуждение. И, что особенно любопытно, сообщил о поведении Сталина Зиновьеву и Бухарину. Для чего? Чтобы они влияли на Иосифа Виссарионовича? Или видел в них продолжателей своего дела, ревнителей того стиля руководства, сторонником которого он был? Ну, а затем — упомянутое выше «Письмо к съезду», в котором Владимир Ильич четко изложил соответствующие соображения.

Отрицательное отношение к Сталину, как к руководителю партии, нараставшее у Владимира Ильича, повлияло, думаю, и на «План автономизации»: он был встречен недоверчиво, раскритикован и похоронен. С другой стороны, споры и расхождения ни в коей мере не отразились на отношениях Сталина к Ленину. Как и раньше, Иосиф Виссарионович видел в Ленине великого теоретика и организатора, а себя считал его верным учеником и последователем. Однако он понимал, что дни Владимира Ильича сочтены, и стремился быстрее укрепить свое положение в партии и государстве.

Смерть Ленина потрясла Иосифа Виссарионовича сильней, чем многих других руководящих партийцев. Знаете, как в семье: хоть больной, хоть и не у дел, а все же есть в доме мудрый отец, который способен всех рассудить, дать верный совет. Он пока еще отвечает за все. Но вот не стало его, и разом вся ответственность легла на плечи старшего сына. Причем ответственность за семью большую, многоязыкую, бурную, разоренную. Далеко не каждый согласился бы принять на себя столь тяжкий груз. Пожалуй, никто и не рвался в тот момент принять бразды правления из остывающих рук вождя, а Сталин сделал это без колебаний, как и надлежало поступить генеральному секретарю партии.

...Измученный, осунувшийся, приехал он вечером на нашу квартиру. Текли ночные часы, а он все ходил и ходил по комнате, не уезжая домой и не ложась спать. Мне было жаль его. Вспомнил про мандарины, несколько дней назад доставленные из Батума — они лежали в прохладном месте возле окна. Отобрав лучшие, предложил Сталину. Он кивнул: потом, мол, потом, и продолжал ходить, нещадно дымя трубкой. Задержался возле стола, записал несколько фраз, сказал мне:

— Посидите здесь.

— Не помешаю?

— Нет... Такая черная ночь...

Я подремывал в кресле, а он не прилег. В утреннем свете лицо казалось испитым, серым, но, к моему удивлению, чувствовал он себя бодрей, чем вчера. Он был доволен тем, что закончил важную работу. 26 января, на траурном заседании Всесоюзного съезда Советов, произнес Сталин составленную им от имени партии клятву Владимиру Ильичу, и клятва эта произвела тогда на людей сильнейшее впечатление, на какой-то срок сплотила всех разномыслящих, колеблющихся, сомневающихся.

Я, беспартийный, наизусть помню клятву и считаю этот документ по его краткости, огромному содер-

жанию и эмоциональному накалу одним из сильнейших и красноречивейших в мировой истории. Буквально на одной страничке Иосиф Виссарионович определил, что такое коммунист-ленинец, изложил до предела сжато основу всего объемного, многосложного марксистско-ленинского учения, дал торжественное обещание хранить и развивать заветы вождя.

Те часы, когда Сталин работал над клятвой, аккумулируя в четких фразах знания, размышления, опыт всей своей предшествовавшей жизни, были для него часами высочайшего душевного взлета. Воистину: кто ясно мыслит, тот ясно излагает!

Поведение Сталина, его переживания, вызванные смертью Владимира Ильича, естественны и понятны. А как же вел себя Лев Давидович Троцкий, претендовавший на высшую власть в стране? Известие о смерти Ленина застало его в Сухуми. Он не счел нужным прервать свой отдых и ехать с теплого юга в морозную Москву, продемонстрировав еще раз равнодушие к Владимиру Ильичу. А в день похорон Ленина, в скорбный день всей страны, Лев Давидович прогуливался по берегу моря, впитывая его величие, и «всем существом своим ассимилировал уверенность в своей исторической правоте»,— так напишет он потом в книге «Моя жизнь».

Беспардонность Льва Давидовича типична и говорит сама за себя. Будто кроме него не было ни единого человека, способного возглавить партию, государство. Пуп земли, вершитель революции, возведенный в этот высокий ранг собственным самомнением и лакействующими, заинтересованными приспешниками! Он ставил себя вровень с Лениным, считал свое положение абсолютно незыблемым. И обмишулился!

Вскоре после кончины Владимира Ильича состоялся XIII съезд партии. Естественно: при подготовке его Иосиф Виссарионович использовал все свои незаурядные организаторские способности. Многие делегаты находились под впечатлением клятвы, которую дал Сталин. Но ведь существовало письмо Ленина, прямо адресованное делегатам съезда, и молчать о нем было нельзя.

Коммунисты обсудили послание Владимира Ильича. Немало горьких слов довелось тогда услышать Сталину... Он пообещал учесть все критические замечания. Ему поверили. Съезд решил оставить Иосифа Виссарионовича на посту Генерального секретаря партии. До следующего форума. Никто, конечно, не предполагал, что он будет занимать эту высокую должность три десятилетия — до последнего дня своей жизни.

3

В присутствии посторонних мы со Сталиным почти не разговаривали, Иосиф Виссарионович предпочитал не афишировать свое интеллектуальное подспорье, и это вполне естественно, я не видел ничего унизительного для себя. Разве при всех самодержцах, даже при всех президентах и прочих демократических главарях советники выходили когда-нибудь на первый план?! Они многое решали и решают, но их не видно.

Вспоминаю об этом в связи с неожиданным дневным вызовом прямо в ЦК, в кабинет Иосифа Виссарионовича. Можно было предположить, будто случилось нечто из ряда вон выходящее. Я в общем-то был готов к любым сложным вопросам, но разве предугадаешь!

— Николай Алексеевич, такое имя Растам Ц. о чем-нибудь говорит вам?

— Уж не тот ли офицер, который отличился в турецкой кампании?

— Как раз он,— не очень охотно подтвердил Сталин.— Что, действительно хорошо воевал?

— Известен личным мужеством и умелым руководством. Брусилов, помнится, ставил в пример.

— За пределами Грузии его знают?

— Даже больше, чем в Грузии: имя его было известно в армии.

— Тем хуже для нас,— сказал Сталин.— В Москву приехала его внучка, обратилась ко мне с просьбой.

— Если просьба выполнима...

— Это как смотреть,— раздраженно произнес Сталин (при мне он не сдерживался).— Ее брат-офицер воевал у Деникина, замешан в делах грузинских националистов.

— Каждый идет своим путем,— осторожно сказал я, чтобы не накалять страсти.— Упорствует ли он в своих заблуждениях?

— Он уже ни в чем не упорствует. Эта женщина просит указать, где он похоронен.

— Всего-то? — невесело усмехнулся я.

— Там общая могила. Большая могила. И, конечно, без гробов. А женщина хочет увезти брата домой...

— Она очень настаивает?

— Вы не знаете грузинских обычаев.— Сталину неприятен был разговор, он злился, вместо «вы» у него получалось пронзительное «ви-и».— Соберутся родственники хоронить труп в родной земле, будет большой траур, много разговоров, много шума.

Раздражение Сталина передавалось и мне. Я не мог взять в толк, почему такие деятели, как он, руководствуются не простыми человеческими понятиями порядочности, добра и зла, а обязательно подводят «классовую платформу». Ну, расстреляли врага, противника, это закономерно и понятно каждому: борьба идет. Отдали бы его тело родным, и вся недолга. Мертвый — уже не навредит. И я сказал Иосифу Виссарионовичу:

— Женщина приехала издалека, движимая естественными чувствами, зачем же чинить помехи?

— Не хочу обращаться к Дзержинскому,— поморщился Сталин.— Мы с ним не слишком большие друзья...

Да уж, конечно! Не так давно Дзержинский в запальчивости сказал о Сталине: «Откуда взялся в нашей партии этот политический уголовник?!» Перегнул палку Феликс Эдмундович, стремившийся к строгому соблюдению законов. Естественно, что Иосиф Виссарионович, не прощавший обид, тоже пускал ядовитые стрелы в адрес Дзержинского. Но разговор об этом увел бы нас далеко в сторону.

— Поручите хлопоты мне,— предложил я.— Возьмусь за них хотя бы ради того, чтобы избавить женщину от оскорблений и колкостей. Элементарную вежливость у нас забыли в пылу справедливой борьбы.

— Ваша ирония сейчас не обязательна,— сказал Сталин.— Помогите ей, чем сумеете,— Иосиф Виссарионович явно доволен был, что избавился от неприятной заботы.

У меня было достаточно знакомых в высоких инстанциях, через которых я быстро навел справки и выяснил все возможности. В тот же вечер встретился с женщиной в приемной ЦК. Помещение для посетителей было унылое, с казенной мебелью, стены бурого цвета. Женщина стояла возле окна, глядя в темные стекла. То ли черный плащ, то ли монашеская накидка на ней, скрывавшая всю фигуру от плеч и почти до щиколоток, сзади видны были только густые волосы, собранные в большой пучок. На висках — седина. Это не казалось странным, пока она не повернулась лицом. Усталой, изможденной женщине было никак не более двадцати пяти лет. И столько седых волос! Безнадежность читалась в ее глазах, казавшихся особенно большими в обводах синевы от утомления и недосыпа. Передо мной была одна из «бывших», одна из тех, кто испил в последние годы полную чашу унижений, кто и жил-то теперь неизвестно как и все же не был сломлен, не был растоптан! Эта молодая женщина, хрупкая, бледная до прозрачности, она ведь приехала в далекую Москву не для себя, ради мертвого брата. Экономит каждую копейку, на трамвае, наверное, не ездит, не то что на извозчике. Трудно понять, что толкнуло меня — поздоровавшись и представившись, вдруг сказал:

— Pour moi c'est un de voir de vous ai der[1].

В голосе моем прозвучало самое обычное сочувствие, от которого она, вероятно, отвыкла, которого никак не ожидала встретить здесь. Посмотрела на меня снизу вверх, удивленно, с радостной растерянностью, будто нашла что-то хорошее и еще опасалась верить в такую находку. Прозвучал торопливый вопрос:

— Vous eges officier, n'est pas?[2]

— Oni, madame[3].

Вот ведь как случается: несколько фраз — и мы прониклись взаимным доверием, и ничего больше не требовалось объяснять. Было вполне естественно, что я отправился проводить ее. Долго шли по темным улицам, она остановилась у знакомых за Белорусским вокзалом. Назвалась она Катей, Екатериной Георгиевной. Потом уж, через неделю, когда я решился пригласить ее к себе на чай, она объяснила: настоящее имя Кето, но это ей не очень нравится, а в Москве она даже стеснялась представляться Кето Георгиевной. Ну, а для меня-то она тем более по первому знакомству осталась Катей, с этим именем вошла в мое сердце.

---

[1] Считаю своим долгом помочь вам *(фр.)*.
[2] Вы офицер? *(фр.)*.
[3] Да *(фр.)*.

4

Напомню: Владимир Ильич предлагал обдумать способ перемещения Сталина с поста генерального секретаря, чтобы выдвинуть вместо него другого человека, который был бы более терпим, лоялен, более внимателен к товарищам, менее капризен и т. д. Думаю, что Ленин имел при этом в виду совершенно определенную кандидатуру. И вряд ли ошибусь, назвав Михаила Васильевича Фрунзе — другого столь достойного товарища просто трудно представить. Жизнь, революция без спешки, но очень уверенно выдвигали его на самый первый план.

Как говорится, всем он взял. Верный соратник Ленина. Боевик-подпольщик. Эрудированный марксист с большим опытом организационной работы. Интеллигентный образованный человек. (Интересно, что еще в 1903 году гимназист Миша Фрунзе с двумя товарищами совершил поход вокруг озера Иссык-Куль, при этом были собраны около семисот видов растений, занявших полторы тысячи гербарных листов. Колоссальный труд! Сия коллекция и доныне хранится в ботаническом институте Академии наук СССР.) Владел английским, французским, немецким языками. Вежливость сочетались в нем с твердой принципиальностью. Презирая грубость, высокомерие, хамство, он говорил, что эти низменные категории не имеют ничего общего с решительностью и требовательностью.

Михаил Васильевич — герой Перекопа, блестяще завершивший последнюю операцию гражданской войны.

Для партии особо важным был в ту пору национальный вопрос: Фрунзе выделялся и в этом отношении. Живое воплощение дружбы народов. Наполовину русский, наполовину молдаванин. Долго жил в Средней Азии, а среднеазиатский узелок являлся одним из труднейших. И на Украине работал Фрунзе, там его знали, уважали, делегировали на Объединительный съезд СССР, где он оказался ведущим деятелем при рождении Союза равноправных республик.

Очень высок был авторитет Михаила Васильевича среди военных. И не только благодаря успехам на фронте. Он первым после гражданской войны начал выступать с предложениями по поводу строительства новой регулярной армии. Горе-теоретики кричали, что любые вражеские войска рассыплются в столкновении с нами из-за классовой солидарности рабочих и крестьян. Фрунзе же, наоборот, утверждал, что легких побед не будет, сражения впереди ожесточенные. Поэтому армия наша должна быть массовой, хорошо обученной, хорошо вооруженной. Спасибо Михаилу Васильевичу за то, что он, не жалея сил, отстаивал этот правильный путь. Причем убедительно отстаивал... Сравните его выступления с выступлениями хотя бы Ворошилова: они защищали одни позиции, но сколь велика разница. У Климента Ефремовича — призывы да пламенные слова укреплять армию, он нажимал на революционный дух, на пролетарскую сознательность. Вел одну ноту: при царе было плохо, теперь — хорошо. Обороняй новую жизнь! Но, увы, на лозунгах далеко не уедешь. Иной раз даже вредны голые лозунги без учета конкретных

обстоятельств. А Фрунзе рассуждал здраво, по-ленински. Вот, например, его слова, показавшиеся тогда странными многим товарищам, но не потерявшие практической ценности и по сию пору: «Современное военное дело, характеризующееся широким применением техники, крайне сложно. Помимо умения и сознательности, оно требует от каждого бойца ловкости, сноровки, расторопности и отчетливости в действиях. Исполнение уставных требований «с прохладцей» и «с развальцей» — верный путь к поражению. Вот почему всякий, кто приравнивает это требование боевого воспитания к стремлению наладить бездушную муштровку старой царской армии,— либо ничего не смыслит в военном деле, либо просто — враг и предатель...»

Крепкий это был удар по демагогам, прикрывавшим революционной фразой свою неспособность обучать войска.

Иосиф Виссарионович полностью разделял взгляды Фрунзе, поддерживал его усилия по строительству Красной Армии. Правда, Сталин ревниво относился к быстрому выдвижению Михаила Васильевича на политической арене, но это уже другая, личная сторона. Беспокоило Иосифа Виссарионовича и то, что самые надежные друзья его, Ворошилов и Буденный, все больше сближались с Фрунзе, относясь к нему с почтением. Знали ведь, как расположен к нему Владимир Ильич. Насколько искренен при этом был Ворошилов — утверждать не берусь, но Буденный не очень-то умел скрывать свои чувства. С Фрунзе он связывал надежды на будущее: Михаил Васильевич, со своей стороны, тоже ценил «народного маршала» и помогал ему. Кстати, Фрунзе числил себя по кавалерии, носил синие петлицы и шпоры.

В начале 1925 года при активном участии Сталина группа полководцев-большевиков разом и окончательно отстранила от армии Троцкого и взяла на себя заботу по реорганизации и укреплению Вооруженных Сил. Председателем Реввоенсовета СССР и наркомвоенмором стал Михаил Васильевич Фрунзе, а его заместителем — Климент Ефремович Ворошилов. В состав нового Реввоенсовета, наряду с другими товарищами, вошли Тухачевский, Орджоникидзе, Буденный, а затем и Егоров, то есть люди, которые отличились на фронтах гражданской войны и были хорошо знакомы как Фрунзе, так и Сталину. Троцкому оставалось только молча проглотить эту пилюлю: на стороне Сталина была и политическая и военная сила, буденновские дивизии готовы были по первому распоряжению вступить в Москву, а в руках Ворошилова находился столичный военный округ.

То, о чем давно мечтал Иосиф Виссарионович, произошло. Правда, не совсем так, как хотелось: Троцкого-то отстранили, однако Красная Армия не стала еще послушным орудием в руках Сталина, ее возглавлял хоть и единомышленник, но человек твердых правил, решительный, смелый, пользовавшийся в стране и в партии не меньшим авторитетом, чем генеральный секретарь. И вот тут начались события, представлявшиеся мне странными. Понять их трудно было даже тогда, а теперь спустя время, вообще вряд ли кто-нибудь разберется.

Привязанность Климента Ефремовича к своему непосредственному начальнику возросла вдруг до невероятных пределов. Жили они в одном доме, в одной машине ездили на службу, вместе бывали в войсках, вдвоем упражнялись в верховой езде и стреляли в тире, рядом сидели в президиумах. Было такое впечатление: если они расстаются, то лишь на ночь. Фрунзе был слаб здоровьем, его мучила язва желудка, физические перегрузки, нарушение режима питания очень вредили ему, но, несмотря на это, Ворошилов каждый свободный день использовал для того, чтобы увлечь «друга Мишу» на охоту, в леса и болота, к похлебке из котелка, которую даже здоровый желудок не всегда выдерживает.

К месту будь сказано: такое увлечение охотой было у Климента Ефремовича кратковременным и угасло, едва он лишился партнера.

Лишь по счастливой случайности, как принято говорить, Ворошилов не оказался рядом с Фрунзе как раз в тот момент, когда Михаил Васильевич попал в автомобильную катастрофу. Всегда вместе, а тут повезло Ворошилову, отвлекли какие-то дела.

Михаил Васильевич отделался ушибами. Врачи рекомендовали постельный режим, детальное обследование, но Климент Ефремович убедил друга, что лучшее лекарство — пребывание на природе. Как было не поверить такому доброхоту: еще недавно, 31 января 1924 года, Ворошилов сделал на Пленуме ЦК партии обстоятельный, проникнутый подлинной заботой доклад об охране здоровья руководящих кадров. Вот он и укреплял здоровье Фрунзе, увлекши его на охоту в болотистую глухомань за сто верст от Москвы. А там какой режим для язвенника? Спи где придется, ешь что попало.

Потом, правда, выпал небольшой перерыв. Климент Ефремович уехал в Крым, в Мухалатку, где отдыхал Сталин.

Проведя вместе несколько дней и обстоятельно обсудив все проблемы, они пригласили к себе и Михаила Васильевича. Было начало сентября, бархатный сезон, самое хорошее время. Только охота была тогда неудачной. Ворошилов и Фрунзе карабкались по склонам крымских гор, пробирались каменистыми расселинами в глухие леса. Приезжали без добычи, совершенно измотанные, но довольные. А во дворце охотников ожидал роскошный стол с батареей разнообразных бутылок. При виде такого удовольствия даже самый заядлый трезвенник не удержался бы от искушения.

Возвращение в Москву было для Михаила Васильевича трагическим. Он не ехал, его везли: медицинская сестра не позволяла вставать с постели. Однако в столице, отдохнув, он почувствовал себя лучше и с удивлением узнал, что на 29 октября ему назначена операция. Вот что сообщал он жене, оставшейся в Крыму: «Когда ты получишь это письмо, в твоих руках будет уже телеграмма, извещающая о результатах. Я сегодня чувствую себя абсолютно здоровым и даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции. Тем не менее оба консилиума постановили ее делать. Лично я этим решением

удовлетворен. Пусть уж раз навсегда разглядят хорошенько, что там есть...»

Много различных слухов ползало тогда после смерти Фрунзе. Не буду напоминать их. Как у артиллеристов прежде был обязательный закон: не вижу — не стреляю, так и я не хочу и не могу утверждать или отрицать то, чего не видел своими глазами, о чем не имею собственного твердого мнения. Скажу только, что Сталин очень колебался, прежде чем дал разрешение на операцию. Интересовался врачами, ассистентами, различными подробностями. Я не придавал этому значения: случалось и раньше, что Иосиф Виссарионович переживал за кого-то из больных товарищей. Помню, что оперировали Фрунзе в Солдатенковской больнице. Остальное — смутно... Мы с Иосифом Виссарионовичем в каком-то полуосвещенном зале с рядами стульев, в возвышением для президиума. Клуб, что ли, или помещение для заседаний? Шла операция, а мы в этом пустом помещении. Очень взволнованный Сталин шагал по проходу мимо стульев. Метался, как в клетке, словно обуянный страхом и сомнениями. Часто сморкался. Задерживаясь возле меня, смотрел невидящими, будто обращенными вовнутрь, глазами. И вдруг сказал, словно прося совета:

— Еще не поздно! Еще можно остановить!

В чем он сомневался? Что его мучило? Какую грань боялся переступить?

Не я один был в том помещении, не я один слышал вырвавшиеся у Сталина слова. Они дали повод для различных, даже самых крайних предположений и толкований. Один известный в свое время писатель утверждал, что смертельный исход операции был предусмотрен заранее.

Через двое суток Михаил Васильевич скончался. Официально объявили: от паралича сердца. А было ему всего сорок лет, и на сердце он прежде не жаловался.

Климент Ефремович написал тогда статью «Памяти дорогого друга», в которой говорил о важных делах, начатых Фрунзе и требовавших продолжения, развития. А еще через несколько дней, 6 ноября 1925 года, Ворошилов назначен был на ту должность, которую занимал Михаил Васильевич — на самый высокий военный пост в нашей стране. Отныне и на долгие пятнадцать лет стал он народным комиссаром, ведавшим вопросами обороны, самым надежным и послушным помощником Иосифа Виссарионовича. Под руководством Климента Ефремовича готовились наши войска ко второй мировой войне и вступили в нее.

Сталин и Ворошилов сохранили светлую память о Фрунзе — он ни в чем не помешал им. Климент Ефремович взял к себе детей Михаила Васильевича — Татьяну и Тимура; он и Екатерина Давыдовна станут воспитывать их наравне с другим приемным сыном — Петром.

Кто особенно переживал смерть Михаила Васильевича, так это Буденный. Смелый он человек, отчаянный, но кончина Фрунзе вроде бы напугала его. Мне еще предстоит сказать о Семене Михайловиче и хорошие, и горькие слова, а сейчас хочу лишь выделить неколебимое упрямство, с которым Буденный всегда повторял: «В газетах сообщили, что Михаил Васильевич скончался от сердца». Это вот: «в печати сообщалось» или «в газетах сообщалось» он выделял обязательно, будто подчеркивал: не его слова, не его мнение. Звучало сие порой вызывающе, но никто не решался поправить его. Где грань? Лучше уж не встревать в это неопределенное, смутное дело, где почти нет фактов, одни эмоции.

5

Закономерность очевидная: чем больше неприятностей было у Сталина, чем хуже он себя чувствовал, тем чаще появлялся на нашей квартире. Самолюбие не позволяло ему показываться перед людьми (даже перед близкими, даже перед женой) утомленным, разбитым, больным. А здесь Иосиф Виссарионович, укрывшись ото всех, наедине или вдвоем со мной полностью расслаблялся, отдыхал, набирался душевных сил. Николай Сергеевич Власик позаботился о том, чтобы квартира наша осталась никому не известной. И о безопасности тоже. В проходном дворе появилась кирпичная стена, наглухо отгородившая подъезд, которым пользовался только Сталин. Возле подъезда или около арки постоянно дежурил дюжий «дворник» с военной выправкой.

Однажды Иосиф Виссарионович приехал рано, еще засветло, но настолько усталый, настолько измочаленный, что едва доплелся до своего любимого места, до небольшого столика у окна, где всегда стояла бутылка вина и ваза с фруктами. Снял и повесил на спинку стула китель, оставшись в солдатской бязевой рубахе, далеко не первой свежести, зажелтевшей под мышками. Мне стало жаль его: измученного, огорченного, неухоженного. И шевельнулась неприязнь к Надежде Аллилуевой: куда же она смотрит, полная сил и энергии молодая женщина!

Опустившись на стул, Иосиф Виссарионович выпил несколько глотков вина, внимательно, будто впервые, осмотрел комнату, произнес с наигранной бодростью:

— Неплохая квартира... А что, Николай Алексеевич, если я поселюсь здесь всей семьей, с женой и детьми? Но без Власика. Поместимся?

— И вас уплотняют? Неужели вы нарушили партмаксимум? — не удержался я от сарказма.— Тесновато вам будет.

— Я-то привычный,— коротко взмахнул он рукой.— Но Надежда Сергеевна, Василий, Яков...

— Да вы что, Иосиф Виссарионович, всерьез, что ли?

— Абсолютно серьезно, Николай Алексеевич. Хватит, завтра буду просить ЦК, чтобы освободили меня от обязанностей генерального секретаря. Думаю, освободят и с этого поста, и со всех других.

— Да ведь вы уже просили об этом, после Тринадцатого съезда партии, если не ошибаюсь.

— Да, просил, но тогда категорически отказали. А теперь я буду категорически настаивать на своем!

— Но почему, что случилось?

— Они мешают мне работать. И Троцкий, и Зиновьев, и все их последователи занимают очень выгодную позицию. Никто не хочет принимать на себя ответственность, никто не желает везти тяжелую практическую телегу. Пусть везет Сталин. Пусть он надрывается, пусть кряхтит, этот ишак! А они только критикуют, они только смотрят со стороны. Они подхлестывают критикой, они обсуждают правильность пути, они указывают дорогу, а ишак вези, спотыкайся, ошибайся. Тебя же и носом ткнут в твои ошибки... Бухарин вернулся из эмиграции тощий, как голодный щенок, а сейчас больше ста килограммов. Раздобрел на революции, при спокойной жизни. Но Сталин им не ишак, нет! Я завтра же потребую освобождения!

— А если откажут?

— Если откажут... Если они захотят продолжать эту игру,— в прищуренных глазах засветилась злость,— то пускай пеняют на себя. Хватит церемониться с теми, кто раскачивает государственную повозку то вправо, то влево. Мы пойдем вперед самой прямой, самой короткой дорогой. И пусть не жалуются, если попадут нам под колесо...

Вот такой примерно состоялся у нас разговор. Помнится, Иосиф Виссарионович упоминал о том, что его опять упрекают, будто бы он скрыл от партии и от народа так называемое «завещание» Ленина с нелестным отзывом о нем, Сталине. Подобные упреки звучали и в дальнейшем, особенно после смерти Иосифа Виссарионовича. Да неправда же, ничего он не скрывал! Чтобы этот вопрос был полностью ясен, прочтите первую часть речи Сталина на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 23 октября 1927 года. Выступление это интересно еще и тем, что раскрывает взаимоотношения Сталина и Троцкого, И, к тому же, дает ясное представление о стиле речей Иосифа Виссарионовича, об ораторских качествах, о его логике, о его способностях убеждать слушателей.

Последний раз это выступление публиковалось в 10-м томе его сочинений, который увидел свет в 1950 году. Из этого следует простой вывод: ни до войны, ни после нее Иосиф Виссарионович не скрывал от партии и народа «завещание» Ленина. Все упреки по этому поводу в адрес Сталина — досужая выдумка, если не сказать больше. На его совести много грехов, зачем же приписывать еще и этот, заведомо ложный!

6

Любовь к Кате пришла ко мне, как благодатный ласковый дождь после долгой изнурительной засухи. Много лет я был одиноким, очерствел и оскудел душевно, может быть, даже постарел не по возрасту, а вспыхнувшее вдруг чувство согрело меня, пробудило все лучшее, размягчило, омолодило и вернуло ощущение многоцветности, многогранности жизни. И с ней, с Катей, произошло нечто подобное. Потеряв брата, еще раньше потеряв жениха, она лишилась самых близких людей, сердце ее надолго опустело и охладело: ее-то сердце, оказавшееся таким щедрым, таким богатым! На людях моя горянка казалась слишком уж строгой и замкнутой, тяжелые годы совершенно отучили ее смеяться; она и улыбалась-то редко, только лишь мне. Но как лучились, как сияли при этом ее чудесные глаза: темные, глубокие и зовущие. Она отдала мне свою честь, свою нерастраченную любовь. Мы обрели друг друга в большом и холодном мире — этим сказано все.

Иосиф Виссарионович, разумеется, знал о переменах, которые произошли у меня, однако тактично разговор по этому поводу не заводил. Он теперь реже бывал на нашей общей квартире, дверь между нашими половинами почти не открывалась. Мне было тягостно думать, что я стесняю Иосифа Виссарионовича, лишаю его возможности отдохнуть или поработать в полной изоляции. И еще: волновало меня не то, что брат Кати расстрелян ЧК, а как относится к этому Сталин, не компрометирует ли его наше соседство. Выбрав удобный момент, я спросил, нужно ли мне переехать на другую квартиру.

— А чем вас не устраивает старая? — пытливо глянул Иосиф Виссарионович.— Вам тесно в двух комнатах?

— Меня и Катю устраивает все. О вас беспокоюсь.

— Не надо тревожиться обо мне.— Легкая улыбка скользнула у него под усами.— Я не против настоящего положения. Вот когда у вас пойдут дети, тогда посмотрим... От маленьких детей много крика. Выдержит ли наша стена?

— Спасибо.

— Я очень рад, Николай Алексеевич, что вы нашли достойную женщину. Грузинские мужчины часто привлекательны, крупные черты лица придают им мужественный вид, даже заведомым трусам,— усмехнулся Сталин.— И наоборот, крупные черты лица не украшают грузинских женщин, огрубляют их внешне; они редко выглядят красивыми даже смолоду, и быстро стареют. Грузинская женщина ие красива, но она прекрасна, можете мне поверить. Сколько в ней чистоты, преданности, большого ума. Грузинская женщина держит на себе всю семью... Впрочем, я могу быть пристрастным.

— Будьте,— сказал я.— Ведь и я тоже пристрастен. Я люблю Екатерину Георгиевну и выполню одну ее просьбу, но предварительно хочу посоветоваться с вами.

— Пожалуйста,— сказал Сталин.— Мою первую жену, мать Якова, тоже звали Екатериной. Такое вот совпадение,— тряхнул головой, будто отгоняя подступившие воспоминания.— Какой совет вам нужен, Николай Алексеевич?

— Катя хочет венчаться в церкви. Она христианка, я тоже.

— Разве вы верующий? — приподнялась, изогнувшись, бровь Сталина.

— Общепринятый обычай. Катя столько пережила, что теперь боится... Уверена, что церковь принесет нам счастье.

— Ну, что же,— произнес, подумав, Иосиф Виссарионович.— Мы не одобряем религию, мы боремся

с церковными пережитками, мы воюем за благополучие людей на земле, а не на сомнительном том свете, но церковные обряды у нас не запрещены... Екатерину Георгиевну не следует сейчас же перевоспитывать, но постарайтесь убедить ее, чтобы не крестила ребенка.

— Думаю, что она согласится, но при условии, Иосиф Виссарионович,— улыбнулся я.— Если вы будете на гражданском обряде.

— Чтобы я был крестным отцом?! — понял и засмеялся Сталин.— Что значат слова, никуда от них не уйдешь. Крестный отец, опять «крест»... Нам не только обряды, но и слова придется менять. А пока договорились, Николай Алексеевич, за мной дело не станет. Только чтобы вы с ней не подкачали. Так и передайте Екатерине Георгиевне.

7

Всегда я очень тревожился, если Иосиф Виссарионович становился вдруг слишком спокойным и сдержанным, скрывая свое раздражение, свой гнев. Чем хладнокровнее, инертней он выглядел, тем сильнее было внутреннее давление. Ладно если накопившееся напряжение просочится через какую-нибудь отдушину, не вызвав взрыва, чреватого опасными последствиями — особенно у человека, отмеченного большой властью.

Несколько ночей подряд Сталин провел вдруг на нашей квартире. Приезжал поздно, сразу ложился спать. В одиннадцать дня за ним приходила машина. Можно было догадаться — у него очередная неприятность в семье. Я выяснил: была ссора и Надежда Сергеевна, забрав детей, уехала к своему отцу в Ленинград.

Сталин был настолько взвинчен, что никого не хотел видеть, перестал пользоваться услугами цирюльника, брился сам.

Власик пришел утром на мою половину, сказал испуганно:

— Уж больно он странный, Николай Алексеевич! Стоит у зеркала с бритвой и будто окаменел. Вода стынет, три раза менял, а он только правую щеку выбрил.

Сталин действительно находился возле зеркала. Скособочившись, подняв руку с бритвой до подбородка, он смотрел на себя тусклыми, желтоватыми глазами и, кажется, ничего не видел.

— Добрый день! — громко произнес я.

Он медленно повернул голову, глянул недовольно, сказал со злой иронией:

— Еще один Никола-угодник... (Власика ведь тоже звали Николаем.)

Ну, насчет угодника было слишком даже для Сталина.

— Кто дал вам право так говорить со мной? Я никогда, никому не угождал и не буду! — голос мой прозвучал отрезвляюще резко.

— А кто мне может не дать права? — скривились губы Иосифа Виссарионовича.

— Я!

— Каким образом?

— Вызову на дуэль.

— Вы это серьезно? — Кажется, он очухался.

— Вполне.

— Но это невозможно! — Да, судя по улыбке, Сталин пришел в себя.— Вас немедленно арестует Власик (тот, дуболом, принял стойку, как хищник перед прыжком).

— Это вопрос чести. Значит, вы боитесь! — продолжал я не щадить его.

У Сталина бешено сверкнули и сразу просветлели глаза. Сдержался. Положив бритву, всем корпусом повернулся ко мне. Произнес вполне осмысленно, рассудительно, даже с юмором:

— Нет, я не боюсь. Но для дуэли мне требуется разрешение Центрального Комитета партии. Могут не дать.

— Надежная защита.

— Но что же мне делать? — пожал плечами Сталин: разговор явно заинтересовал его.

— Сесть к столу и написать вашей жене в Ленинград. Теплое хорошее письмо. Сообщите Надежде Сергеевне, что намерены приехать за ней.

— Почему я должен первым? Она ушла сама, увезла грудного ребенка...

— Мы мужчины, Иосиф Виссарионович. И вообще, первый шаг к примирению всегда делает тот, кто умней.

— Разве что так...— В голосе Сталина звучало явное облегчение.— Но мне трудно писать. Лучше я позвоню ей. Скажу, что сам приеду за ними.

— Как хотите. Однако сегодня я вас никуда не пущу, а на завтра вызову сюда врача.

— Какого врача? — не понял он.

— Невропатолога,— жестко сказал я.— Владимира Михайловича Бехтерева. Он крупнейший специалист.

Сталин сразу как-то обмяк под моим требовательным взглядом, бессильно повисли вдоль туловища руки. Произнес сдавленно:

— Пусть осмотрит дома... Но не сейчас, а когда вернется Надежда. Тогда я буду чувствовать себя лучше.

На том и порешили.

Через несколько дней жена Иосифа Виссарионовича возвратилась в Москву, и в их семье на некоторое время восстановилось относительное спокойствие. Но лишь на некоторое...

Трудно, невозможно понять и объяснить перелом в психике Иосифа Виссарионовича, начавшийся к концу двадцатых годов и обостривший самые скверные черты его характера, если не учитывать те неприятности, которые обрушились на Сталина в личной жизни. Много сил, нервов, душевной энергии расходовал он на работе. И ему, человеку впечатлительному, замкнутому, очень нужен был домашний уют, теплая семейная атмосфера, где он мог бы сбросить напряжение, получить разрядку. Сталин очень стремился к этому, хотел иметь надежный семейный очаг и не просто красивую жену, а верного единомышленника и ласковую добрую хозяйку. Это ведь очень важно, когда есть надежный тыл, где можно

успокоиться, восстановить силы. Особенно когда тебе уже под пятьдесят. Но ничего подобного у Иосифа Виссарионовича не имелось. Дома не получал он ни радости, ни вдохновения. Одна лишь дополнительная нервотрепка. И чем дальше, тем сильнее...

О своей первой жене, о Екатерине Сванидзе, скончавшейся в двадцать два года от брюшного тифа, вспоминать он не любил, если говорил о ней, то с оттенком уважения, но не больше. Сожалений о ее ранней кончине, горечи утраты — этого не было. И к сыну, Якову Джугашвили, относился с удивительным равнодушием, не свойственным грузинам, которые обычно очень любят своих близких, особенно детей, а уж мальчиков-наследников тем паче. Причина тут вот какая. Родился Яков в 1907 году, сразу после первой, неудачной революции, в самое трудное для Сталина время. Аресты, ссылки, подполье — Иосиф Виссарионович почти не видел сына, который рос у родственников жены, у Сванидзе, людей, в общем-то, чуждых Иосифу Виссарионовичу, и сам Яков становился постепенно чужим для него.

Долгое время Сталин вел холостяцкую жизнь и, наверное, вообще не завел бы новой семьи, если бы не особый случай, получивший постепенно этакую романтическую окраску. Я бы сказал — роковой случай, роковой дважды и трижды.

Представьте себе картину. Начало нашего века. Летний день на берегу теплого моря. Вдоль кромки воды прогуливается хорошо одетая женщина, рельефными формами и томной улыбкой привлекающая внимание пылких южан. Заговорилась с усатым франтом и не заметила, как набежавшая волна смыла ее двухлетнюю дочку. Только белое платьице мелькнуло средь мутной пены. Гибель казалась неизбежной, но тут, как в сказке, появился молодой грузин, смело бросился в кипящий вал, нырнул, нашел и вынес на берег прекрасное крохотное существо.

Думаю, все это выглядело не столь трагично и героически, как рассказывалось впоследствии. «Было нечто подобное»,— с улыбкой говорил Сталин. Дело в том, что он во всю свою жизнь так и не научился плавать, а уж нырять — тем более. Вероятно, девочка барахталась там, где воды было по колено взрослому человеку. Болтливая мамаша, чуть не прококетничавшая своего ребенка, могла потом нафантазировать невесть что. Во всяком случае, именно тогда впервые увидел Иосиф Виссарионович свою будущую жену Надежду Аллилуеву.

Шли годы. История о чудесном спасении превратилась в семейную легенду, волновавшую сердце подраставшей девочки. Да и герой легенды время от времени давал знать о себе. Вот отец Нади — Сергей Яковлевич — познакомился на конспиративной квартире с молодым, смелым революционером Сосо Джугашвили: им предстояло перевезти из Тифлиса в Баку ручной печатный станок, тайно изготовленный рабочим железнодорожных мастерских. Вот в трудные годы реакции Сергей Яковлевич, занимая приличную должность в Петербурге, создает и возглавляет специальный денежный фонд для ссыльных революционеров-большевиков. Товарищам по партии, в далекую Сибирь, шли деньги, посылки с продуктами и одеждой. Такой помощью пользовались Яков Свердлов, Коба—Сталин... «Это он, тот самый!» — говорили о нем в семье.

И вот — начало июля 1917 года. Временное правительство перешло в наступление. В Петрограде расстреляна мирная демонстрация. Разгромлена редакция газеты «Правда». Ленин и другие большевики обвинены в шпионаже и государственной измене. Издан приказ об аресте Владимира Ильича.

События тех трагических дней, когда Ленин вынужден был опять перейти на нелегальное положение, когда в ЦК обсуждался вопрос, отправляться ли Владимиру Ильичу на суд, когда сам он заявил: «Я явлюсь на суд Временного правительства и добьюсь, чтобы он был открытым, и превращу его в суд над контрреволюцией...» — события тех трудных дней хорошо известны. Мне важно лишь вот что. Когда полиция искала Ленина по всему городу, когда шли повсюду аресты и обыски революционеров, Владимир Ильич с Надеждой Константиновной укрылись в трехкомнатной квартире заведующего кабельной электросетью Невского района Сергея Яковлевича Аллилуева и его жены Ольги Евгеньевны. Сюда же пришли вскоре члены ЦК РСДРП(б) Сталин и Орджоникидзе, другие товарищи. Тут вырабатывалась тактика на ближайшие дни, здесь по предложению Сталина было принято решение тайно переправить Владимира Ильича в Разлив.

Из дома вышли в сумерках, после девяти вечера. На Ленине — старое рыжеватое пальто, серая кепка надвинута на лоб — узнать невозможно. Рядом с ним шагали Вячеслав Иванович Зоф, секретарь сестрорецкой партийной организации, и балтийский матрос Юргис Стимун. Немного сзади Сталин и Аллилуев. Так проследовали до вокзала, где Владимир Ильич сел в последний вагон последнего в ту ночь поезда...

Матрос и недавний солдат — охрана была надежной. Военная служба в Сибири пошла Сталину на пользу хотя бы тем, что стрелять научился.

Вместе с Аллилуевым возвратился Иосиф Виссарионович на квартиру, где оставался потом еще несколько суток. По достоинству оценил он надежное и спокойное укрытие в этой семье. И, конечно, подействовал на него восхищенный взгляд шестнадцатилетней гимназистки — красавицы Нади. Взаимное чувство вспыхнуло между ними сразу. И вскоре они провели свою первую ночь в поселке Левашово, на даче. И ей и ему почему-то особенно запомнилось, что там, на полянах, в разгар лета, было много земляники.

Сталину исполнилось тогда тридцать восемь лет, но Надя не ощущала разницы в возрасте, настолько Иосиф Виссарионович был бодр, весел, полон энергии; военная форма и решительность выделяли его среди штатских людей, бывавших в семье Аллилуевых.

Родители не возражали, отец не имел решающего голоса в домашних делах, а мать — Ольга Евгеньевна, сама убежавшая с Аллилуевым (через окно, ночью, с узелком в руках), когда ей было всего четырнадцать лет, страсть как любила пикантные

положения. А тут такой романтический случай: объявился спаситель Нади, ниспосланный свыше!

Тогда и соединились Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна в семейную пару. И все у них шло хорошо первые годы. Сталин любил молодую жену, ездил к Наде при каждой возможности с фронта, из Москвы, сам молодел рядом с ней, задорной, страстной и нежной. Будни начались позже, когда наступило мирное время. Надежда Сергеевна переехала к мужу в столицу, и они поселились в кремлевской квартире. Ну, не такие уж серые будни, а обычная семейная жизнь, нисколько, впрочем, не тяготившая Иосифа Виссарионовича. Наоборот, он был очень доволен, что у него есть жена и маленький сын Вася, имеется свой собственный теплый угол. Даже привычку работать ночью и ложиться в четыре утра поломал тогда ради жены, а это нелегко далось ему. И вообще для Нади он готов был на многое. Никогда не заботившийся о своем благополучии, он вынужден был теперь «пристраивать» многочисленных родственников Аллилуевых, в том числе и из побочного клана Енукидзе. Кому-то требовалась одежда, кому-то еда, кто-то заболел и просил положить в хорошую больницу. Сталин делал и это, через силу, скрепя сердце, но делал ради жены, хотя сам ходил в одной и той же шинели, а при сильном холоде — в потертой шубе, которую привез из последней ссылки.

На многое готов он был ради любимой женщины, ради семьи, лишь бы эта женщина жила для него, для их общего благополучия. Но Надежда Сергеевна была слишком молода и слишком эгоцентрична, чтобы понять свое историческое предназначение. Ей хотелось быть самостоятельной, чем-то руководить, а не вытирать нос ребенку да заботиться об обедах для усталого мужа. Надо было вырасти душою, стать умной; чуткой, самоотверженной, чтобы по достоинству оценить человека, который дома кажется самым обычным, таким, как все. Ест, спит, иной раз даже похрапывает. Одно время животом мучился. Это на службе он — организатор, идеолог, вождь, а в семье, в постели — привычный муж, со всеми человеческими недостатками и слабостями.

Странно: мы знаем, как часто сердобольные женщины отказываются от личного счастья ради больных, калек, возятся с пьяницами, с оболтусами, щедро отдавая им свое тепло, знания, эрудицию. Вытаскивают из бытовой грязи пустяковых заурядных мужчин, делая это чуть ли не с удовольствием, с гордостью обреченных на подвиг. А с другой стороны, в истории слишком мало отмечено женщин, которые столь самоотверженно служили бы большой, сильной личности. Скорее наоборот — они отравляли жизнь великим людям.

Многое мне было не по нутру в Сталине. Имелась у меня возможность удалиться от него и идти своим путем. Но осознал свое место под солнцем. Кто я? Обычный военный, образованный человек, чуть лучше или чуть хуже сотен подобных. Высший мой потолок — генерал, штабист. А Сталин — избранник фортуны, на нем лежит отпечаток истории... И уж коли выпало мне быть рядом с ним, то заботиться следует не о собственных интересах, а лишь о том, как моими способностями увеличивать его возможности. Но такое понимание, вероятно, более доступно мужчинам, нежели женщинам. Во всяком случае, Надежда Сергеевна Аллилуева редчайшей участи и счастья, выпавшего ей, своего высокого предназначения в этом мире так и не поняла. А может, свыше определена была для нее роль не созидающая, а сугубо отрицательная, разрушающая.

Переехав в Москву, молодая хозяйка Надя Аллилуева первое время обживалась на новом месте, возилась с маленьким Васей, радуясь самостоятельности, хорошей квартире, своему необычному положению... Можно сказать царицей стала, ежели сравнить с недавними временами. Обстановка, конечно, поскромнее, но все же... Потом освоилась она с новизной, притупилась острота, и пришла скука. Бойкая и общительная, Надежда Сергеевна хотела бывать в компании, знакомиться, развлекаться, показывая свои способности. А в окружении Сталина встречала лишь людей солидных, остепенившихся, занятых серьезными делами. И жены у них тоже были пожилые, обремененные семейными и служебными заботами. Ей хотелось ходить по гостям, посещать увеселительные зрелища, танцевать и смеяться, а Иосиф Виссарионович был нелюдим, даже родственников Надежды встречал неохотно, через силу выдавливая улыбку. Ну и умнее, опытнее ее он был многократно. Что для Надежды Сергеевны было открытием, он знал давным-давно, обсуждать известное не имел никакого желания. Что же еще оставалось: супружеская близость? Она была уже привычной, слишком обыкновенной для молодой женщины, не удивляла и не окрыляла ее. Общая постель может накрепко соединить двоих совершенно различных людей, но эта же постель способна усилить рознь, даже ненависть между супругами. Давала знать себя разница в возрасте, а главное — утомляемость Иосифа Виссарионовича: он мало спал, редко отдыхал, выматывался на работе до изнеможения. А Надежда Сергеевна, сидючи дома, сладко кушая и вволю отлеживаясь, только обрела женское понимание, женскую страсть: главным ощущением, мучившим ее, была острая неудовлетворенность, застилавшая все остальное, ввергавшая в беспричинное раздражение, заставлявшая метаться, тосковать, нервничать. Особенно проявлялось это в двадцать пятом — двадцать седьмом годах, когда Аллилуева носила, а затем растила маленькую Светлану. Прямо бес какой-то в нее вселился. Все сильней сказывалась материнская кровь, заметней проявлялась наследственность.

Отец ее, Сергей Яковлевич Аллилуев, человек был весьма положительный. Выходец из зажиточной крестьянской семьи Воронежской губернии, он с детства показал приверженность к технике и от природы был, как говорится, мастером на все руки. Поучившись и ставши механиком, уехал на Кавказ, прокладывать железнодорожную магистраль, водил паровозы. Там судьба свела с революционерами, познакомился с марксистским учением, записался в социал-демократы.

Всю жизнь потом преданно служил революционным идеалам, не гоняясь за постами и должностями. Добросовестно выполнял самую простую и самую необходимую работу: печатал листовки, собирал тайные сходки, укрывал бежавших из ссылки товарищей, снабжая их документами и, по возможности, деньгами. То есть делал то главное, без чего не могла существовать партия, не ища при этом, как и многие другие тогдашние партийцы, никакой выгоды для себя.

В революционном движении Сергей Аллилуев принадлежал к числу тех искренних, чистых людей, которых называли «марксистами-идеалистами». Столь же искренним, цельным, идеалистичным был он и в любви, в семейной жизни. Очень мягкий, очень доверчивый, сам неспособный на измену, на двуличие, он полностью доверял супруге своей Ольге Евгеньевне и, как сам сказал мне однажды, долгое время чувствовал вину перед ней. Почему? Да потому, что «соблазнил» ее бежать из родного дома совсем девочкой. И невдомек ему было, что имелась другая сторона у этого приключения: рано развившаяся тифлисская девица Оля Федоренко, натура чрезвычайно сексуальная, в свои младые годы уже с ума сходила от желания и готова была сбежать с первым попавшимся мужчиной. А тут вежливый, симпатичный и самостоятельный человек подвернулся. Как было не умыкнуться с ним!

В массе добропорядочных женщин встречаются порой особы, у которых влечение к мужчинам затмевает все прочее. На первый взгляд они особенно не выделяются, красотой блещут далеко не все, но они словно бы пропитаны сексом, словно бы источают какие-то флюиды, возбуждающие мужчин. Во что их ни одень, они всегда будто обнажены. В такую сногсшибательную особу превратилась и Ольга Евгеньевна. Особенно обострились ее желания после нескольких родов. У этой броской, жгучей красавицы во взгляде, в улыбке, в походке — во всем проявлялась чувственность, затмевавшая здравый смысл: Ольга Евгеньевна не видела ничего предосудительного в своих многочисленных флиртах.

Я вовсе не намерен осуждать эту женщину, да и какой смысл осуждать, бранить человека за то, что ему не дано понять. Тем более что (пусть это не покажется парадоксальным) Ольга Евгеньевна была хорошей семьянинкой, надежным товарищем Сергея Яковлевича, доброй и заботливой матерью. Гостеприимная, веселая, практичная, она помогала мужу в подпольной работе, скиталась за ним по разным городам, носила передачи в тюрьму, добивалась, чтобы выпустили на свободу. Содержала семью, обшивала, кормила, воспитывала детей: на все ее хватало. А муж редко бывал дома, особенно первые пятнадцать лет жизни. То под арестом, то выслан, то скрывается в подполье, то уехал с партийным поручением, то лежит больной после операции. И вообще не отличался Сергей Яковлевич физической силой. Вот и одолевало молодую здоровую женщину необоримое желание, несколько раз в год случались у нее интересные «приключения», не доставлявшие, впрочем, неприятностей семье. Ольга Евгеньевна в те годы четко определяла грань, преступив которую можно было нанести вред детям и мужу. Страсти свои она удовлетворяла тайком, «на стороне».

Право, странная жизнь этой «святой грешницы», совмещавшей самоотверженное служение семье, делу мужа с невероятными эротическими взрывами, удивительная судьба ее супруга, еще более удивительные и трагические судьбы их детей — все это интереснейший материал для романа. Книга может получиться увлекательной, поучительной и страшной. А начать бы с той наследственности, которая досталась Ольге Евгеньевне. Среди предков ее числятся немцы и евреи, украинцы и турки; не считалось зазорным, что одна из близких родственниц жила в холе и неге на содержании богатого торговца табаком.

Да и сама Ольга Евгеньевна словно бы коллекционировала мужчин разных национальностей, стараясь определить, с каким занятней, приятней. Уж кто-кто, а она могла порассказать, чем отличается в постели армянин от поляка, грузин от мадьяра, грек от болгарина. К сожалению, она и рассказывала об этом на закате жизни слишком охотно, не испытывая угрызений совести, упоминала интимнейшие подробности. В конце тридцатых годов мне доводилось частенько встречаться с ней, совершать прогулки по аллеям Дальней дачи. Теща Иосифа Виссарионовича была на четыре года старше его, но выглядела очень моложаво, на лице почти не было морщин. Бедрами покачивала, как этуаль на бакинской набережной. Гибель детей, полный разрыв с мужем, другие трагедии — будто не коснулись ее. До самой смерти в мыслях и разговорах Ольги Евгеньевны главным было то, что она именовала «любовью».

«Может, черная роза не всем нравится, но как это необычно, как пикантно! — без тени смущения повествовала она о себе.— И вынослива черная роза! Какие бури, какие страсти она выдержала!.. Знаете, однажды у меня было сразу двое мужчин, молодых пылких мужчин, мы совсем не спали ночь, день и еще ночь. Много было шампанского... Им удавалось задремывать по очереди, но я-то была одна».

Господи, я сквозь землю готов был провалиться от таких откровений, а она, нисколько не стесняясь, продолжала живописать достоинства своей черной розы. Но когда я, собравшись с духом, спросил, от кого же у нее дети, Ольга Евгеньевна обиделась, ответила с холодной напыщенностью: «Дети только от мужа! Ведь я католичка!»

Гм, при таком количестве любовников, да еще имея нескольких мужчин сразу, попробуй понять, от кого понесла... Но возражать я не стал. Ей лучше известно. Может, организм католичек обладает в этом отношении какой-то особенной избирательностью.

Мне казалось, что на Сергея Яковлевича Аллилуева совершенно похожа была лишь старшая дочь Анна. Нос и рот у нее безусловно отцовские, да и характер столь же добрый и мягкий. Сыновья, Павел и Федор, при первом взгляде на них напоминали мать: такие же глаза, такие же губы. А Надя вообще все унаследовала от Ольги Евгеньевны: черты лица, фигуру, походку. Белозубая красавица со смуглой кожей южанки — как мать в молодости. Только нравом построже.

К таким понятиям, как скромность, достоинство, Ольга Евгеньевна на старости лет была совершенно глуха, чем изрядно досаждала Иосифу Виссарионовичу. Он был одним из немногих представителей сильной половины рода человеческого, к кому Ольга Евгеньевна обращалась без малейшего жеманства, кокетства, но зато совершенно бесцеремонно: будто настолько осчастливила Сталина, что ему вовек не рассчитаться. Это ведь она, дорогая теща, вывезла из Ленинграда многочисленных родственников и помогла каждому занять достойное место. «Иосиф!— требовательно говорила она.— Павлу нужна квартира. Ну, что это такое, он ютится в одной комнате». Или: «Иосиф, в магазине нет соли, позаботься, пожалуйста». И это — товарищу Сталину, который вершил общегосударственные и мировые дела!

Меня раздражала приземленность этой женщины, ее эгоизм, но кто знает, может, Ольга Евгеньевна была определенным противовесом судьбы, переключавшим внимание Сталина на обычные житейские заботы. Это ведь тоже надобно. После ее смерти никто не осмеливался поступать так. А меня, способного высказать Иосифу Виссарионовичу претензии, мелочи быта не особенно интересовали.

Дачных охранников, шоферов, прислугу Ольга Евгеньевна в грош не ставила и бранила постоянно, как заправская барыня: все боялись и сторонились ее. Мужа своего, Сергея Яковлевича, во всеуслышанье крикливо упрекала за то, что он воспользовался ее молодостью, соблазнил, увлек, а потом ничего не дал взамен: при ее красоте, при ее возможностях она, мол, достигла бы гораздо большего. (Я просто не представляю, чего еще хотела эта, извиняюсь, дама, ставшая, благодаря своей дочери, тещей великого человека? Не осознала Ольга Евгеньевна своего счастливого взлета, как не поняла этого и воспитанная ею дочь!)

В конце концов Сергей Яковлевич Аллилуев, при всей своей вежливости, мягкости и деликатности, настолько возненавидел супругу, а открывшиеся давние измены вызвали в нем такое презрение, что он не испытывал к Ольге Евгеньевне никаких чувств, кроме гнева и брезгливости. С конца двадцатых годов они хоть и жили в Москве на одной квартире или на одной даче, но каждый имел свои комнаты, встречались за едой, да и то не всегда. Не только физическая, но и духовная связь порвалась совершенно. Оказавшись за одним столом с Ольгой Евгеньевной, ее муж в буквальном смысле слова испытывал тошноту. Может быть, еще и потому, что от нее шибало застарелой смесью острых духов, которая постоянно «обогащалась» новыми оттенками.

Конечно, Надежда Сергеевна Аллилуева-Сталина была гораздо умнее матери, глубже сознавала свою ответственность, пыталась обуздать собственные порывы. В отличие от Ольги Евгеньевны, она старалась заглушить в себе физиологическое начало. Это более или менее удавалось ей до второй беременности. Но когда понесла будущую Светлану, желание захлестнуло ее, а после родов возросло еще больше, затмило, заглушило другие ощущения. А что мог дать ей поглощенный делами Иосиф Виссарионович, подумывавший о полувековом юбилее? Нежность, ласку, вспышку на несколько минут? Этого для нее было так мало.

А между тем близко, совсем рядом, находился молодой мужчина, обожествлявший Надежду Сергеевну. Семья Сталина жила неподалеку от Троицких ворот на втором этаже кремлевского дома. На первом — семья Орджоникидзе. Там была выделена комната и для Якова Джугашвили, где он спал, занимался, играл в шахматы. Однако значительную часть дня проводил наверху. Внешне похожий на отца, Яков разительно отличался от него характером, был добр, простодушен, застенчив. Он недавно приехал из Грузии, не имел знакомых в Москве, стеснялся слабого знания русского языка, сутулости, неказистой внешности. И самым близким человеком для него стала Надежда Сергеевна. Потому что она была всего на семь лет старше Якова, потому что знала и уважала его родственников, дядей и теть Сванидзе, потому что ей тоже скучно и одиноко было в чужом городе, в казенной квартире, где появлялись только члены семьи да пожилые соратники мужа.

Они быстро привязались друг к другу... Им было весело вместе, имелись общие интересы: Яков много читал, много знал и, когда преодолевал стеснительность, становился увлекательным собеседником. Молодой Джугашвили, до сей поры издали с благоговением поглядывавший на девушек, оказался рядом с красивой женщиной, которую ничуть не портила беременность.

Думаю, Надежда Сергеевна ничего не делала нарочно, обдуманно, чтобы привлечь Якова. Но он, почти целыми днями находясь в квартире, видел эту женщину всякой: спавшей, полуодетой, в коротеньком облегающем халатике. При нем она не стеснялась кормить грудью, когда родилась Светлана. Все это вроде бы будничное, житейское. Ей, наверное, приятно было ловить восхищенные взгляды Якова, ощущать его волнение, трепет.

Если мне, человеку постороннему, редко бывавшему в кремлевской квартире Сталина, взаимоотношения Надежды Сергеевны и Якова Джугашвили казались необычными, то уж Иосиф Виссарионович просто не мог не заметить влюбленности Якова и благожелательности Надежды. Ничего серьезного тогда меж ними не было, однако Сталин нервничал, ревновал, постоянно находился в напряжении, что никак не улучшало его здоровья, работоспособности. Он старался возвысить, утвердить себя в собственных глазах и глазах жены какими-то выдающимися достижениями, свершениями, а она вроде бы и не замечала дел, успехов Иосифа Виссарионовича. Он все чаще терял душевное равновесие.

Я подумывал о том, чтобы деликатно поговорить с Надеждой Сергеевной, рассказать ей, как остро переживает Сталин семейные неурядицы, да не знал, с какой стороны подступиться. С женой своей, с Катей, советовался по этому поводу. Она считала — лучше подождать. Возможно, после рождения ребенка все уладится само собой.

Нет, не уладилось. Долго назревавший скандал произошел: Не знаю, что послужило поводом для вспышки,

да это и не важно: горючего материала накопилось много, он занялся бы не от одной, так от другой искры. Надежда Сергеевна упрекала мужа в черствости, в том, что ни она, ни дети не ощущают его тепла, что он занят только своими делами, своей карьерой. Вылилось, в общем, все наболевшее, причем вылилось в резкой скандальной форме. Возмущенный Иосиф Виссарионович сказал ей несколько грубых фраз, среди которых одна была грязная, услышанная в ссылке и не забытая. Вот тогда-то Надежда Сергеевна забрала детей и уехала к отцу, в ту пору еще жившему в Ленинграде.

Тяжело переживал Сталин ссору. Ему хотелось, чтобы он сам и все, связанное с ним, было абсолютно правильным, безупречным, надежным. Он уже примерял для себя место в мировой истории, и вдруг заурядный бытовой скандал с истерикой и убеганием из дома, чего не скроешь от знакомых. А ведь он так привязан был к жене и особенно к маленькой Светлане, мысль о том, что они далеко, он не увидит их ни сегодня, ни завтра — угнетала Иосифа Виссарионовича. Вот почему он внял моему совету и первым сделал шаг к примирению, позвонил в Ленинград.

Надежда Сергеевна вернулась в Москву.

8

Владимир Михайлович Бехтерев был звездой первой величины на горизонте не только российской, но и мировой медицины. Достаточно сказать, что кроме всех прочих заслуг он основал в 1908 году психоневрологический институт и долго руководил им. А кто из наших сверстников не помнит созданное Владимиром Михайловичем лекарство, знаменитые «капли Бехтерева», а попросту «бехтеревку»?! Именно его, человека опытного, авторитетного, который не допустит ошибку и не побоится сказать правду, решили мы с Надеждой Сергеевной пригласить к Сталину. Мнением кого-то другого Иосиф Виссарионович мог бы пренебречь, но семидесятилетний ученый Бехтерев — светило в своей области, с ним нельзя было не считаться.

Он осмотрел Иосифа Виссарионовича дважды за одни сутки. Утром и поздно вечером после работы. На кремлевской квартире. Кроме Надежды Сергеевны и меня, никто не знал о визитах Владимира Михайловича. Шоферу, с которым я ездил за Бехтеревым, не было известно, кого он доставил. И даже всеведущему охраннику Власику не назвали фамилию. Ну, а в порядочности ученого мы были убеждены, он обязан был хранить профессиональную тайну.

Заключение Владимира Михайловича было безрадостным. Неуравновешенная психика. Прогрессирующая паранойя с определенно выраженной в данный момент чрезмерной подозрительностью, манией преследования. Болезнь обостряется сильным хроническим переутомлением, истощением нервной системы. Только исключительная сила воли помогает Сталину сохранять рассудительность и работоспособность, но этот ресурс не безграничен. Требуется тщательное обследование и длительное лечение, хотя бы в домашних условиях. А главное — отдых, воздух, снятие психического давления, физическая закалка организма. И, разумеется, постоянный щадящий режим с учетом возраста.

Для медика, для специалиста слово «параноик»— обычный термин, обозначающий одну из многочисленных болезней, поддающуюся лечению. Но меня больно кольнуло это слово. Значит, и я, не замечающий недуга Иосифа Виссарионовича, хорошо понимающий его, тоже такой?!

Странно, однако на самого Сталина заключение Бехтерева не произвело особого впечатления. Подозреваю, что ему говорили уже о заболевании, и довольно давно. Вероятно, он имел дело с психиатрами еще до революции. Один из Сванидзе говорил, что Иосиф Виссарионович обращался к врачу вскоре после рождения Якова.

Из всего того, что рекомендовал Бехтерев для поправки здоровья, Сталин изъявил согласие выполнить два условия: систематически принимать лекарство и отдохнуть осенью возле моря, походить на охоту. О сокращении объема работы не могло быть и речи...

Надежду Сергеевну я очень мягко попросил (наедине, разумеется), чтобы позаботилась о спокойной обстановке в семье. Она ответила холодным взглядом, давая понять: взаимоотношения с мужем — их сугубо личное дело. Однако через несколько минут, смягчившись и уяснив мою правоту, сказала, что постарается... И могу подтвердить: держалась Надежда Сергеевна довольно долго, года полтора, создавая если не благополучие в семье, то хотя бы видимость благополучия. Это хорошо, но только этого было все же мало для полного восстановления здоровья. А отойти от дел и лечиться Иосиф Виссарионович никак не хотел. Для него это было равно политической смерти. Если устраниться от руководства — значит, навсегда: конкурентов много. Тем более — лечение у психиатра. Сумасшедший, псих — разве может такой человек занимать руководящий пост?!

Да что там лечение: Сталин боялся, как бы не получил огласку сам визит Бехтерева. Надежде Сергеевне и мне он верил — не выболтаем. К тому же наши слова — это лишь слухи, предположения. Но совсем другое, если о болезни скажет сам Бехтерев. А он стар, рассеян и вообще вне контроля. Мало ли что может сорваться с его языка. И тогда конец политической карьере... Это был новый пунктик, мучивший Иосифа Виссарионовича, все сильней давивший на психику.

Успокоился Сталин лишь тогда, когда Бехтерев умер. Произошло это неожиданно и довольно скоро после памятного визита. Скончался пожилой человек, в этом, в общем-то, не было ничего особенного. Но у меня эта смерть вызвала гнетущее ощущение собственной причастности к чему-то темному, мерзкому.

Примерно за неделю до смерти Бехтерева на моей и Сталина квартире появился Лаврентий Берия со своей сладкой улыбкой. И еще один грузин средних лет, довольно интеллигентного вида, больше я его никогда не встречал. Иосиф Виссарионович беседовал с ними за бутылкой вина. Потом второй гость ушел, Сталин и Берия остались вдвоем, разговаривали очень долго.

В отношениях между Иосифом Виссарионовичем и Лаврентием Павловичем тот момент оказался переломным. В дальнейшем Берия стал приезжать в Москву все чаще, Сталин охотно уединялся с ним.

Глубоко ошибается тот, кто считает, что в наше время можно что-то скрыть, утаить, спрятать концы в воду. На какой-то срок — да. Но любое преступление, особенно лица высокопоставленного, все равно всплывет, ударит если не его самого, то родственников, соратников. Обязательно найдутся прямые или косвенные свидетели. Не стало Берии, и всплыл вот такой факт, вернувший меня к прошлым сомнениям. Выяснилось, что перед смертью Бехтерева у него побывали Лаврентий Павлович и тот самый грузин интеллигентного вида. Они привезли ученому виноград, другие фрукты, хорошее вино. Владимир Михайлович был весел, охотно отведал дары солнечного Кавказа. Но сия трапеза оказалась для него последней. Об этом рассказала женщина, находившаяся тогда при Бехтереве.

После похорон у нее еще раз побывал спутник Берии, предупредил, чтобы она никогда и нигде не упоминала о тех, кто приезжал в гости. Так припугнул женщину, что она долго молчала, живя в постоянном страхе. Но и о ней, вероятно, забыли. Да и кто бы поверил ей?

А она, конечно, забыть не могла. Минуло время, и она нашла с кем поделиться мучившими ее воспоминаниями.

Надежда Сергеевна поддержала эту идею и обещала уговорить Сталина, чтобы он хоть на краткий срок оторвался от работы. А его, к нашему с ней удивлению, и уговаривать не пришлось. Он познакомился с маршрутом, усмехнулся в усы: «Очень своевременное предложение. Считаю, что с нами должен поехать Анастас Иванович Микоян»... Я подумал: при хорошем настроении попал к Иосифу Виссарионовичу. Но потом выяснилось, что была веская причина для столь быстрого согласия. Все же никто и никогда не знал, что у Сталина на уме.

Из Кремля выехали в шесть утра на двух автомашинах. Несмотря на такую рань, солнце уже припекало. Меня радовала погода: на небе ни единого облачка. Хочу тут, между делом, опровергнуть одно довольно распространенное мнение: Сталин, дескать, не любил солнца, яркого света. Это неправда, пущенная в обиход поверхностными наблюдателями. Не надо смешивать разные вещи. Да, он работал обычно с закрытыми шторами, чтобы не отвлекали ни свет, ни звуки. К старости у него побаливали глаза — это верно. При обнажающем беспощадном освещении он вроде бы стеснялся среди посторонних своей заурядной внешности. Всяко бывало. Но с другой стороны, Сталин любил прогуливаться в одиночку или с близкими, привычными людьми не в пасмурную, а именно в солнечную погоду. И на юге, и в Подмосковье. Нравились ему прогулки по зимнему лесу, когда сияет солнце и ослепительно блестит снег. А после войны в такие дни любил сиживать со мной на открытой террасе, закутавшись в теплый тулуп. В эти минуты он продолжал работать — думал.

9

Смею сказать, что теперь я неплохо знаю ближнее и дальнее Подмосковье, столь разнообразное, что природных контрастов, живописных пейзажей, даже глухих уголков, разместившихся на этой сравнительно небольшой территории, хватило бы для западноевропейского государства средних размеров. И зная, скажу: нет для меня прекраснее мест в Подмосковье, чем бассейн реки Истры и еще та часть побережья Москвы-реки, что тяготеет к истринскому водосбору. От Звенигорода до Рублева. Благодарен я Алексею Алексеевичу Брусилову за то, что открыл мне сию неповторимую жемчужину в природном ожерелье столицы. В свою очередь, очень хотелось мне приобщить к этим местам Иосифа Виссарионовича, чтобы познал и полюбил прелесть нашей Центральной России. Нет в ней чрезмерной восточной пышности, нет яркой, ошеломляющей назойливости юга, но уж если откроет она кому свою застенчивую, величавую красоту, если кто увидит и поймет суровую нежность и постоянство, то никогда не забудет ее, не изменит ей. А Сталин, как ни странно, изъездив Сибирь, побывав за границей, долго работая в Москве, почти не знал, не видел окрестностей нашей столицы. Это же противоестественно! Вот и задумал я организовать неутомительное путешествие на лодках по Истре. Тем более что и Бехтерев советовал: смена впечатлений, разрядка, отдых на природе очень нужны Иосифу Виссарионовичу. А что может быть лучше отдыха на речке в теплый летний день!

Вернемся к нашему путешествию. Автомобили доставили нас в Павловскую Слободу, где поджидали хорошие просмоленные плоскодонные лодки: для неглубокой капризной Истры нужны были такие. Погрузившись в них возле Лешковской горы, мы начали свой водный поход средь высоких, заросших старым лесом, берегов. Зелень была густая и свежая, вода чистейшая и прохладная. Воздух — прелесть. Березки на прибрежных полянах лукаво манили водить хоровод вместе с ними.

Путешественники были довольны и веселы. Ворошилов на первой лодке грянул вдруг «Из-за острова на стрежень...». Присоединилась и Надежда Сергеевна. Сталин подпевал им. Слух у него был хороший, сказывалась и подготовка в духовной семинарии. Обычно монотонный, приглушенный голос его менялся при пении, звучал проникновенно и чисто.

Итак, мы плыли по Истре мимо чудесных берегов, утопавших в зарослях ивняка. Об отсутствии рыболовов и купальщиков позаботился Власик.

К полудню путешественники явно устали, жара давала себя знать. На высоких холмах открылась деревня Тимошино. По левую руку, невидимое за лесом, лежало село Степановское. Висячий мостик, соединявший здесь берега, как над кавказскими горными реками, привлек внимание и Сталина, и Микояна. Пора было сделать привал.

Справа пошел ровный, частично распаханный луг, а слева был крутостенный обрыв со старыми парковыми липами и с подлеском, особенно густым в двух или трех

глубоких оврагах, прорезавших береговую кручу. Луг буквально исходил жаром, колебалось над ним зыбкое марево, а на террасе под лесистым обрывом держалась тень, было не жарко, приятно. В узкой полосе между речкой и откосом воздух не столь сухой, как на открытых местах. И ключ с холодной водой был тут, в устье овражка.

Это место я облюбовал заранее. Подчиненные Власика, побывавшие здесь, потрудились в разумных пределах. Возле старой вербы, нависшей над Истрой, сооружен был примитивный, но надежный причал. На краю оврага мы с Власиком обнаружили, где условлено было, берестяную кору для разжигания костра, сухие дрова, рогулины и перекладины для шампуров. Все остальное мы привезли с собой, дабы не лишать путешественников приятных забот и волнений: не забыты ли соль или перец?

Николай Власик, любивший основательно и разнообразно набить собственное брюхо, оказался умелым официантом и поваром. С помощью Микояна он нанизывал на шампуры исходящие соком куски молодой баранины. На скатерти появилась холодная закуска, грибы и огурчики, сало и ветчина, красивые бутылки.

Ворошилов укладывал плахи, чтобы удобней было сидеть возле «стола». Я подносил хворост, распоряжался костром. Надежда Сергеевна плескалась в реке, срывая кувшинки. Иосиф Виссарионович помогал ей, не рискуя, однако, далеко заходить в быстрые струи.

Чудесно было!

Основательно проголодавшись, все поторапливали Власика: скорей, кулинар! На закуску набросились так, что холодная курятина, вкуснейшая гусиная построма и упомянутые огурчики исчезли мгновенно. У Сталина — под вино, у Микояна и Ворошилова — под коньяк, а у нас с Власиком — под водку. Надежда Сергеевна, как всегда, не пила, однако пригубливала на этот раз в знак одобрения и солидарности.

Наелись и блаженно отдыхали, лежа возле костра, любуясь пейзажем, слушая плеск бегущей волны. Иосиф Виссарионович, не спеша покуривая папиросу, предложил каждому рассказать по анекдоту. Он охотно слушал их, даже про него самого, только чтобы остроумно и без похабщины. Он говорил: анекдот характеризует прежде всего рассказчика, ведь человек запоминает и передает другим не все подряд, а то, что ему нравится. Однако в этот раз такая лакмусовая бумажка не действовала, учитывалось присутствие Надежды Сергеевны.

Первым вызвался Климент Ефремович, не любивший ждать.

— Собрались в компанию три мыши: английская, французская и наша. Выпили бутылку-другую. Английская мышь тихо, незаметно удалилась и спать улеглась. Французская подмазалась перед зеркалом и побежала к любовнику. А наша говорит: «Эх, скукота! Трахну еще пол-литра и пойду Ваське-коту морду бить!»

Микоян сказал, что этот анекдот хорош уже тем, что краток. И сам теперь постарается не длиннее.

— Бежит, понимаешь, заяц. Слышит из-за куста нежный голос: «Дорогой, зачем торопишься, я тут совсем одна...» Ну, зайчишка сразу туда. Шорох там за кустами, ахи-охи, ветки трещат. Потом, понимаешь, совсем тихо стало,— плутовато прищурился Анастас Иванович.— Выходит из-за куста красивая рыжая лиса, вытирает с морды заячий пух и радуется: «Вот как хорошо знать хотя бы один народный язык!»

Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна засмеялись сразу, Климент Ефремович чуть спустя. А Власик, недоумевающе поглядывая на Микояна, доел шашлык, взялся за сало и вдруг фыркнул, едва не подавившись, расплылся в улыбке. Все снова расхохотались: дошло!

— У меня так коротко не получится,— сказал Сталин. Голос его звучал размягченно.— Теперь много путешественников на Кавказе, много туристов на Военно-Грузинской дороге. Показатель возросшего уровня жизни,— усмехнулся он.— Там есть мостик над пропастью. Висячий мостик, как здесь над Истрой. Узкий, качается. А под ним глубина. Без привычки глянешь — голова кружится. Один здоровый грузин приспособился робких переносить. Правой рукой несет, а левой балансирует, чтобы не упасть. И с каждого — по рублю. А потом сообразил: если сразу двоих нести, вдвое больше заработать можно. Взял одного туриста под правую руку, другого — под левую, и пошел. А мостик качается, равновесия нет, сейчас упадет. Освободил руку — турист улетел в пропасть. Грузин чуть не плачет, успокаивает себя: «Ну, хрен с ним, с этим рублем, два раза схожу!»

— Берия!— брезгливо вырвалось у Надежды Сергеевны.— Силенок у него не хватит, конечно, человека перенести, а отношение бериевское.

— Почему ты так плохо относишься к Лаврентию Павловичу?— У Сталина было благодушное настроение после хорошего застолья, но глаза сразу холодно сощурились.

— Приторный он и скользкий.

— Это твои эмоции, это не факты,— жестче произнес Иосиф Виссарионович, покосившись на Власика, у которого даже уши оттопырились от любопытства.— Товарищ Берия надежный чекист, и я ему доверяю. Он быстро погасил вражеский мятеж у мингрелов...

— Бил и виноватых, и правых.

— Ты ничего не понимаешь в этом, и не нужно тебе понимать,— ответил Иосиф Виссарионович.— Лучше сходи в реку, возле берега глубоко, зато посередине, на течении, мелко, ведь так, товарищ Ворошилов?

— Дно песчаное, ровное,— подтвердил тот.

— Спасибо, но не сейчас.— Надежда Сергеевна занялась баулами, в которых хранился наш провиант.

Это была единственная «тучка», ненадолго омрачившая тот теплый и беззаботный день. Неприятный осадок, оставшийся после стычки, быстро улетучился. Основательно отдохнув (мы с Микояном даже вздремнули в тени деревьев), участники похода взбодрили себя купанием, небольшой дозой напитков и двинулись дальше. Климент Ефремович пересел в лодку к Микояну, а я занял место в лодке у Сталиных. Сознаюсь — по собственной инициативе: мое присутствие вообще действовало на Иосифа Виссарионовича успокаивающе, а тут я еще мог отвлечь эту бойкую пару от ненужных сейчас мыслей и разговоров, рассказывая об окружающей местности, о прекрасных храмах в Дмит-

ровском, Знаменском и Уборах, историю которых, особенно последнего, я хорошо знал.

Вскоре за местом нашего бивака Истра «уперлась» в высокую лесистую гряду, на которой стоит древнее село Дмитровское с врезающейся в самое небо стройной колокольней. Не имея сил преодолеть мощный барьер, речка под прямым углом поворачивает влево, к югу, и дальше выписывает большие и малые кривули и загогулины вплоть до самого устья. В зеленом коридоре вода бежит быстро, течение так несло наши лодки, что можно было совсем не грести. Сталин сидел на корме и шевелил веслом, направляя ковчег, куда считал нужным. При этом мы явно отставали от другой плоскодонки, хотя там рулевой работал веслом не чаще нашего.

Присмотревшись, я заметил, что Иосиф Виссарионович старается вести лодку строго по прямой линии. Выберет ориентир у следующего поворота, нацелит нос плоскодонки и неукоснительно держит курс. А между тем течение шарахалось от берега к берегу, усилившийся к вечеру ветер отжимал суденышко вправо, но Сталин не замечал или не хотел замечать этого, упрямо держался своего курса. Да еще и сердился, когда лодку вдруг стремительно несло к обрыву или разворачивало поперек реки. Путь наш не укорачивался, а удлинялся. Иосиф Виссарионович все чаще старательно налегал на весло. Микоян-то был хитрее. Удерживал свою плоскодонку в струе, и она двигалась вперед почти без борьбы, простым, естественным ходом.

Поучать Иосифа Виссарионовича я не хотел. Пусть получит физическую нагрузку, ему полезно. Да и вообще к чему советы, морализация на отдыхе?!

Начался последний этап похода. Вот позади осталась господствующая над всей обширной долиной Дмитровская колокольня с чуть покосившимся крестом. Справа до самых Уборов тянулся ровный, как стол, огромный луг. Слева ощетинился огромными старинными желтоствольными соснами почти вертикальный высочайший склон, скрывавший Петрово-Дальнее. А впереди уже обрисовывалось за Москвой-рекой на пологой горе село Знаменское с церковью прямо против устья Истры.

Пересекши Москву-реку, мы причалили у невысокого глинопесчаного яра, сплошь испещренного гнездами ласточек-береговушек, всполошившихся при нашем появлении. Здесь ожидал человек Власика, принявший от нас лодки. Все пошли к автомашинам, стоявшим поодаль, на луговой дороге, а Сталину я предложил подняться на береговую кручу, поросшую разновозрастным сосновым лесом: она была за оврагом.

Усилия, потребовавшиеся на то, чтобы одолеть подъем, с лихвой окупились чудесным видом, открывшимся с высоты птичьего полета. Вокруг нас, под ногами, яркое разнотравье, особенно пахучее вечером. Теплым, медвяным, приятно-сухим был воздух: такой держится лишь над песчаной местностью, хорошо прогреваемой солнцем. За спиной — просторные поля, домики села Знаменского, густые заросли старого кладбища и — полукольцом — темнеющий лес вдали. А глянешь вперед, влево, вправо — повсюду верст на десять (а слева даже и больше!) видна зеленая долина Москвы-реки, просматривается извилистая Истра. То серпом среди зарослей блестит вода, то озерком, то ровным прямым каналом. А за речками везде леса по возвышенностям, прямо-таки разлив хвойных лесов.

— Удивительная открытость! — произнес Иосиф Виссарионович, пораженный огромным простором, и я был доволен, что он понимает и разделяет мое восхищение.— Орлиное место! — сказал он.— Орлиный утес! Какое у него название?

Садившееся за Дмитровским солнце окрашивало воды двух рек в розовые и оранжевые тона. Темнели, чернели леса, а небо над головой все еще оставалось голубым, ласковым. Тихо шумели сосны вокруг. Под их аккомпанемент я рассказал Иосифу Виссарионовичу о том, что эти красивые места были облюбованы пращурами-вятичами с незапамятных времен. Многие века стоит тут, к примеру, село Знаменское, в прошлом Денисьево. Примечательно: песок здесь сплошной, никогда не бывает грязи, воздух целебный, настоянный на хвое окружающих лесов. Еще Петр Первый оценил по достоинству эти места, а Екатерине Второй они так понравились, что хотела возвести дворец на возвышенности и отдыхать на старости лет от трудов праведных в тишине, любуясь пейзажами. Даже план строений наметила. Однако не сложилось что-то у нее, так и умерла в заботах, не осуществив мечты. Осталось с той поры лишь название — «Катина гора», на которой мы и стояли.

Не только в красоте окрестностей, в ощущении легкости и полета крылась для Сталина и для меня притягательная сила этой надречной возвышенности. Немало ведь на свете женских имен хороших и разных, но почти все они для тебя лишь звук, обозначение, наименование. А вот имя Екатерина — Катя сопровождало Сталина всю жизнь: от матери, от первой жены до последней внучки. И мне это имя было близким, принесшим надежду и радость!

Так впервые побывали мы с Иосифом Виссарионовичем на горе, а затем прошли по кладбищу и по лесу, где потом доведется нам бывать много раз. И всегда — вдвоем. И задумал я, чтобы похоронили меня на том возвышенном, открытом, песчаном кладбище. Сталин-то не вправе был выбирать себе место, а я мог... Но все это позже, а в тот вечер Микоян и Сталин преподнесли мне сюрприз, которого я никак не ожидал. Оказывается, предложенная мной поездка по Истре совпадала с желаниями того и другого, они хотели посмотреть эти края, где уже успели побывать — западное Подмосковье нравилось им.

Если ехать из Москвы по Успенскому шоссе, просто невозможно не обратить внимания на краснокирпичный фигурный забор, не очень высокий, но массивный, чем-то напоминающий зубчатые стены столичного Кремля. Это слева после станции Усово, сразу за деревней Калчуга, где шоссе круто спускается к речушке Медвенке (скорее даже — к ручью), промывшей себе глубокую долину, на большом расстоянии покрытую густым лесом, непролетной соловьиной чащобой. Местность здесь имеет что-то общее с Кавказом. И замок за кирпичным забором словно бы перенесен к Медвенке со скал над Курой или Араксом. Этот дворец, хоть и пострадавший за годы революции, но в основном сохранившийся,

облюбовал для себя Анастас Иванович Микоян. Немало, знать, поездил он по Подмосковью, пока нашел этот райский уголок, располагающий и к работе, и к отдыху. Родной Кавказ рядом с Москвой-рекой, чего же еще желать?!

Ну, вообще-то дворцы и замки существуют как раз для того, чтобы их занимала господствующая знать, и все же мне было как-то обидно. Тут для Иосифа Виссарионовича самое подходящее место.

— Нет,— улыбнулся Сталин, выслушав меня.— Зачем нам такая роскошь? Пусть живет товарищ Микоян. А мы будем наведываться к нему в гости.

— Не ближний свет.

— Почему, Николай Алексеевич? — продолжал шутить Сталин.— Мне тут тоже понравилось одно место. На холме, среди леса. Надежда Сергеевна согласна. И Микоян неподалеку со своими винными погребами...

При мне была подробная военная карта. Развернув ее, я попросил Иосифа Виссарионовича показать, где. Он заинтересовался, отыскал место. А я взял циркуль, воткнул острую ножку в перекресток Успенского шоссе и Медвенки, провел окружность, радиусом в десять километров. Просто очертил прилегающую к дачам и довольно известную мне территорию, совершенно не предполагая, что примерно определил зону, в которой долгое время, не только при жизни Сталина, но и потом, будут вынашиваться и приниматься важнейшие партийные, государственные, научные, мировые решения. Выдающиеся деятели различного толка будут трудиться и отдыхать на этом ограниченном пространстве между Ромашково и Николиной горой, между Одинцовом и Дмитровским. Список велик и продолжаем: Сталин и Горький, Микоян и Молотов, Хрущев и Фадеев, Буденный и Брежнев, великие академики и актеры.

И основной круг собственной судьбы очертил я тогда...

А добавить надобно еще вот что. За долгие годы работы в Москве Иосиф Виссарионович имел несколько дач возле столицы. Главная из них, так называемая «Блины», находилась в Кунцеве, на ней Сталин проводил много времени, особенно зимой. В жаркие летние дни любил иногда прогуливаться по обширному парку в имении Липки, что по дороге на Дмитров, однако ночевал там очень редко: по пальцам пересчитать.

Постепенно особую роль в жизни Сталина приобрела западная дача. Там он отдыхал со своими родными, возле нее встречался со мной, бывал у Микояна. С предвоенных лет и чем дальше, тем чаще совершали мы там лесные прогулки. Он отрывался от многочисленных дел и забот, от тех людей, с которыми вынужден был постоянно общаться и которые надоедали ему. Там он, хоть изредка, виделся со своими детьми, затем с внуками. Там, ближе к реке, со временем обзавелся дачей его сын Василий.

Да, многое произойдет в случайно очерченном мною круге. Между собой тот западный дом Сталина называли мы — Иосиф Виссарионович, Микоян, я и Власик — только нам понятным кодом «ДД» — Дальняя дача.

10

В сентябре выдались яркие, теплые, праздничные дни. Солнце светило щедро, но уже не утомляло жарой. Много было цветов.

Один из таких дней оказался счастливым для нашей маленькой семьи — родилась дочка.

Я очень тревожился за Катю, и акушерка, следившая за состоянием моей жены, беспокоилась тоже: у нее узкий таз и роды могли доставить нам неприятность. Однако все обошлось, умница моя управилась быстро, промучившись всего три часа. Наверно, мы чрезмерно волновались до родов, а когда появился крепкий, нормальный ребенок, напряжение сразу упало, все успокоились, внимание к роженице ослабло.

Иосиф Виссарионович поздравил одним из первых, прислал Кате большой букет, а мне — ящик коньяка. Надежда Сергеевна позвонила по телефону, предложила помощь няни, которая кормила Светлану. Занятый приятными хлопотами, строя радужные планы, я не сразу заметил, как изменилась Катя: притихла, сникла, в лихорадочно блестевших глазах появились испуг и тоска. Акушерка же и главный врач не спешили сообщать мне ужасную новость, предпринимая все, чтобы спасти Екатерину Георгиевну. (Послеродовая гангрена — раньше я даже не слышал об этом. А когда услышал, было уже поздно.)

И опять, как когда-то в Новочеркасске, как на барже в Царицыне, я утратил на некоторое время ощущение реальности, перестал контролировать себя, существовал будто во сне, руководствуясь не разумом, а инстинктом. Но теперь я быстрее справился с потрясением, потому что со мной остался маленький беспомощный человечек — продолжение Кати и мое. Я нужен был дочке и не имел права поддаваться своим переживаниям и болезням.

Низко и навсегда кланяюсь Кате за то, что собственной гибелью она явила миру новую жизнь, не оставила меня одиноким в дебрях мироздания, где без дочери скитался бы я, как путник в бескрайней пустыне.

И еще я сказал себе: двум самым дорогим женщинам моя любовь не принесла счастья. Нет смысла испытывать судьбу третий раз. И необходимости такой тоже нет. Моя радость, моя надежда, мое будущее — у меня в руках!

11

Много раз упоминал я фамилию Троцкого, да и вообще читатели неоднократно слышали, конечно, о нем, о троцкизме, но, думаю, далеко не все представляют отчетливо, что это за человек, в чем сущность его идей. Троцкизм стал каким-то выхолощенным понятием, и это наверняка не случайно. Есть люди, которые сознательно стараются превратить в пустой звук, приглушить то, что важно еще и по сию пору, что всплывает, проявляется постоянно, только под другими ярлыками.

Даже представители моего поколения, видевшие и слышавшие Троцкого, далеко не всегда понимали, за

что он сражался, почему столь рьяно нападал на ленинскую, а потом и сталинскую линию партии. Что ему надобно? Сам рвался к высшей власти? Тем, кто интересуется внешней стороной событий, чисто политической, так сказать, стороной, я советую познакомиться с первоисточниками, хотя бы с речью Сталина «Троцкизм или ленинизм», которую он произнес еще в ноябре 1924 года. Иосиф Виссарионович говорил тогда: «В данный момент, после победы Октября, в настоящих условиях нэпа, наиболее опасным нужно считать троцкизм, ибо он старается привить неверие в силы нашей революции, неверие в дело союза рабочих и крестьян, неверие в дело превращения России нэповской в Россию социалистическую».

И еще: «Задача партии состоит в том, чтобы похоронить троцкизм как идейное течение». Обратили внимание — похоронить! — война шла не на жизнь, а на смерть. И это — между членами, руководителями одной партии, которые сами готовили революцию. Однако ставили они перед собой разные цели, ждали от нее совершенно различных результатов. И в этом источник жесточайших противоречий. Сталин хотел видеть Россию могучей, высокоразвитой, независимой. Для Троцкого выгоднее, чтобы страна оставалась аграрной, с полукустарной промышленностью, тесно связанной с Западом. Но почему? И откуда взялся этот деятель, чьи интересы он пропагандировал и защищал?

У меня сохранилась справочная брошюра «Наше правительство», выпущенная московским издательством «Красная новь» через несколько лет после революции. Сведения там приводятся довольно куцые, но они все же дают некоторое представление... Про народного комиссара по военным и морским делам, Председателя Реввоенсовета Республики написано, что он, Лев Давидович Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн), родился в 1879 году (ровесник Сталина.— Скобки мои. *Н. Л.*). Где осчастливил свет своим появлением — не сказано. Отец и дед его «занимались сельским хозяйством» (очень расплывчатая формулировка). Наукой овладевал Троцкий в реальном училище. С семнадцати лет якобы живет своим трудом. С того же возраста принимает участие в революционной работе. В 1898 году его арестовали, выслали в Сибирь. Вскоре бежал за границу, где и находился до 1905 года... Появилась надежда на успех восстаний — вернулся в Россию, где вскоре опять был задержан. Однако в 1907 году вновь уехал в теплые зарубежные края, там подвизался (во Франции, в Испании, в Америке) до следующей революции, до мая 1917 года.

Уточним некоторые факты. Прежде всего о том, каким образом его дед и отец «занимались сельским хозяйством». Они были крупными земельными арендаторами на юге России. Все их ближайшие родственники — типичные представители еврейской буржуазии: торговцы, ростовщики, спекулянты. Они поддерживали постоянную связь с руководителями мирового сионизма. До революции отец Льва Давидовича успел сколотить почти миллионное состояние, а потом, благодаря покровительству сына, сохранил значительную часть своих богатств. В самое трудное для страны, голодное время сынок устроил своего папу на теплое место, заведовать хлебными делами в Москве. На этой должности сам не помрешь с голода и близких своих всегда поддержать сможешь.

Странным представляется нам псевдоним, появившийся у Льва Давидовича при первом аресте. В одесской тюрьме был в ту пору надзиратель Троцкий. Познакомившись с ним, Лев Давидович навсегда перестал быть Бронштейном. Любопытно, чем уж так привлекла его эта фамилия, что связывало Льва Давидовича с надзирателем?

Из ссылки бежал он за границу, бросив в Сибири жену с двумя детьми — девочками. Находясь в эмиграции, материальных затруднений не испытывал. Богатая родня помогала. А вскоре женился на дочери торговца, имевшего солидные капиталы. Получил высшее образование. Обзавелся сыном — тоже Львом, который, когда подрос, пошел по стопам отца.

Скрывать свои цели, врать, изворачиваться Лев Давидович был великий мастер. Безудержное многословие, беспринципность и ложь — вот свойства его натуры, и они же — его оружие в политической борьбе. Он мог произносить речи по восемь — девять часов, затапливая, изнуряя слушателей словесами. А однажды побил, вероятно, мировой рекорд: незадолго до Октября говорил с трибуны Петроградского Совета в общей сложности двенадцать часов за одни сутки! Измором брал!

Известный партиец М. С. Ольшанский писал о Троцком, что тот «врет ради процесса вранья, соврет и «забудет», опять соврет и опять «забудет». Или открестится от своих слов, вывернется как-нибудь». До чего же много общего с Иудушкой Головлевым, не правда ли? Отсюда и точное, несмываемое клеймо — Иуда Троцкий.

Выросший в семье со строгими еврейскими обычаями, где русским языком не пользовались, Лев Давидович почти двадцать лет провел в чужедальних странах. Что он знал о народах России, об их боли, их нуждах и интересах? А ничего. Плевать ему было на русских и украинцев, на татар и азербайджанцев, на киргизов, чувашей, армян и всех других. Он в глобальном масштабе мыслил об угнетенных, этот политический гастролер. Намечалась удача — спешил к нам в Россию, чтобы не прозевать, захватить пост повыше. А в опасное время отсиживался в удалении, отдыхал на тучных капиталистических нивах, жирок накапливал. Еще и Ленина поучать и направлять пытался, всюду лез со своими замечаниями, показывая, что и он тоже трудится на благо пролетариата. А вот русскому Калинину или грузину Сталину некуда было бежать, никто не ждал их за границей с распростертыми объятиями. И не стремились они дезертировать с поля боя, мужественно несли тяжкий крест неравной борьбы с царизмом.

Есть разница?!

Какова же все-таки цель Льва Давидовича, ради чего вел он жестокое, затянувшееся сражение не только внутри партии, но и на международной арене? Этот вопрос я задал Иосифу Виссарионовичу, когда он предупредил о предстоящей встрече с Троцким на нашей квартире. Я должен был присутствовать при беседе. В качестве кого? «Роль секунданта вас устраивает?» —

полушутя ответил Сталин. «Но меня не устраивает, что я не в курсе дела». «Это поправимо»,— заверил Иосиф Виссарионович. Вот тогда я и получил с его слов некоторое представление о реальном троцкизме, о подоплеке происходящих событий.

Впрочем, к разговорам о троцкизме, о сионизме мы возвращались не один раз, я достаточно хорошо усвоил соображения Сталина по этому поводу. В двадцатых — тридцатых годах он частенько повторял четкую формулу: «Нет плохих или хороших национальностей, есть плохие или хорошие люди». И не только повторял, но и руководствовался на практике: ко всем национальностям относился одинаково, лишь к евреям, пожалуй, с некоторой предвзятостью и осторожностью. Говорил не без сарказма:

— В России еврейство не приживалось долго. Климат не тот — холодно. На фруктах, на дарах природы не просуществуешь — трудиться надо всерьез. Кроме того, после долгого татаро-монгольского нашествия, сплотившего в общей борьбе народ, русичи с недоверием относились к чужеземцам. Даже при Петре Первом, когда государственные «двери» были распахнуты настежь, когда хлынули немцы и датчане, голландцы,— даже тогда евреи почти не проникали в глубь России. Разве что единично, для разведки. На Украине приторговывали, занимались ростовщичеством, осваивали Бессарабию, черноморское побережье. Там же, на юге, расселились караимы, оставшиеся после распада Хазарского каганата, существовавшего на Северном Кавказе, на волжском Прикаспии. Количество евреев заметно возросло при разделе Польши, где их было много: с территорией перешли. Это можно считать началом массового проникновения евреев в Россию. Впрочем, они не торопились, уютно чувствуя себя в Западной и Центральной Европе, обзаводясь соответствующими фамилиями, чаще — немецкими. Из поколения в поколение их становилось больше. Назревала необходимость дальнейшего расселения, продвижения на восток. На «освоение» новых земель шла в первую очередь беднейшая часть еврейской общины. Терять нечего, а вдруг — найдешь?!

Слова Иосифа Виссарионовича не вызывали с моей стороны никаких возражений. Более того, я готов был развить его мысль таким образом. После разгрома Наполеона стала наша Россия самой могучей военной державой. И не только военной. Быстро развивалась экономика. Блистательных высот достигли многие виды искусства: литература, музыка, живопись. Девятнадцатый век стал золотым веком России, когда она десятилетиями возглавляла и вела за собой цивилизованное человечество. Наша промышленность могла выпускать что угодно: от паровозов, на которых ездила вся Америка, до прекрасных тканей; от самолучших артиллерийских орудий и огромных дредноутов до сложных, тончайших приборов. У нас родился электросвет, родилось радио. Американские Соединенные Штаты были еще в ту пору слабой страной. Нажились, разбогатели они на чужом горе во время мировой войны, сверхвыгодно торгуя оружием и продовольствием. Западная Европа одряхлела и топталась на месте, почти не пополняя своих экономических и духовных богатств. А огромная Россия, ставшая государством престижным и перспективным, манила к себе фантастическими природными кладами. Тем более что своих предпринимателей, спекулянтов в ней явно недоставало. Да и дельцы-то были неопытны, патриархальны, без широких международных связей. Русская интеллигенция почти не участвовала в управлении государством, отдавая свои силы служению народу, распространяя грамоту, культуру, науку, помогая крестьянству освободиться от безынициативности, оставшейся от крепостного права. Ну, не благодатные ли возможности, не благодатные ли обстоятельства для тех, кто не скован никакими правилами, кто стремился лишь к одному: нажиться, устроиться повыгоднее самому и устроить своих близких!

Русское правительство воздвигало на пути миллионов евреев, пытавшихся прорваться на просторы страны, крепкий заслон, определив черту оседлости, протянувшуюся через западные районы Украины и Белоруссии. Это — граница. За ее пределами, в глубине России, разрешалось селиться лишь людям образованным, одаренным, полезным государству. Много нареканий и проклятий раздавалось по поводу этой черты оседлости, но что в ней, собственно, было плохого? Каждый народ должен иметь какую-то основную территорию, трудясь там, жить за счет собственного производства. Сохраняются язык, обычаи, традиции. Возьмите хоть башкир, хоть хакассов, хоть азербайджанцев, хоть чукчей — разве они против того, что имеют свой район расселения, где основные вопросы решают единородцы, где изучают в школах свой язык, издаются свои газеты и книги? Это же превосходно! Но, оказывается, не для всех. Евреи отвыкли создавать, производить такие первичные ценности, как зерно, мясо, уголь, железо. Им нужна нация, обосновавшись в которой они могут торговать, развлекать, советовать, руководить. А поселившись кучно в местечках за чертой оседлости, они оказались в трудном положении. Рядом такие же «специалисты»: ювелиры, музыканты, маклеры, спекулянты, часовщики, организаторы, в лучшем случае сапожники и портные. Народ такой, что пенок не снимешь. А кто побогаче, кто поголовастей — получили разрешение жить в России. Они там инженеры, врачи, ученые, денежки у них шевелятся...

Конечно, я упрощаю, но хочу, чтобы читатель понял особенность обстановки: несколько миллионов евреев жили у нас плохо, всеми силами и средствами старались опрокинуть заслоны, хлынуть в российские города и веси, оттеснить с выгодных мест, с управленческих постов добродушных аборигенов, не имевших навыка в беспощадной борьбе на выживание.

Иосиф Виссарионович напомнил мне одну из заповедей сионистов: «Не еврейское имущество — свободное имущество». Эта циничная заповедь, не устаревшая и теперь, развязывает иудеям руки и избавляет от угрызений совести... А ведь в России нееврейского имущества было много!

Сталин рассуждал таким образом. Коренное население берет из окружающего мира лишь то, что нужно, инстинктивно заботясь о будущем, о внуках и правнуках. Тут жили предки, тут будут жить и потомки. А пришельцев это не заботит. Они нынче здесь, через полвека —

в другой стране. Пришельцам лишь бы взять. Вот они и раздергивают, растаскивают материальные и духовные ценности, составляющие национальное богатство страны. Торопятся, создают ажиотаж, развращают неустойчивую часть местной молодежи. Особенно проявилось это в Германии, где велика плотность населения, а природные ресурсы ограничены. Немцы веками привыкли к кропотливому труду, к бережливости, пунктуальности, а ведь эти качества не назовешь плохими. Немец рассчитывал возможности своей семьи, своего города на несколько поколений вперед. А пришелец в стремлении взять все сегодня путал его карты. Ловкий, смекалистый, привычный к деловому риску еврей начал вытеснять медлительного и сентиментального немецкого купца, провизора, интеллигента. И юристов, и артистов, и ремесленников. Вот и росла, копилась в Германии черная ненависть, на этом и сыграл потом Гитлер, объявивший евреев врагами рода человеческого.

Это не оправдание идеологии фашизма, это лишь объясне́ние.

В многообразной и огромной царской России, где природных богатств хватало для всех (только трудись!), деятельность сионистов была менее ощутима. Разве что в верхах: сионисты постепенно пробирались к руководству промышленностью, имея надежную поддержку богатых зарубежных предпринимателей. А трехмиллионная еврейская масса, томившаяся за чертой оседлости, напоминала сжатую до предела пружину, готовую при первой возможности распрямиться, сломать все барьеры. «Равноправие и еще раз равноправие: остальное сделаем мы сами!» — таков был лозунг.

Сталин хорошо знал идеологию и устремления руководителей мирового сионизма, таких, как пресловутый Герцель и иже с ним. Эти руководители мечтали о том, чтобы образовать постоянную богатую страну — базу для еврейства, рассеянного по всему свету, воссоздать «землю обетованную», где господствовали бы иудеи, а трудились представители других наций. Такая «обетованная земля» стала бы центром и штабом сионистского движения, туда сходились бы тайные и явные нити управления всей мировой экономикой, оттуда оказывалось бы влияние на политику всех правительств. Необходимость подобного государства была настолько злободневной, что руководители сионизма перешли от слов к делу, подыскивали территорию. Еврейские миллиардеры семейства Ротшильдов предложили использовать английскую колонию Уганду. Герцель даже соответствующее соглашение заключил с министерством колоний Великобритании. Но что такое в конечном счете Уганда? Клочок земли под жарким африканским солнцем. Предприимчивым людям не развернуться, если их много приедет. Расовая проблема опять же: как бы не занести в будущие поколения иудеев большой процент негритянской крови.

Начинание угасло.

Взгляды сионистов все чаще обращались к России. Богатство, территория, выгодные условия — это само собой. Кроме того, там много национальностей, легче действовать среди них. И обстановка подходящая: назревает бунт, революция, идет сложный процесс, результаты его будут зависеть от энергичных людей...

Руководители сионизма никогда не проявляли себя слишком открыто, не делали широковещательных заявлений. Поменьше слов — больше денег, так убедительней, считали они. Пример — Троцкий. Проведя за границей более пятнадцати лет, он никогда не испытывал финансовых трудностей. За это время он побывал в кабинетах всех ведущих сионистских деятелей в Париже и Лондоне, в Мадриде и Нью-Йорке. Он мог выступать под любым знаменем, мог выкрикивать любые лозунги — сионисты не только не мешали, но тайно способствовали ему во всем, потому что главная цель его полностью совпадала с устремлениями сионистов: создать богатое государство под их эгидой.

Сионисты радовались, что еврейская прослойка в России значительно возросла с началом мировой войны за счет беженцев из Польши, Прибалтики, Бессарабии, устремившихся в глубь страны, подальше от немцев. Фронты взломали черту оседлости, еврейские массы неуловимо и неудержимо, как ртуть, разлились по стране, концентрируясь там, где больше богатств или возможностей для карьеры. Старая власть в стране была уничтожена сверху донизу, новый аппарат управления, судебные, карательные и другие органы создавались с трудом, везде не хватало грамотных людей, желающих служить Советам. Иудею не требовалось даже проявлять особой старательности, чтобы занять перспективную должность. Он кто? Пролетарий, сын несчастного портного, которого беспощадно эксплуатировал царский режим. К тому же он представитель народности, угнетавшейся самодержавием и увидевшей солнечный свет лишь после революции. Ну, а еще он лишен предрассудков, имеет друзей на высоких постах.

За два-три года еврейские местечки обезлюдели. Оттуда вышло более половины новых руководящих кадров на всю страну и по любым отраслям, начиная от чекистов и кончая экономикой. От учителей до дипломатов. От директоров и начальников до идеологов. Еще процентов десять постов заняли латыши, немцы, венгры и лишь в волостях и уездах заметную часть руководителей представляли местные жители.

Сталин говорил: нельзя утверждать, что сионизм полностью поддерживал Октябрьскую революцию. Тактика мирового сионизма была скорее выжидательной. Точнее: благосклонно-выжидательной. Во главе нового государства — стоит еврей Свердлов. Прекрасно! Не ста ло Свердлова — всей Красной Армией, всей военной силой, всеми военными делами в стране руководит Троцкий. Вторая фигура после слабого здоровьем Ленина. Сам-то Владимир Ильич понимал, разумеется, ситуацию, но, вероятно, исходил из того, что в борьбе с врагами надо использовать всех возможных союзников и попутчиков.

Хочу особенно выделить вот что. Исходя все из той же формулы — «Нет плохих или хороших национальностей, есть плохие или хорошие люди» (с политической, разумеется, точки зрения.— *Н. Л.*) — Иосиф Виссарионович проводил четкую грань между евреями, как представителями одной из национальностей, и между носителями сионизма. Он говорил так: основная масса еврейского населения в ходе революции и после нее добилась того, чего хотела: равных прав, возможности

свободно работать, учиться, выбирать место и образ жизни. Они — как все. Другое дело сионизм, сионисты — ударный захватнический отряд мирового империализма. А Троцкий и его сторонники — это агрессивные агенты сионизма. За господство над Россией троцкисты ведут с нами непримиримый бой на всех бастионах: на экономическом, на идеологическом, национальном...

Большую ошибку допускает тот, кто считает Троцкого человеком недалеким, чрезмерно упрямым, как его изображают некоторые прямолинейные авторы. Лев Давидович был безапелляционен, нетерпим, полон спеси — это верно. Вел себя с вызывающей наглостью. На заседания Политбюро ЦК (даже при Ленине, а после Ленина еще чаще) приходил с толстым томом иностранного словаря. Пока дело не касалось лично его — сидел и демонстративно занимался, выписывал на узкий лист слова. Обсуждались важнейшие вопросы, а Троцкий лишь изредка поднимал голову, усмехался скептически, бросал ядовитую реплику и опять — за словарь. Все дескать, что вы говорите,— чепуха! Как надо поступать, знаю один я... До поры до времени Сталин терпел.

При всем том Лев Давидович обладал умом быстрым и гибким, имел разносторонние знания, когда надо — был мягок, обходителен, осторожен. В борьбе со Сталиным он не гнушался никакими средствами. Сегодня мог вылить на Иосифа Виссарионовича ушат демагогических помоев, а завтра всенародно раскаяться, взять свои слова обратно. Не сосчитать, сколько раз он признавал себя виновным, клялся исправиться. Таков один из его тактических приемов. В этом отношении Сталин выглядел чище и принципиальней. Россия представлялась Льву Давидовичу огромным испытательным полигоном, на котором он и его сторонники могут делать что угодно, учинять любые, хоть марксистские, хоть сионистские социальные эксперименты. Какой он видел нашу страну, каким представлял наш народ? Обратимся к его произведениям. Вот характерные цитаты.

«Она, в сущности, нищенски бедна — эта старая Русь... Стадное, полуживотное существование ее крестьянства до ужаса бедно внутренней красотой, беспощадно деградировано...» Ну каково, а? И еще: «Жизнь... протекала вне всякой истории: она повторялась без всяких изменений, подобно существованию пчелиного улья или муравьиной кучи...»

Одним махом зачеркивал Троцкий всю историю, всю культуру, все могущество древних славянских народов, распростерших свои крылья от Балтики до Тихого океана, обогативших мир несравненной музыкой, величайшей литературой...

А управлять этими народами, этими «темными массами», надо вот как: «Мы мобилизуем крестьянскую силу и формируем из этой мобилизованной рабочей силы трудовые части, которые приближаются по типу к воинским частям... Рабочая масса должна быть перебрасываема, назначаема, командируема точно так же, как солдаты».

Вот и весь сказ! А ведь это даже не аракчеевщина, а гораздо хуже — это элементарное рабство. Таким представлялся Троцкому результат революции, таким, в самом сжатом виде, было его кредо.

Конечно, Лев Давидович не считал, что сионисты должны занять все руководящие посты в социалистическом государстве. Невозможно это в многонациональной России. Нет, наряду с евреями Лев Давидович выдвигал и поддерживал представителей русской интеллигенции. Расчет был прост. Огромная страна потребует миллионов шесть руководителей для государства, промышленности, армии; деятелей науки и культуры. Самое большое — миллионов девять или десять элиты. При этом два-три миллиона евреев будут занимать ключевые посты и, связанные круговой порукой, явятся решающей и незыблемой силой. Весь прочий народ, получив элементарные блага и свободы, заинтересованность в производстве, останется той массой, которая будет создавать богатства и ценности, необходимые для страны, для обеспечения элиты. Отсюда и различные средства, возможности для укрепления мирового сионистского движения. Вполне вероятно, что Россия превратится в ту «землю-обетованную», о которой многие века мечтали евреи в диаспоре.

Вот документ, который Лев Давидович привез с собой из Испании и содержанием которого постоянно руководствовался в повседневной практике:

«ПИСЬМО КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИХ ЕВРЕЕВ К ИСПАНСКИМ

Дорогие братья в Моисеевом законе. Мы получили ваше письмо, в котором вы извещаете нас о муках и горе, которые вы переносите и которые нас заставляют так же страдать, как и вас. Мнение великих сатрапов и раввинов таково. Относительно того, что вы говорите, что король Испании заставляет вас сделаться крестьянами, сделайтесь таковыми, ибо вы не можете иначе поступить. Относительно того, что вы говорите, что вас заставляют покинуть ваше имущество, сделайте ваших сыновей купцами, чтобы у них (испанцев) мало-помалу отнять их имущество. Относительно того, что вы говорите, что у вас отнимают вашу жизнь, сделайте ваших сыновей врачами, аптекарями и вы отнимете у них их жизни. Относительно того, что вы говорите, что они разрушают ваши синагоги, сделайте ваших детей священниками, теологами, и вы разрушите их церкви. Относительно того, что они причиняют вам другие мучения, старайтесь, чтобы ваши сыновья были адвокатами, прокурорами, нотариусами и советниками, постоянно занимались государственными делами для того, чтобы, унижая их, вы захватили эту страну, и вы сумеете отомстить за себя. И не нарушайте совета, который мы вам даем, чтобы вы путем опыта увидели, как вы из презираемых станете такими, с которыми считаются.

Хосе Мария Сберби. «Всеобщий сборник испанских выражений». Т. 10. Мадрид — 1878 г.».

Понимая, что со Сталиным шутки плохи, что почва все более ускользает из-под ног, Троцкий одну за другой выдвигал идеи, на первый взгляд интересные, вроде бы даже полезные, но в конечном счете сводившиеся к одному: к усилению влияния сионизма. Вот, казалось

бы, чисто теоретический вопрос: Лев Давидович принялся утверждать, что социалистическая революция в одной стране, в том числе и в России, победить не может. Власть, дескать, взяли, но если не победит революция во всей Европе, то и у нас социализм не устоит перед консерватизмом, пролетариат просто доведет до конца буржуазную революцию, и только. А кто не верит в это, болен национальной ограниченностью.

Вот как закручено. А суть-то простая. Революция у нас не разобщила, не разъединила коренные народы. И чем дальше, тем больше выдвигались на руководящие посты национальные кадры. А ставленников Троцкого становилось меньше. Следовательно, в России главной сионистской задачи не решить. А если победит революция во всей Европе (надо помочь в этом), то для общего руководства обязательно потребуется определенная организация, состоящая из самых активных интернационалистов. В каждом из государств есть евреи, они прежде всего сомкнутся в руководящую силу. Короче говоря — в России установить сионистское господство трудно хотя бы потому, что в республиках почти нет евреев. А в каждом европейском государстве они имеются. Поэтому всеми средствами надо сближать Россию с Западной Европой.

Вместе со своими сторонниками подготовил Троцкий потрясающий по цинизму проект декрета «О самой угнетенной нации». Утверждая, что евреи везде и всюду, особенно в России, подвергались самому тяжкому гнету, преследованиям и унижениям, авторы проекта требовали теперь для еврейского населения особых льгот и прав: при получении жилой площади, при поступлении в учебные заведения, при выдвижении на руководящие посты и т. п. И многое было достигнуто ими за счет такой вот ошеломляющей наглости, вопреки установленному в стране полному равноправию всех народов.

С русским человеком, которого можно обвинить в великодержавном шовинизме, упрекнуть в принадлежности к «господствующей» нации, Троцкому и его сторонникам сражаться было бы проще, чем со Сталиным. Ведь Иосифу Виссарионовичу великодержавный шовинизм не припишешь, он — грузин. И ярлык националиста не навесишь, он не Грузией руководит, не за интересы этой республики воюет, он за всех.

Сталин находился у власти и думал не о себе, а об интересах партии и государства, не отделяя себя от них, не ища каких-то корыстных целей. Он стремился к тому, чтобы страна была богатой и сильной. Троцкий же рвался к рулю ради себя и ради идеи, чуждой и даже враждебной нашему государству. Иосиф Виссарионович имел сильную поддержку внутри страны. Троцкий — за рубежом. В России количество сторонников Льва Давидовича во второй половине двадцатых годов заметно уменьшилось, но вели они себя шумливо и нагло, будто в преддверии решающего сражения. Грозились в скором времени взять реванш...

Особенно распоясались сионисты на Правобережной Украине, ближе к польской границе, чувствуя поддержку из-за кордона. Многочисленные подпольные организации сионистов действовали там почти открыто. Молодые евреи разгуливали с желтыми могендоведами — шестиугольными звездами на груди. Это — отличительный знак принадлежности к высшей всемирной нации (так что не гитлеровцы придумали выделять евреев среди других людей, приказывая носить желтые звезды. Пальма первенства принадлежит самим сионистам).

В Каменец-Подольске и ряде других городов бушевали митинги и еврейские демонстрации, раздавались с трибун выпады против Сталина и вообще против Советской власти, зато в избытке были портреты Троцкого. Звучали призывы установить связь с Вейцманом, Бен-Гурионом и остальными сионистскими лидерами, координировать с ними действия.

Молодчики с шестиконечными звездами не то что предлагали, а безапелляционно требовали создать для евреев особую автономную республику со своим правительством и даже указывали территорию: от Одессы до Гомеля с центром в Виннице (или хотя бы от Винницы до Черного моря). Украинцев при этом не спрашивали, согласны ли они. В общем, это была та же идея Троцкого о воссоздании «земли обетованной», только начинаемая с малого. Освоить эту территорию, потом расширить ее границы.

Даже угрозы звучали: не будет своей республики у теплого моря, молодые евреи уедут в Палестину, на древнюю прародину, чтобы организовать там иудейское государство. (Действительно, уехали многие, когда на Украине ничего не вышло, а Троцкий вынужден был покинуть нашу страну.)

В массе своей евреи не очень-то стремились к собственной государственности, понимая отрицательные для себя последствия. Придерживались старого сионистского тезиса: для евреев государство — весь мир, граница пролегает там, где есть хоть один иудей.

И все же обстановка сложилась такая, что я не мог не обратиться к Иосифу Виссарионовичу. Пришел к нему с картой, положил на стол.

— Взгляните, где проходили наши рубежи в четырнадцатом году. Далеко на западе. Здесь — со Швецией. Здесь — с Германией, аж за Варшавой. Здесь — Австро-Венгрия. За горами, за долами. На далеких землях воевали. А теперь? Белофинны в одном переходе от Ленинграда. Возле Минска — белополяки, от станции Негорелое до столицы Белоруссии им, по сути дела, тоже один бросок. И прямой путь на Смоленск, на Москву. Почти к допетровским пределам ужаты мы.

— Все это нам известно,— сказал Сталин.— В чем дело, Николай Алексеевич?

— В том, что в случае войны трудно нам будет на этих направлениях. В относительной безопасности только южный фланг, расстояние от границы до Киева дает возможность иметь крепкую оборону, позволяет осуществлять маневрирование. Но если там возникает сионистская республика, эта территория будет для нас потеряна. Сионисты мгновенно найдут общий язык с капиталистами, мы и глазом не успеем моргнуть, как вражеские войска окажутся на подступах к Киеву. Как мы будем тогда строить свою стратегию? Как будем защищаться?

— Дорогой Николай Алексеевич, часто ли, с вашей точки зрения, я поступаю несообразно, а, проще говоря, делаю глупости?

— Случается, что перестаю понимать вас.

— А вы постарайтесь понять. Чтобы остановить натиск сионистов, нам приходится вести гибкую политику, используя всю политическую палитру, от обещаний до самых крутых мер. Из этого исходите. А насчет границ можете не беспокоиться. Спасибо за напоминание. Мы сделаем все, чтобы противник не придвинулся к нам ни на один шаг. Более того, мы постараемся отодвинуть рубежи на максимальную дистанцию, как было прежде.

— Дай-то бог! Но когда это будет?

— Наберитесь терпения, Николай Алексеевич. Я вам обещаю это. А я не уважаю людей, которые не выполняют своих обещаний,— с улыбкой заключил Иосиф Виссарионович.

Слова Сталина несколько успокоили меня, однако за развитием событий я продолжал следить внимательно. Белополяки исподволь подтягивали к нашей границе отмобилизованные дивизии. Они находились в полной готовности и могли в любой момент начать боевые действия. А повод всегда найдется. Спровоцировать конфликт могли те же украинские сионисты. И особенно, конечно, Троцкий. Я при каждой возможности напоминал Сталину об этом.

— Да, двум медведям не ужиться в одной берлоге,— посетовал Иосиф Виссарионович.

— На медведей вы оба не очень похожи,— не без иронии ответил я.— Медведи решают спор раз и окончательно. Рев, драка, кровь, шерсть летит — до победы или до бегства одного из них.

— Хотите сказать, что мы смахиваем на шакалов, которые никак не могут поделить кость?

— Ради бога, Иосиф Виссарионович, неужели я так дурно воспитан?! Не только друзья меня выбирают, но и я выбираю себе достойных друзей. А если вам необходим пример из жизни животных, то, скорее, собака и шкодливая кошка: ненавидят, но живут в одном доме.

— Вы правы, этому надо положить конец,— кивнул Сталин,— хотя бы один из нас должен быть медведем.

— Троцкий совершенно не подходит для такого амплуа. Хитер и вертляв.

— Наши мнения совпадают,— усмехнулся Иосиф Виссарионович.

На следующий день состоялась их последняя встреча, не отмеченная в анналах истории, но имевшая существенное значение для дальнейшего хода событий. Лев Давидович, не зная, куда его привезли, настороженно и удивленно рассматривал скромное убранство нашей квартиры. Выглядел он после неофициальной ссылки в Алма-Ату очень неважно, жизнь крепко побила его. Какой-то нахохлившийся, помятый. Веки припухшие. Меж бледных щек — вислый банан носа. Глаза скрыты стеклами пенсне. Бородка совсем жидкая: даже не бородка, а воинственно и нелепо торчащий клок волос. Шевелюра же по-прежнему густая, седеющая. Сняв хромовую куртку и кожаную фуражку, он потирал руки и слегка покусывал губы, нервничая.

Находясь на трибуне, произнося горячие речи, сам распаляясь от них, Лев Давидович производил, особенно издали, некоторое впечатление, а вблизи, рядом со спокойным, основательным Сталиным — смотреть не на что. Особенно теперь. Издерганный, взвинченный. Как же он при всем том управляется, извиняюсь, с несколькими любовницами? Что им нравится в нем?! Его известность, положение, возможности, деньги?

О любовных приключениях Льва Давидовича ходили анекдоты и легенды, веселившие публику. Он не считался ни с чьим мнением, но от этого мнения не переставали существовать, работая отнюдь не в его пользу. Троцкий предпочитал блудить с еврейскими женщинами вольного поведения, не ведавшими нравственных ограничений. Не случайно, значит, попадались ему особы крикливые, ухватистые. Переспав с ним ночь, почти каждая во всеуслышанье объявляла себя женой «самого Троцкого». Эти многочисленные «жены» добивались привилегий, писали заявления, скандалили в учреждениях, осаждали резиденцию Льва Давидовича. Даже коменданту Кремля приходилось урезонивать их. Мерзопакостно все это было.

Как и положено хозяину, Иосиф Виссарионович, принимая гостя в своем доме, был учтив, вежлив, однако не называл Троцкого ни по фамилии, ни даже «товарищем». «Вы» — и все. Пригласил к столу Льва Давидовича и сопровождавшего его мужчину, скорее даже парня лет двадцати пяти, типичного русича: светловолосого, голубоглазого, с простодушной улыбкой на курносом лице. Этакий вроде был увалень из вологодских или архангельских лесов, но, чувствовалось, смекалистый и себе на уме. Он тогда очень понравился мне и жалею, что не довелось повстречать больше.

С этим своим то ли секретарем, то ли телохранителем Лев Давидович разместился по одну сторону стола, мы с Иосифом Виссарионовичем — по другую. Сталин наполнил бокалы мускатом, предложил тост за обоюдополезное взаимопонимание. Троцкий лишь пригубил. Все остальные выпили. Парень — с явным удовольствием, и принялся закусывать фруктами.

— Слишком много сил, слишком много времени тратится на наши внутренние раздоры,— без всякого предисловия начал Иосиф Виссарионович.— Наша партия и наше государство страдают от бесконечных споров. Едва завершается одна дискуссия, вы навязываете следующую. Опять начинается разброд. Мы топчемся на месте, вместо того чтобы идти вперед.

— Ваши предложения? — быстро спросил Троцкий.— Перемирие? Спокойная жизнь? На какой платформе?

— Вы мешаете партии достичь поставленных целей.

— Конечная цель — ничто, движение — все,— автоматически повторил Лев Давидович свой постулат.— За каждым перевалом — новый перевал, за каждым достижением — новое достижение. Иначе застой...

— Эти слова мы слышали много раз,— поморщился Сталин.— Если так рассуждать, можно утратить всякую перспективу и сидеть, сложа руки. А мы не сложим. Мы укажем народу ясную дорогу, по которой он должен идти.

— Именно вы? — ехидно усмехнулся Троцкий.

— Да, именно мы, последовательные большевики-ленинцы,— голос Сталина звучал жестко.— И мы боль-

ше не намерены терпеть тех, кто ставит палки в колеса, кто добивается своих эгоистических целей.

У Троцкого дернулись плечи, он хотел возразить, но промолчал, лишь сильнее прикусил нижнюю губу. А Сталин продолжал тихо и твердо:

— Ви-и знаете, что я не бросаю слов на ветер. Терпение наше истощилось. Окончательно истощилось,— подчеркнул он коротким, резким движением руки.

— Это угроза?

— Это предупреждение. Самое последнее предупреждение. Уезжайте к своим. Вам есть куда уехать, вас примут с распростертыми объятиями, а мы не будем чинить препятствий. Поймите раз и навсегда: идеи сионистов у нас не пройдут.

— Но не пройдет и идея грузинского господства!

— Такой идеи просто не существует,— ответил Сталин.— Мы интернационалисты в самом широком смысле, и в этом наше великое превосходство. Ибо национализм вообще, а сионизм в частности — это последний бастион, на котором капиталисты постараются дать коммунистам решающий бой. И вы это прекрасно понимаете. А если не понимаете, то тем хуже для вас.

— У этой проблемы есть несколько различных граней,— начал Троцкий, но Иосиф Виссарионович перебил его:

— Дискуссия не состоится! Их было достаточно. Хватит!

Следя за их разговором, я, разумеется, был полностью на стороне Иосифа Виссарионовича, однако ощущал при этом некоторую горечь: будущее нашего Российского государства по иронии судьбы пытались решать эти двое: еврей и грузин, а мы с вологодским парнем присутствовали в качестве безгласных статистов, как фон. Вероятно, и парень почувствовал это, перестал есть, не улыбался больше, слушал сосредоточенно, поглядывая на Сталина, пожалуй, с большим уважением, чем на своего шефа.

Об этой горечи, об ощущении несправедливости я сказал Иосифу Виссарионовичу, когда мы остались одни. Он ответил не сразу. Подумал, взвешивая слова:

— Что лучше, Николай Алексеевич, алчные, искушенные в наживе типы, которые не имеют здесь никаких корней, способные хлынуть сюда со всего света и растащить, разбазарить все, что только возможно, или небольшой трудолюбивый народ, кормящий сам себя, связанный с русским народом общностью истории, общностью экономики, общей религией? Народ-брат, который никогда не враждовал со старшим братом и не ищет выгод за его счет?! Кто действительно лучше: ставленник мирового ненасытного сионизма или сознательный интернационалист, представитель небольшого дружеского народа?

— Могу сказать только одно,— ответил я,— с уважением и доверием отношусь к товарищу Сталину. К вам, Иосиф Виссарионович. Это все.

Он улыбнулся:

— Ви-и правы. Среди грузин есть и такие представители, как лидер меньшевиков Ной Жордания, строящий нам всяческие козни из Парижа... Чем он лучше сионистов? — И, помолчав, Сталин повторил: — Вы правы, спасибо. Постараюсь доставить вам как можно меньше разочарований.

Прошло несколько месяцев после этого разговора, и Троцкий неожиданно, без всяких объяснений, покинул Россию[1]. Иосиф Виссарионович был очень доволен. А я, улучив момент, поинтересовался: не задумывается ли он над тем, что Троцкий, находясь в полной безопасности за границей, может натворить изрядное количество гадостей? Не лучше ли было бы как-то ограничить его здесь, в своей стране? Оставить бы его в Алма-Ате, где он находился некоторое время...

— Нет,— решительно ответил Сталин.— Конечно, самый лучший враг — мертвый враг. Но за спиной Троцкого стоят внушительные силы, способные причинить нам большие неприятности.— Секунду поколебавшись, объяснил откровенно: — Они дали мне знать об этом без обиняков. Это было похоже на ультиматум, Троцкий слишком развяжет язык, здесь остались заложники, много заложников. Борьба еще не закончена. Троцкий сам написал своим сторонникам: «Непримиримая борьба должна быть рассчитана на долгий срок». Мы готовы...

— Лев Давидович отдыхает теперь на теплом океанском берегу и радуется небось своей счастливой звезде, строит новые планы.

— Ему рано радоваться,— усмехнулся в усы Сталин.— И планы его несбыточны.

Иосиф Виссарионович имел превосходную память, не забывал обид и не расточал напрасных угроз. Когда развернется вторая мировая война, роскошествовавший в Мексике Лев Давидович под шумок будет окончательно сброшен с политической сцены. В августе 1940 года его убьет ударом альпинистской кирки молодой испанец Рамон дель Рио Меркадер: его мать — Коридад была любовницей нелегально работавшего за границей полковника НКВД, имевшего несколько фамилий. Отсидев много лет в мексиканской тюрьме, Меркадер жил потом в нашей стране, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Умер на Кубе в 1978 году, унеся с собой подробности смерти Льва Давидовича. Но это уже события другого плана, выходящие за рамки нашего повествования.

Надобно упомянуть еще не о прямом, а о косвенном влиянии, которое оказал Троцкий на Сталина и на проводимую им политику. Борьба за власть в партии и государстве, навязанная Троцким, продолженная его сторонниками, ожесточила Иосифа Виссарионовича, сделала его нетерпимым к любым отклонениям от намеченной линии. Не будь такой ожесточенности, постоянного ожидания подвохов, пакостей, заговоров (это привело со временем к болезненной мнительности), мы не испытали бы, вероятно, страшных репрессий тридцатых годов, а если испытали бы, то не в такой мере.

И еще, Троцкий стремился «объединить» нас с мировым пролетариатом, ослабить нашу армию, открыть границы, пустить к нам западных предпринимате-

---

[1] Решение о высылке Л. Д. Троцкого за пределы СССР было принято ОГПУ в январе 1929 года. (*Примеч. автора.*)

лей, главным образом могущественных капиталистов-сионистов. В противовес этому Сталин вынужден был проводить политику замкнутости, изоляционизма, опираясь во всем лишь на внутренние резервы. Это постепенно стало его правилом, не всегда помогавшим делу. Он допускал перехлесты в борьбе, за которые трудно винить одного Иосифа Виссарионовича. Значительная вина лежит на тех, кто разжигал и поддерживал эту борьбу: это, разумеется, ставленник мирового сионизма Троцкий и те люди, которые осмысленно или бессознательно поддерживали его.

Для полного понимания наших с Иосифом Виссарионовичем взаимоотношений следует постоянно иметь ввиду одно существенное обстоятельство. Кроме полного доверия и уважения друг к другу, Сталин очень ценил мою безусловную правдивость. Я не хотел, да в силу своего характера просто не мог скрывать собственные мысли, говорить не то, что думаю, отказываться от сложившегося у меня мнения под чьим-то давлением. Нет, только если переубедят вескими доводами. А поскольку мы со Сталиным многое воспринимали и расценивали по-разному, то споры, столкновения происходили у нас постоянно.

Человек твердых решений, Иосиф Виссарионович, один раз и навсегда отказавшись от своего «Плана автономизации», принесшего ему столько забот и неприятностей, последовательно и принципиально руководствовался ленинскими указаниями насчет объединения советских республик и строительства нового социалистического государства. А оно росло. В мае 1925 года в состав СССР вошли Узбекистан и Туркмения. В 1929 году — Таджикистан. Постепенно страна приближалась к своим прежним границам, хотя до полного воссоединения всех оторванных или оторвавшихся частей было еще далеко.

Вот парадокс: Сталин если в душе не распростился с идеей «автономизации», то никогда не вспоминал о ней и добросовестно выполнял заветы Владимира Ильича. А я, в спорах с Иосифом Виссарионовичем, зачастую приводил его прежние доводы. Я считал, что допущена ошибка, причем такая, которая будет сказываться долго и обойдется нам дорого. Несколько раз перечитывал оглашенное делегатам XII съезда РКП(б) письмо Ленина «К вопросу о национальностях или об «автономизации». Некоторые доводы представлялись мне слишком категоричными и односторонними. Возможно, я не прав, но никто пока не сумел доказать мне этого. Развитие событий — тоже.

Владимир Ильич в своем письме говорил: долгие годы господства большой нации над малыми, последствия проводимой ее правящими кругами политики великодержавного шовинизма оставляют такой глубокий след, такую стену взаимного недоверия и отчуждения, устранить которые сразу, одним только провозглашением и даже соблюдением формального равенства наций, невозможно. Нужно, кроме этого, добиться, чтобы отношение большой нации к ранее угнетенным народам, ее заботливость и особая чуткость к ним, к их национальным чувствам возместили то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены правительством «великодержавной» нации.

Полно, отчего это русские, украинские, белорусские рабочие и крестьяне (я не разделяю эти народы; они неразрывны не только по своему славянскому корню, но и жили всегда одной жизнью, с одинаковым укладом, порядком, правилами), отчего эти рабочие и крестьяне, подвергавшиеся такому же угнетению со стороны правительства, как и все другие народы, должны вдруг отвечать за действия этого самого, ими же свергнутого, правительства?! Совершенно новая Советская власть, откинув все прошлое, отказалась платить абсолютно все долги самодержавия. Так почему же русские, украинцы, белорусы должны платить по национальному векселю, к которому они, повторяю, не имели никакого отношения! Нелогично и обидно для наших народов, что выставлялись они угнетателями национальных меньшинств. А какой шовинизм, какое порабощение с их стороны могли быть? Разве где-нибудь в шинке, в кабаке один рабочий, подвыпив, назовет другого косой мордой, так ведь оба они в таком состоянии, что и не разобраться, кто из них и впрямь косой, а кто нет.

Да и вообще, был ли он, пресловутый великодержавный шовинизм по отношению к народам Российской империи? Это я не к тому говорю, что люди, мол, хорошо жили. Нет, многие жили плохо, бедно, особенно крестьяне центральных и северных губерний России: и земли неважные, и близость властей сказывалась. У русских, белорусских, украинских тружеников было не больше (а то и меньше — при крепостничестве) прав и льгот, чем у всех других народов. Вот евреев действительно ограничили чертой оседлости, поэтому они и кричали о шовинизме. Но если уж считать, что Россия была тюрьмой народов, то в первую очередь она была тюрьмой для русских, украинских, белорусских трудящихся. В таком духе я и вел разговоры со Сталиным.

— Вот вы грузин,— сказал я ему.— Согласитесь, что грузинский крестьянин или рабочий никогда не жил хуже русского крестьянина или рабочего. Трудились одинаково, бастовали в защиту одних и тех же требований. О каком притеснении, покорении, порабощении можно вести речь, если Грузия вошла в состав России не только добровольно, но и по собственной инициативе, обретя тем самым защиту от врагов, столетиями опустошавших ее, устраивавших кровавую резню? Скажите, каких прав, имевшихся у русских и украинцев, не имели грузины? Вот вы из простой семьи, а в духовную семинарию были приняты, могли при желании достигнуть высот духовной власти.

— Думаю, что у грузин нет в этом вопросе никаких претензий,— ответил Иосиф Виссарионович.

— А у кого они есть? У армян и азербайджанцев, у которых дела обстоят точно так же? Или, к примеру, у калмыков, которые во всем уравнивались с казаками, вели свободный образ жизни, имели скота, сколько душа пожелает?! А может быть,

у финнов, сохранивших абсолютно все свои обычаи, имевших даже собственную конституцию? О народах Средней Азии вообще не может быть никакой речи, они вошли в состав нашей страны недавно, влияние России почти не чувствовалось, если кто и эксплуатировал их, так только местные богатеи. Как грелись мусульмане под теплым солнцем возле мечетей, как кормились щедрыми дарами своей южной земли, так и продолжали, только в более спокойной обстановке, защищенные русским солдатом от набегов с юга, от колонизаторской политики англичан. Узнали бы они хоть не надолго, каков колониализм в Индии, тогда бы сравнили. А вот хлеб научили их сеять русские переселенцы, от эпидемий избавили русские врачи, первые школы открыли русские интеллигенты.

— Послушаешь вас, так вообще никакой эксплуатации не было,— словно бы подзадорил Сталин.

— Нет. Я говорю о том, что русский, украинский, белорусский народы находились в совершенно одинаковом положении с другими народами. Больше того: ряд малых народностей, особенно на северо-востоке, пользовались привилегиями и льготами, которых не имели жители центральных губерний. Якуты, например, не служили в армии, с них брался чисто номинальный налог, жили они как хотели. Так почему же теперь мы, русские, должны расплачиваться за обиды и ущемления, которые были нанесены или якобы нанесены правительством в «историческом прошлом»?

— Большие нации должны быть великодушными и чуткими, чтобы иметь полное доверие и полную дружбу со стороны малых народов.

— Что же теперь, танцевать перед ними, заискивать?

— Заискивание тоже унижает,— сказал Сталин.— Надо понять: чем меньше народ, тем ревностней заботится он о своей самобытности, о независимости. И для этого, Николай Алексеевич, есть основания. Малому народу трудней сохранить себя, свою культуру, отсюда болезненное самолюбие, обостренная подозрительность.

— Да, основания в принципе имеются,— согласился я.— Но не в нашей стране. Никто не покушается на самобытность даже самого малого народа. Наоборот, Советская власть дает им все возможности для развития. Даже за уши тянет тех, кто не спешит развиваться. И никто не возражал бы, коль скоро речь шла бы только об этом, об одинаковых условиях для всех наций, но почему русские, украинцы, белорусы должны чувствовать себя виноватыми перед другими народами? Почему мы должны теперь отдавать средства, чтобы поднять выше своего уровня уровень Грузии и других окраинных республик, где рабочие и крестьяне живут не хуже, а даже лучше, чем у нас?

— Потому, что интернационализм доказывается не словами, а делами,— сказал Сталин.

— Но интернационализм — не улица с односторонним движением. Всё на окраины и ничего в центр! Другие народы должны благодарить русских уже за то, что мы на своих плечах вынесли всю тяжесть мировой и гражданской войны, которая почти не затронула Закавказье и практически не задела Среднюю Азию. Что-то никто не торопился помочь нам в двадцать первом — двадцать втором годах, когда на берегах Волги погибли от голода шесть миллионов русских крестьян. Дети и женщины. Шесть миллионов, дорогой Иосиф Виссарионович, не считая искалеченных на всю жизнь физически и душевно. Или что: чем больше передохнет «великодержавных шовинистов», тем лучше?!

— Успокойтесь, Николай Алексеевич,— нахмурился Сталин.— Возьмите себя в руки и не впадайте в крайность. Другие народы помогали в меру своих возможностей.

— Ну, возможности-то были, только меры оказались не слишком действенными. На Кавказе наслаждались шашлыком из баранины, в Средней Азии фрукты гнили, а в Поволжье трупы некому было хоронить. Минимум шесть миллионов,— повторил я.— В десять раз больше, чем погибло за все сражения гражданской войны!

— В смерти голодающих Поволжья повинны не народы других республик, а создавшаяся обстановка и наша государственная неорганизованность, неумение собрать и доставить в срок необходимое продовольствие.

— Допустим, была из ряда вон выходящая ситуация,— согласился я, сдерживая свое раздражение.— Но вот теперь идет обычная жизнь. И что же? В каждой, даже самой малой республике, меньшей, чем российская область, есть свой центральный партийный орган, есть правительство, которое защищает перед центром экономические и политические интересы своего народа. Там кусок на общегосударственные нужды не урвешь. Только интересы русского народа некому защищать. С русскими губерниями центральное правительство что хочет, то и делает, произвольно и безнаказанно.

— Такая структура сейчас наиболее уместна,— сказал Сталин.

— Для кого? Для русского народа?

— Для всей страны.

— Ерунда и безобразие! — не сдержался я.— Почему мы должны везти всех в рай на своем горбу, изнывая от тяжести?! Самое страшное, что теперь происходит, это даже не политическое ущемление русских, а тот грабеж, который развернулся в наших губерниях и на Украине.

— Не слишком ли громкое слово «грабеж»? — прищурился Сталин.

— Другого определения не подобрать. Нам-то с вами к чему дипломатия, Иосиф Виссарионович! Можно понять, когда молодая республика гребла из центральных губерний все в годы гражданской войны. Больше негде было брать. А что дальше? Восстановление хозяйства, развитие,— и опять в ответе за все те же Россия, Украина, Белоруссия?! Выкачиваются ценности из церквей и музеев, из хозяйств и семей. Богата, очень богата была наша земля! Повсюду дворянские имения, дворцы, прославленные церкви, зажиточные купцы, справные мужицкие дворы, масса заводов и фабрик! Несть им числа! Со времен разгрома татаро-монгол, на протяжении пя-

тисот (пятисот!!!) лет копилось, оседало по городам и весям страны нашей добро. От каждого урожая, от продажи скота, леса, пеньки, угля, пушнины, железа и многого прочего десятилетиями, столетиями складывалось наше национальное состояние, от рубля к рублю, превращаясь в золото и серебро, в драгоценные произведения искусства, в тучные стада, в обихоженные луга, пахоту и леса. Не грабежом, не насилием, а честным трудом крестьян и ремесленников были созданы наши богатства. Вот они-то как раз и пошли в распыл! Во всех уездах и городах реквизировали, изымали драгоценности, вплоть до серебряных ложек. И не секрет для вас, Иосиф Виссарионович, что занимались этим главным образом люди, близкие к Троцкому, его посланцы, умевшие заботиться не только о государственной казне. Если не половина, то, во всяком случае, значительная часть огромнейших реквизированных богатств осела в их карманах. Сам Троцкий, кстати, присвоил себе ценнейшую коллекцию марок, принадлежавшую Николаю Второму. Сейчас начинают всплывать наши богатства в Париже и в Лондоне. Банкиры-сионисты многомиллионные состояния на них делают и будут делать, и многое еще уплывет из нашей страны...

— И все же вы преувеличиваете, Николай Алексеевич,— сказал Сталин.— Некоторое количество картин и драгоценностей мы вынуждены в закрытом порядке отправить за границу и продавать с аукциона в Германии, Франции и Америке. Товарищ Микоян занимается этим. Нужна валюта.

— Хотя бы Третьяковскую галерею не грабили!

— Мы стараемся сохранить самое лучшее,— ответил Сталин.— Но эти аукционы дают нам треть всей валюты. Она нужна для строительства заводов и электростанций.

— Это и есть грабеж национальных ценностей! То, что уплывает сейчас, никогда не вернешь. Ради сиюминутных интересов мы обогащаем капиталистов. Потомки не простят нам этого,— продолжал я, волнуясь.— Разве можно жить за счет прошлого, за счет ценностей, накопленных многострадальным трудом все тех же русского и украинского народов?! Или грузину Джугашвили и армянину Микояну безразлично все это? — сознательно уколол я.

Сталин сдержался. Голос его звучал даже спокойней обычного:

— Продажу мы будем сводить до минимума.

— Шапку Мономаха-то, надеюсь, не продадите, не обменяете на два токарных станка?

— Нет, Николай Алексеевич,— еще более хладнокровно произнес Сталин, хотя и чувствовалось, что он кипит гневом.— Ми-и будем отрывать руки тем, кто использует ценности не для обогащения государства, а для собственных нужд.

— Слишком много рук, все не поотрываем,— горько усмехнулся я.— Да и богатства уже не у тех, кто реквизировал на местах, растеклось по родственникам, переправлено за границу. Лет через пятьдесят внуки и правнуки эмиссаров Троцкого будут покупать себе автомашины и дачи, котиковые манто и бриллиантовые ожерелья...

— Я разделяю ваше недовольство,— сказал Сталин. Мы решительно закроем шлагбаум перед бесчестными приобретателями.

— Каким образом? Внуки, родственники найдут оправдание. Наследство от дедушки — и взятки гладки! К тому же это лишь один канал утечки богатств, есть и другие, совершенно официальные, утвержденные руководящими органами. Наши советские рубли плывут и плывут от центра на окраины.

— Что вы имеете в виду?

— А хотя бы заводы, переведенные из РСФСР и Украины в Туркмению, Таджикистан, Грузию и другие республики. Может, там заводы позарез нужны? Да там даже кадров для них нет, они наполовину простаивают, а в тех городах, откуда их вывезли, квалифицированные специалисты остались без работы, обивают пороги биржи труда. Это черт знает что!

— Это перераспределение материальных ресурсов,— сказал Сталин.— Необходимо создать равные материальные возможности.

— Не разрушайте то, что есть, что работает, приносит доход. Приспичило, так стройте на новом месте новые предприятия. А вы идете по самому легкому пути: из России — в республики. Хоть наполовину заштопать дыру.

— Резонно,— согласился Иосиф Виссарионович.— Это мы уже учли и сделали выводы. Лучше, выгоднее вкладывать средства в создание новых предприятий.

— Слава те господи, что дошла до умов такая элементарная истина. Если бы сразу! Но опять же какие средства-то? Из нашей Российской Федерации?

— Нет, вы, безусловно, пристрастны, Николай Алексеевич, и я ценю у вас именно это,— улыбнулся Сталин.— В своих симпатиях вы неизменны.

— Не пристрастия — истина! — горячо возразил я.— Вот моя записная книжка. Официальные данные. РСФСР считается наиболее развитой республикой, и поэтому в ее бюджет отчисляется только 64,3 процента поступлений промыслового налога. Остальные 37,7 процента переводятся в общегосударственный бюджет и используются на нужды других республик. А ведь у нас своих внутренних национальностей-то сколько? От долган на севере до осетин на юге! В бюджете же других республик налоговые отчисления остаются полностью. Но и это еще не все. Это еще цветочки! От сумм однократного обложения, которые производятся по особым случаям, в бюджете РСФСР остается лишь 54 процента. В бюджете Туркменистана, Закавказской федерации — 75 процентов. Кроме того, союзным республикам ассигнуются добавочные средства из союзного бюджета на ирригацию, строительство железных дорог, на перевод кочевого населения к оседлости и т. д. и т. п.! Вот еще цифры, чтобы сразу отделаться от них: за два года расходы на развитие народного хозяйства увеличились в центральных районах РСФСР примерно на 50 процентов, а в Узбекистане в 2,5 раза, в Туркмении в три раза. И это все за счет центра! На кой черт нам такое равноправие и где же тут справедливость, Иосиф Виссарионович?! — закончил я свою несколько сумбурную и слишком горячую речь.

А у него словно бы совсем спало напряжение, он заговорил, будто рассуждая с самим собой:

— Это ведь как смотреть, Николай Алексеевич. Не тот ли самый великодержавный шовинизм, с которым мы боремся, говорит сейчас в вас?! Ведь государство — это дерево, которое должно развиваться пропорционально, и ствол, и ветви.

— Если ветви слишком разрастаются, они перестают приносить плоды. Тяжелеют и обламываются.

— Мы будем следить, как садовник наблюдает за своим садом.

— В конечном счете не страшно; пусть отломится один-другой сук... Непоправимо другое: вдруг омертвеет ствол, на котором все держится. Погибнут все ветви.

— Ми-и понимаем это,— сказал Сталин.

Нет, я не переоценивал значение наших, порой случайных, разговоров, бесед. Иосиф Виссарионович терпеливо (хотел сказать «охотно», но это не совсем верно) выслушивал мое мнение, но поступал так, как считал нужным. Заслугу свою я вижу лишь в том, что раз за разом привлекал его внимание к болевым точкам, пытался показать ему события в разных ракурсах. Однако не преуспел. Свидетельство тому — резкий упадок развития Российской Федерации по сравнению с другими республиками, что ощущалось уже перед войной и особенно заметно стало в послевоенные годы. Еле-еле справившись с разрухой, федерация наша, всем помогавшая и ни от кого ни имевшая помощи, так и не смогла обеспечить своему населению того уровня жизни, который был достигнут в республиках Закавказья или Средней Азии. Когда в причерноморских городах царило полное изобилие, в Поволжье хлеб выдавался по карточкам. Где уж было подняться трем республикам: российской, украинской и белорусской, наиболее пострадавшим от войны и продолжавшим нести на себе основной груз государственных забот и расходов! О господи! Взять хотя бы налоги на косточковые плодовые деревья. Это же смех сквозь самые горькие слезы! Копейки выжимало Министерство финансов. В Средней Азии, на Кавказе было изобилие фруктов. В Грузии сады вообще не облагались налогами, выращивай и продавай мандарины, груши, виноград, лимоны. А в центральных областях люди платили даже не за яблони, нет: за сливы, за вишни. Вот до чего озверел министр финансов Зверев! А кому охота платить сверх меры, где взять деньги? Ну и пошли под топор почти все сады в нечерноземной и черноземной зонах России. На огородах одна бузина уцелела. И безналоговая рябина.

Видели вы крестьянские дома на Кавказе, на черноморском побережье? Это же виллы, особняки, коттеджи! А в российских деревнях даже через двадцать лет после войны можно было встретить избы, крытые соломой, с земляным полом. В райцентрах и по сию пору стоят повсюду древние покосившиеся домишки, окруженные такими же покосившимися заборами. Чтобы убедиться в этом, садитесь-ка вы, начальнички, в свои комфортабельные лимузины и прокатитесь хотя бы по районным городам и поселкам столичной области, не говоря уже о других областях.

Мой старый знакомый, хороший экономист, подсчитал: если принять средний материальный уровень жизни в Российской федерации за единицу, то на юге Украины этот уровень равен двум единицам, в Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, Киргизии — двум с половиной — трем единицам, а в приморских районах Грузии и Азербайджана этот уровень за счет южных фруктов, теплого моря и северных курортников достигает четырех единиц. Со всеми, как говорится, вытекающими последствиями.

Для сравнения приведу еще одну цифру: в 1925 — 1929 годах Туркмения удовлетворяла сама лишь одну десятую часть своих экономических потребностей. Девять десятых необходимого для этой республики завозилось из центральных областей. Так был заложен фундамент благосостояния.

Ничего не скажешь: щедро и с лихвой «расплатились» трудящиеся России за долги, которых никогда не делали, за политику царского правительства, к которой не имели никакого отношения, за непомерно раздутые легенды об угнетении национальных меньшинств. Лишь спустя много лет спохватились: засыхает ствол, гибнет, пропадает наше Нечерноземье!

13

После смерти моей жены Кати я на некоторое время особенно сблизился с семьей Иосифа Виссарионовича. Кормилица и няня маленькой Светланы, деревенская женщина с щедрым сердцем, уроженка рязанских краев Шура Бычкова очень помогла мне в самом начале пестовать дочку. Надежда Сергеевна постаралась, нашла степенную, образованную, а главное — заботливую воспитательницу, жившую прежде в хорошем дворянском доме, а после революции пробавлявшуюся случайными уроками музыки и французского языка. Она была довольна, что обрела тихую пристань, и вскоре очень привыкла, привязалась к моей дочке. Я радовался тому, что это чувство оказалось у них взаимным.

Все тихо и мирно было в семье Сталина в ту пору; с конца двадцать шестого по двадцать восьмой год. Бегал и шалил шустрый, разбалованный Вася. Редко поднимался на второй этаж Яков, проводивший свободное время в своей келье: единоборствовал с боксерской грушей, вырабатывая упорство и силу, либо сражался за шахматной доской с сыновьями Михаила Ивановича Калинина Сашей и Валерианом, жившими по соседству.

Новый семейный росток, любимица отца и матери, рыжеватая улыбчивая Светлана, начавшая ходить и лепетать, сблизила своих родителей, сгладила противоречия. Это был период, когда Надежда Сергеевна смогла подавить в себе метания и поиски. Во всяком случае, Иосиф Виссарионович, обретя крепкий тыл, заметно взбодрился, чаще шутил и вообще выглядел

человеком совершенно нормальным, даже добродушным и чутким. Это, в свою очередь, отражалось на деятельности партии, государственных учреждений, на всей жизни страны. Люди повсюду начали оправляться, приходить в себя, после долгих войн, переворотов, терроров, угроз, смертей, грабежей.

Ощущался какой-то стабильный порядок, какая-то законность. Торговля росла, везде появлялись продукты.

Упаси бог, я не связываю все напрямик с положением в семье Сталина. Нет, время наступило такое: затишье после шквала. Но в стране, где все нити власти сосредоточены в руках одного человека с крутым характером, физическое и психическое состояние этого человека, колебания его настроения тоже имеют существенное значение.

А между тем в семье Сталина назревал новый кризис, хотя Иосиф Виссарионович не догадывался об этом. Правда, он злился и хмурился порой, если в Москву из Ленинграда приезжал знакомый Нади, с которым она когда-то училась, дружила в ранней молодости. Иосифу Виссарионовичу неприятны были их встречи, он считал, что Надежда слишком откровенна с этим посторонним человеком и слишком уж весела с ним.

Одно время к ним на квартиру часто захаживал сосед — Серго Орджоникидзе, и Сталин вроде бы даже ревновал его. Но все это было мимолетно и полушутливо. И гром грянул не из новой тучи, а все из того же облака.

Днем Шура Бычкова ушла, как обычно, гулять с детьми, но что-то случилось у Васи: пуговица оторвалась или подтяжка, и они возвратились в неурочное время. Василий ворвался в комнату матери, няня вошла следом и обнаружила там Надежду Сергеевну и Якова в положении несколько странном для обычной беседы. Разумеется, няня-кормилица промолчала бы, но Вася проявил столько удивления и любопытства, что было ясно: на его роток никакими силами не накинешь платок. И Надежда Сергеевна, со свойственной ей решительностью, дождалась поздно вечером мужа и сама начала разговор. Может, хотела представить картину в более-менее приемлемом свете. Но это — мое предположение. Знаю лишь, что объяснение было бурным. Удар оказался совершенно неожиданным для Иосифа Виссарионовича и поэтому особенно болезненным. Он конечно отпускал ядовитые насмешки, говорил резко и грубо, чем подлил масла в огонь.

Вспыхнула и выплеснулась у Надежды Сергеевны злость к человеку, которого перестала любить и терпела возле себя лишь ради детей. Под горячую руку наговорила она Иосифу Виссарионовичу много такого, что трудно простить, а тем более забыть. Ей, может быть, даже легче стало после подобного откровения. А Сталину было очень горько, очень плохо. Но самым страдающим, самым уязвленным в этой истории оказался невезучий Яков Джугашвили. То дорогое и нежное, что было в нем, теперь выставлялось напоказ, на укор и насмешку людям грубым и черствым. И вину свою, конечно, чувствовал он перед отцом, перед Надеждой Сергеевной, перед всеми. В такой тупик загнал себя Яков своими мыслями, переживаниями и раскаянием, что выход оставался только один. Думал он, что нажатием курка принесет облегчение себе и всем, да еще, может, и пожалеют его. Простодушный идеалист не способен был взять в толк, что Сталина, кроме личных неприятностей, беспокоила еще внешняя сторона этого дела. Если скандал получит огласку, обретут козырь в борьбе за власть политические противники. Всеми силами стараясь замять, заглушить конфликт, даже на людях хотел появиться с Надеждой Сергеевной, чтобы продемонстрировать благополучие, а Якова черт подтолкнул взяться за револьвер.

Рука у юноши тряслась, с оружием обращаться он не умел и, думаю, впал в обморочное состояние раньше, чем грянул выстрел. Метил Яков в сердце, но пуля лишь пропорола кожу. И радость, и стыд испытал он, очнувшись. Теперь был двойной позор: подумают люди, что нарочно учинил такую душещипательную мелодраму. Но стреляться во второй раз было выше его сил. Да и револьвер отобрали, а у кровати его неотлучно дежурили то родственница Сванидзе, то кто-нибудь из Енукидзе, то Зинаида Гавриловна Орджоникидзе.

Вечером Иосиф Виссарионович пригласил меня поехать с ним: тягостно ему было возвращаться домой. Я трясся рядом со Сталиным в машине, с ненавистью думая о том, сколько сил и здоровья отнимают у него многочисленные милые родственники — пропади они пропадом вместе со своей мелкотравчатой возней и бессмысленными переживаниями!

Машина остановилась. Иосиф Виссарионович вышел. Потоптавшись, шагнул к двери, ведущей на первый этаж. В комнате Якова мы появились неожиданно, без стука. Очередная дежурная — носатая, черная, в черном платке,— молча поднялась со стула и с видом оскорбленного достоинства проследовала в коридор.

Испуганный Яков, без кровинки в лице, приподнялся на кровати, заискивающе глядя на отца. Иосиф Виссарионович при посторонних никогда не говорил по-грузински, но тут случай был особый, как можно больней хотел хлестнуть сына. Бросил презрительно:

— Какой ты мужчина! Даже выстрелить не мог как следует!

Повернулся на каблуках и вышел стремительно!

После этого прискорбного случая Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна продолжали жить вместе, соблюдая внешние формы супружества, но вряд ли можно было назвать их мужем и женой. Несли, как могли, свой семейный крест. Яков вскоре уехал в Ленинград. К Василию мать и отец относились одинаково прохладно. Если что и было у них общего, так это привязанность к подраставшей Светлане.

Для Иосифа Виссарионовича столь нелепая семейная обстановка обернулась периодическими обострениями его душевной болезни. Надежде Сергеевне тоже было несладко. Металась, ища свое место под солнцем, стараясь занять себя работой, учебой. Прогрессировало расстройство нервной системы.

14

Товарищ Эрнст неплохо владел русским, но говорил столь горячо, взволнованно, что путал наши слова с немецкими, безбожно калечил фразы. Иосиф Виссарионович, не понимавший половины сказанного, пригласил меня в качестве переводчика. Разговор этот происходил у нас в квартире и не протоколировался; он был продолжением официальной беседы, состоявшейся в ЦК, причем продолжением, вероятно, более откровенным, без оглядки на присутствующих, на стенографистку.

Эрнст убеждал Иосифа Виссарионовича, что рабочий класс Западной Европы расколот надвое, расходует силы в междоусобной борьбе, и не только из-за реформистов. Сами, мол, углубляем пропасть...

— Но мы не можем и не должны замазывать наших разногласий с социал-демократами,— сказал Сталин.

— Не должны,— согласился Эрнст.— Немецкие коммунисты хорошо помнят, что еще в двадцать четвертом году вы охарактеризовали социал-демократию как умеренное крыло фашизма. Мы помним ваши слова о том, что нужна не коалиция с социал-демократами, а смертельный бой с ними, как с опорой фашистской власти. Но сейчас расколом среди рабочих Европы активно пользуются Гитлер и Муссолини, этот раскол на руку им, они напрямик ломятся вверх. Только единый, сплоченный рабочий класс может остановить их. Перед напором фашизма меркнут наши противоречия.

— Не меркнут, а становятся еще заметней,— возразил Иосиф Виссарионович.— Социал-демократия как раз и есть питательная почва фашизма. Это одна сторона. Но имеется и другая. Гитлер и Муссолини — лишь частный случай. А социал-демократия — это постоянный фактор, влияющий на рабочее движение во всем мире, расчленяющий это движение и ослабляющий нас, коммунистов. Это наш постоянный конкурент и противник. Именно поэтому мы будем вести с социал-демократией сражение до полного искоренения.

— Но это способствует укреплению фашизма!

— Гитлер и Муссолини — временные фигуры на историческом горизонте,— повторил Сталин.— Такие, как они, появляются и исчезают бесследно. А социал-демократы чем дальше, тем заметней приносят нам вред и будут приносить все больше. Они пытаются разрушить главную нашу платформу. Для победы над нами мы можем позволить себе временный блок с любыми союзниками.

— Я понимаю вас, когда смотрю на события отсюда, из Москвы. Принимаю логику ваших рассуждений. Здесь — стратегия. Но когда находишься там, где идет бой, многое выглядит иначе. Особенно у нас в Германии.

— Почему именно в Германии? — спросил Сталин.

— Мы, немцы, гораздо дисциплинированнее французов или англичан, мы привыкли точно выполнять указания. Решение Коминтерна о борьбе с социал-демократами воспринято нашими коммунистами как приказ: хочешь не хочешь, а действуй. И мы выступили против своих же товарищей-рабочих, против друзей, вместе с которыми еще недавно поднимали красное знамя революции, сражались на одних баррикадах. Со своей стороны, социал-демократы обижены и оскорблены тем, что мы объявили их вольными или невольными пособниками фашизма.

— У рабочих должна быть только одна партия — Коммунистическая партия,— сказал Сталин.

— Но какой ценой! Рабочий пошел у нас против рабочего, брат против брата. Мы деремся между собой, а громилы-наци делают свое дело. Адольф Гитлер близок теперь к власти, как никогда.

— Немецким коммунистам сейчас особенно трудно,— подтвердил Сталин.— Немецкие коммунисты оказались между двух огней. Но яростная борьба только закаляет партию. Отсеется весь мусор, останется здоровое ядро, и мы еще посмеемся вместе над нашими страхами и над Гитлером,— улыбнулся Иосиф Виссарионович.

— Пока что Гитлер смеется и над нами, и над социал-демократами,— невесело ответил Эрнст.— Получается так, будто мы сами расчищаем ему дорогу.

— Это явное преувеличение.

— Во всяком случае, мы не способны теперь оказать фашистам решительного сопротивления...

Немецкий товарищ столько раз и с такой горечью, с такой ненавистью повторил во время разговора новое для меня имя — Гитлер,— что оно с того дня врезалось в мою память.

15

Сельское хозяйство больше всего беспокоило теперь Сталина, членов Партбюро и вообще всех руководителей, не лишенных способности размышлять. Деревня совершенно отбилась от рук. Получив землю, мужик распоряжался ею по своему разумению, заботясь лишь о своих нуждах, не думая о том, как кормить город и армию, снабжать сырьем промышленные предприятия. Пущай, мол, государство этим антиресуется, а наше дело маленькое: чтоб в избе сыть да тепло, чтоб на базаре лишек продать, а взамен керосина приобрести, серников, сахара да одежонку кое-какую, вот и вся азбука. После долгого многовекового угнетения тешился теперь крестьянин полной свободой и независимостью.

Вообще-то положение с продовольствием в стране было вполне сносное, народ давно оправился от страшной послевоенной голодовки. Зерна хватало и людей накормить, и скот, и птицу, да еще и за рубеж продавали наш хлебушек. Например, зимой 1926—1927 годов заготовленного государством хлеба было 596 миллионов пудов. Из них продали за границу 153 миллиона пудов — подкармливали Европу в обмен на промышленные товары. Посевная площадь достигла довоенного уровня, зародилась идея освоения целины. Хлеба производилось почти столько же, сколько и до мировой войны — около 5 миллиардов пудов. А вот заготавливалось вдвое меньше довоенного уровня. Почему? Да потому, что до революции подавляющую часть товарного хлеба давали крупные помещичьи и кулацкие хозяйства: у них машины применялись, урожай был высокий. А теперь в стране насчитывалось до 25 миллионов мелких крестьянских хозяйств, и они работали в основном на себя,

обеспечивали собственные нужды. Редкие островки слабых еще колхозов и совхозов не могли существенно влиять на сложившееся положение.

Выход виделся только один: создавать на новой основе крупные, экономически выгодные хозяйства.

Иосифа Виссарионовича, любившего четкость и порядок во всем, раздражала и злила неуправляемость, анархичность огромной, неорганизованной, непонятной ему крестьянской массы. Она почти не зависела от партийного руководства, от государственного аппарата. Сталин даже опасался крестьянства, считая его оплотом тех деятелей, которые мечтали о реставрации капитализма в России. Иосиф Виссарионович едва сдерживал гнев, когда при нем говорили: давайте, дескать, развивать крепкие крестьянские дворы, уже теперь дающие значительную долю товарного хлеба. Чего их бояться, зажиточных семей-то? Они ведь не страшнее, не хуже городских предпринимателей, торговцев, которым дали свободу действий при нэпе и чья инициативность помогла восстановить нашу промышленность.

— Нет и нет! — решительно возражал Сталин.— В городе мы можем противопоставить мелкому капиталисту крупное социалистическое производство, дающее девять десятых всех товаров. А крупному кулацкому хозяйству нам нечего противопоставить, кроме совхозов и колхозов, но они дают пока в восемь раз меньше хлеба, чем кулаки. И влияние их соответствующее. Главная наша помеха — кулак. Его надо убрать с дороги.

— А есть что будем? — Этот вопрос не мог не интересовать меня.

— Мы объединим мелкие, распыленные крестьянские хозяйства в коллективы для совместной обработки земли. С применением сельскохозяйственных машин, тракторов, удобрений, с использованием научных приемов интенсификации земледелия. На практике покажем крестьянину преимущества коллективной работы, убедим его.

Так говорил Иосиф Виссарионович в двадцать седьмом — двадцать восьмом годах с высоких трибун, в частных беседах, и не было серьезных оснований не соглашаться с ним. Крупное хозяйство целесообразней мелкого? Безусловно! Однако действовать надо очень осторожно, без спешки. Ведь была уже в России попытка объединить крестьянские семьи, заставить крестьян работать сообща, по четкому распорядку, иметь общий скот...

— Когда? Где? — спросил Сталин.

— В первой половине прошлого века, в военных поселениях, насаждавшихся Аракчеевым, а затем Бенкендорфом. Крестьян переселяли в общие дома-связки, на работу отправляли каждый день по сигналу, трудились они по одному и тому же расписанию и в страду, и когда нечего было делать. Несогласных гнали в Сибирь. И пошло от такого, с позволения сказать, труда оскудение и разорение, продолжавшееся несколько десятилетий. А кончилось все бунтом, кровопролитием, возвращением к прошлому способу хозяйствования.

— У нас совершенно другие цели, совершенно другая основа,— возразил Иосиф Виссарионович.— Мы заботимся прежде всего об интересах народа.

— Тут важен сам принцип,— упорствовал я,— принцип полной осознанности и заинтересованности. Вы, конечно, знаете о полководце Отечественной войны фельдмаршале Барклае-де-Толли?

— Слышал.

— Оный фельдмаршал, Михаил Богданович, человек насквозь военный, и тот возмущен был чрезмерной заорганизованностью крестьян, усматривал в этом один только вред. Вот его слова.— Я полистал блокнот.— Михаил Богданович писал, что успех может быть только там, где «земледельцу дана совершенная свобода действовать в своем хозяйстве, где он не подвержен никакому стеснению в распоряжении временем как для земледельческих работ, так и для других занятий и позволенных промыслов, где повинности, на него возложенные, не превышают сил и способностей его и где, наконец, есть полная уверенность, что оседлость и приобретенное временем и трудом имущество останутся непременно потомственным наследством не в ином, а в его роду, и никакое самовластие не может лишить поселянина этих прав...». Думаю, что фельдмаршал весьма и весьма близок к истине.

— Сапожник рассуждает о выпечке пирогов,— усмехнулся Иосиф Виссарионович.— Оставьте, пожалуйста, мне эту цитату.

Я оставил. А чего добился? Сталин поступил как раз противоположно тому, что утверждал Михаил Богданович. И еще — у Сталина сложилось почему-то превратное мнение о Барклае-де-Толли, и он навсегда зачислил фельдмаршала, вполне порядочного человека, в разряд «махровых реакционеров».

В ту пору мне ближе и понятней были устремления не Иосифа Виссарионовича, а главного в нашем правительстве знатока русской деревни Михаила Ивановича Калинина. Он настойчиво подчеркивал, что крестьянин должен войти в колхоз или совхоз только добровольно, без подпихивания, иначе он и работать не будет. Мужик должен сам понять, что в колхозе ему лучше — тогда дело станет надежным.

Мы с Михаилом Ивановичем несколько раз беседовали на эту тему, исходя не из теории, как Сталин и Микоян, а из практического опыта, из понимания особенностей деревенской жизни. Хочу отметить, что Калинин редко и неохотно употреблял слово «кулак», заменяя его определениями «справный хозяин», «самостоятельный крестьянин». Оно и верно. Октябрьская революция уравняла всех, богатеев и бедняков, поставив их на одну исходную линию. Все крестьяне получили одинаковые возможности, одинаковое количество земли на человека. Бывшие бедняки при этом имели даже некоторые преимущества. А вот распорядились-то крестьяне землей по-разному, и очень скоро, за несколько лет, стало ясно, кто способен к труду, а кто неисправимый бездельник, неудачник, пропойца. Начав с одного уровня, деревня опять стремительно расслоилась на три основные категории. Тот, кто работал, не щадя себя, и, как говорится, живот надрывал — тот быстро окреп. Но это в основном был уже не прежний кулак, даже по своему корню. Добротным хозяйством обзавелись вчерашние бедняки и середняки. Много было и тех, кто со всей страстью сражался с белогвардейцами за

землю и волю, а теперь с такой же страстью обрабатывал свой надел. Как же назвать таких людей врагами новой власти? Тем более что сама власть еще недавно поощряла их, призывала давать как можно больше продуктов, сырья. Да и вообще, как определить ту ступень, до которой крестьянин еще не кулак, еще свой человек, а не лютый враг?! Лишней мерой зерна? Лишней коровой? Зыбкий критерий. На Кубани, к примеру, средним считалось хозяйство с парой лошадей, с двумя-тремя коровами, с упряжкой быков, с овцами. Среди скотоводов юга человек с сотней овец слыл чуть ли не бедняком. А где-нибудь возле Вологды, в нечерноземье, крестьянина с двумя лошадьми, с коровой и телкой записывали в кулаки. Ну, и бедняк стал, конечно, совершенно не тот. Советская власть всем дала возможность трудиться, а уж как ты эти возможности используешь, это твое дело. Всегда обнаружится изрядное количество людей безответственных, равнодушных, ленивых, привыкших существовать на авось, не думая о завтрашнем дне. Перекантуются как-нибудь на подхвате, за счет куска с богатого стола. Эти люди неисправимы и неистребимы, они были, есть и будут, и чем зажиточней общество, тем таких бездельников (в разной форме) становится больше. Уже в шестидесятых годах было подсчитано и опубликовано, что восемьдесят процентов всех дел в нашей стране осуществляют двадцать процентов работников, из них примерно половина представители умственного труда. И лишь двадцать процентов дел со скрипом осуществляют остальные восемьдесят процентов трудоспособного населения. А вот потребляют и те и другие практически одинаково!

Еще одну особенность деревенской жизни обсуждали мы с Михаилом Ивановичем Калининым, а потом он и я, каждый в отдельности, говорили об этой особенности Иосифу Виссарионовичу. Сельское хозяйство, при своей внешней грубости, простоте, вроде бы даже примитивности — структура очень уязвимая, очень тонкая, чувствительная к любому вмешательству, легко ранимая. Сельское производство меньше всего поддается строгой регламентации, планированию, то есть всему тому, что так любо и приятно было Иосифу Виссарионовичу. Слишком много факторов влияют на урожай, на заготовку кормов, на продуктивность скота, причем влияют независимо от усилий руководства, от старания и желаний крестьян. Хотя бы погода. Засуха или ливень, заморозки или град — да мало ли еще что. Но это — лишь самая заметная, самая известная сторона проблемы. Есть и другие.

Труд рабочего и служащего можно организовать, направить, учитывать для справедливой оплаты. А жизнь крестьянина сообразуется только с условиями и требованиями его хозяйствования. В страдную пору хороший мужик работает неделями без отдыха, оставляя на сон несколько часов в сутки. Пашет, сеет, косит, скирдует, стараясь не упустить драгоценное быстролетящее время. Зато зимой, когда все убрано в закрома, все припасено и рассчитано, он может хоть месяц лежать на печи или гулеванить по родным и знакомым. Или на курорт ехать при новой-то власти. Он работает не для нормы, не для плана, а для конечного результата. Только при этом возможен успех. Крестьянин сам в ответе за каждый куст картошки, за каждый пшеничный колос. Он при прополке не выдернет вместе с сорняком морковку или свеклу, а ведь присланные ему на помощь горожане, случается, ополовинивают все поле. Скотина у хозяина накормлена, напоена и подоена своевременно.

И еще. Сельский труд очень тяжел, но он еще и радостен, притягателен: в отличие от рабочего и служащего, крестьянин создает, выращивает свое детище от начала и до конца, от зерна до плода. Это — процесс разнообразный, меняющийся, творческий, а творчество всегда затягивает, привлекает. Попробуйте сами посадить хотя бы грядку лука, ухаживайте за ней, поливайте, пропалывайте — и вы убедитесь, как приятно срывать сочные зеленые перья, какими вкусными они вам покажутся. Или вы, предположим, завели кошку, через год-другой так привязались к ней, что вроде бы и жить без нее трудно. А какова же привязанность и любовь крестьянина к теленку, которого взлелеял-выходил и который становится коровушкой-кормилицей!

К сожалению, коллективный труд, при всех его положительных качествах, ломает тонкую структуру крестьянского хозяйствования, переворачивает крестьянскую психологию, сложившуюся и окрепшую во многие века. В колхозе ты обрабатываешь сегодня одно поле, завтра — другое; сегодня работаешь на одной лошади или машине, завтра — на другой. И уже нет конечной цели, кроме заработка за сегодня, не видишь результатов своего труда. Ты свою часть поля вспахал хорошо, а другой холява и халтурщик, плохо. Ты укрыл трактор в сарае, а холява бросил его под дождем, в грязи, несправным. Ты повозмущался раз-другой-третий, а потом и сам остыл, стал равнодушным. «Отбарабанил» свое время, выполнил задание «от» и «до», сунул руки в карманы и пошел, насвистывая, гулять. Ты работаешь не на урожай, а на план, на ведомость. Колхоз заплатит. У колхоза денег не хватит — государство добавит. Продаст какое-нибудь полезное ископаемое, и подбросит.

Я думаю: надо было принять в колхозы самых добросовестных людей, способных работать на совесть. И в три шеи гнать лодырей, горлопанов, халтурщиков. Шли бы они в город, дворниками или подсобниками. А нет — надобно было искать какие-то особые формы, при которых общественные интересы полностью сливались бы с личными. Но такой подход, поиски лучших форм требовали терпения, а Сталин не хотел больше ждать. Время шло, крестьяне в колхозы не торопились. Иосифу Виссарионовичу надоела эта волынка, неопределенность. Успешно развернувшаяся индустриализация убедила его, что давление сверху, твердое руководство и жесткий контроль способны преодолеть все преграды, подавить врагов, скептиков, маловеров. Так и с коллективизацией: надо решить раз и навсегда. Сделать еще один переворот, теперь в сельском хозяйстве. Кулаков, имеющих влияние в деревне, способных противостоять указаниям властей, немедленно и полностью нейтрализовать. Всех остальных крестьян слить в четкие сельскохозяйственные подразделения, которые поддаются управлению и контролю.

Двадцать седьмого декабря 1929 года на конферен-

ции аграрников-марксистов Сталин объявил о своем решении начать сплошную коллективизацию. Тон его речи, слова, которые он использовал,— все свидетельствовало о том, что начинается не просто политическая или организационная кампания, а беспощадное сражение. «Срок последнего решительного боя с внутренним капитализмом уже наступил...» «Разбить кулачество в открытом бою...» «Ликвидировать как класс».

Этот резкий и неожиданный поворот по отношению к деревне вызвал недоумение и возмущение даже у некоторых соратников Иосифа Виссарионовича — из числа тех, кто еще позволял себе иметь собственное мнение. Михаил Иванович Калинин, не выступая открыто против линии Сталина, продолжал убеждать его: не нужно спешить, пороть горячку. У нас появляется все больше машин, денег, мы будем давать их колхозам, они окрепнут, станут привлекательными для крестьян. Придет момент — сами хлынут. И не следует огульно притеснять зажиточного самостоятельного мужика. Даже наоборот: разумно было бы привлекать наиболее дееспособных, хозяйственных, авторитетных крестьян на свою сторону, выдвигать их в руководство колхозами. Они лучше других могут организовать любую работу.

Дорогой Михаил Иванович в глубине души все еще оставался марксистом-идеалистом, не мог понять, что Сталин занимался не личностями, а классами. Решение принято: кулачество подлежит искоренению, а ты зажиточных мужиков намечаешь в руководство колхозами. Этак в погоне за целесообразностью грани классовой борьбы размыть можно. Нам требуются стопроцентные пролетарии, ничего не имеющие, которые получат от нас кое-что и, безусловно, пойдут за нами.

И другого не понял Михаил Иванович. Чтобы сразу поставить колхозы на ноги, требуется земля, нужна материальная база: общественные постройки, машины, скот. Где все это взять? Бедняк, середняк много в колхоз не принесет, дом свой под правление, под склад не отдаст. Значит, в каждой деревне, в каждом селе необходимо взять наиболее зажиточных крестьян, угнать их подальше, в Сибирь или на север, лес рубить, а имущество передать коллективному хозяйству, обратив в материальный фундамент, на котором можно начать строительство социалистической деревни.

До принятия окончательного решения Сталин довольно терпеливо и внимательно выслушивал мнения товарищей, но уж если решение было обнародовано, если он заявил о чем-то с трибуны или в печати, возражать было бесполезно. И опасно. Радетеля и ходатая по крестьянским делам — Михаила Ивановича Калинина — чтобы он не мешал действовать, Иосиф Виссарионович отправил на Кавказ подлечить здоровье. Калинин не хотел, возражал, но верные нукеры Сталина, образно говоря, подхватили главу государства под руки и быстро доставили к месту назначения. Тишина в горах, чистый воздух, полная отстраненность от дел, надежная охрана — чем не отдых?!

И началась в деревне великая ломка, о которой мы все знаем, последствия которой ощущаются до сей поры. За три-четыре месяца произошло столько событий, что их хватило бы на десятилетия. Из сельскохозяйственного производства была изъята наиболее энергичная и работоспособная прослойка (оказавшись в далеких суровых краях, эти деловые люди — кто уцелел — и их потомки быстро освоили новые места, особенно в Сибири). Вместо того чтобы зимой готовиться к весеннему севу, крестьяне ходили по бесконечным собраниям, спорили, колебались, поддавались панике, прятали добро, гноили зерно, чтобы не валить его в общий котел.

У Иосифа Виссарионовича очень развито было чувство новизны, стремление к самому высокому современному уровню во всем. В конце двадцатых — в начале тридцатых годов он руководствовался одной мыслью: или мы стремительно преодолеем расстояние, отделяющее нас от высокоразвитых капиталистических стран, или погибнем. Умозрительно я вполне воспринимал необходимость индустриализации, резкого подъема сельского хозяйства, но, вероятно, не мог подняться выше своего дворянского, офицерского разумения. Во многом я оставался человеком своего времени, паровоз и пулемет до сей поры мне гораздо ближе, чем самолеты или реактивные снаряды. Полностью сознавая, что будущая война будет войной моторов (всемирным испытанием для моторов!), я все же, во время коллективизации, очень беспокоился... о лошадях.

Да, в нашей аграрной стране за три года было забито около десяти миллионов голов крупного рогатого скота (это почти столько же, сколько имели все США), десять миллионов свиней, семьдесят миллионов овец и коз, мы стали производить сельскохозяйственной продукции в два раза меньше, чем в голодных 1918—1919 годах. Но я считал это страшное явление случайным и временным. Больше всего меня беспокоило то, что мы потеряли почти восемнадцать миллионов лошадей, особенно молодняка — почти столько же, сколько за всю мировую и гражданскую войны. Была подорвана основа нашей конницы.

Действительно, во время Великой Отечественной войны мы испытывали, особенно первые два года, острейшую нехватку в лошадях. Достаточно сказать, что только Монголия дала нам для кавалерийских соединений и для обозов около четырехсот тысяч лошадей.

Война с гитлеровцами окончательно добила наше конское поголовье. Наша страна, имевшая прежде самых лучших лошадей и в самом большом количестве, совсем оказалась без них. А вот весьма индустриализованные американцы и по сию пору имеют чуть ли ни десяток миллионов коней и свое воинское кавалерийское соединение. А мы только один кавалерийский полк.

Вернемся, однако, к коллективизации. Когда начал таять снег, встали вопросы: кто будет сеять? На каком тягле? Какими семенами? Если прежде все эти заботы лежали на множестве плеч, помаленьку давя на каждое, то теперь партия и государство взвалили груз на себя, стали ответчиками за все.

Меня, естественно, волновало то, как проводимая реорганизация отразится на боеспособности наших войск. Надо сказать, что русская армия испокон веков сильна была своими унтерофицерскими кадрами. Таких кадров не было в вооруженных силах никаких других стран, даже в Германии, где этому делу уделя-

лось большое внимание. На унтер-офицерах держалась у нас вся внутренняя служба, порядок, дисциплина, обучение молодежи, они непосредственно вели бой. Ведь у нас во многих частях даже не было взводных офицеров, взводами командовали унтеры, а молодые офицеры назначались сразу полуротными, то есть один на два взвода.

Унтеров готовили без спешки и тщательно, даже в военное время. Отбирали наиболее смекалистых, решительных, грамотных, направляя их в учебные команды. Там полгода занятий, затем экзамены. После этого присваивалось звание вице-унтер-офицера, то есть младшего командира без должности, и только положительно проявив себя на освободившейся должности, человек получал права унтер-офицера.

Кто энергичен, добросовестен, требователен на военной службе, тот и в мирной жизни таков. Унтеры старой армии, младшие командиры Красной Армии, люди, как правило, хозяйственные, честолюбивые, с организаторским опытом, вернувшись в деревню, быстро добивались успеха, выделяясь из общей массы. Об этом я и напомнил Иосифу Виссарионовичу. Он не сразу понял, к чему я клоню. Пришлось пояснить:

— В случае войны, если понадобится проводить широкую мобилизацию, наша армия останется без хребта, без младшего комсостава. Раскулачивание выкашивает его. Чтобы создать корпус опытных младших и средних командиров, потребуются долгие годы. И все равно таких закаленных кадров у нас не будет.

— Среди раскулаченных много младших командиров? — уточнил Сталин.

— Подавляющее большинство.

— А вы не преувеличиваете, Николай Алексеевич?

Сталин всегда с трудом воспринимал то, что не совпадало с его взглядами или просто было неприятно ему. Зная это, я заранее готовил точные сведения.

— По моей просьбе, Иосиф Виссарионович, проведена выборочная проверка в трех военных округах. Среди кулаков и подкулачников, выселенных за пределы Северо-Кавказского края, число бывших унтер-офицеров и младших командиров Красной Армии составляет почти девяносто процентов. В Курской области приближается к семидесяти процентам. Мы разрушаем опору.

— Спасибо, Николай Алексеевич, это очень серьезно,— сказал Сталин, расправляя чубуком трубки прокуренные усы.— Хорошо, что вы обратили на это наше внимание. Но что нам делать? Не возвращать же назад высланных? Что вы предлагаете?

— Увеличить количество полковых школ и курсов младшего и среднего комсостава, улучшить их обучение.

— Не возражаю. Подготовьте решение, мы согласуем его с товарищем Ворошиловым.

— Но это лишь полумера, Иосиф Виссарионович. У нас были бесценные кадры, и надо постараться сохранить хотя бы то, что еще не утрачено.

— Мы подумаем над этим,— согласился Сталин.

Действительно, через несколько дней Иосиф Виссарионович дал устное распоряжение не зачислять в кулаки и подкулачники младших и средних командиров запаса, отличившихся в боях гражданской войны. Распоряжение, разумеется, было хорошее, но слишком расплывчатое. Что значит «отличившихся» — это слово можно было толковать по разному. И поступило распоряжение с запозданием, когда основная масса раскулаченных была уже отправлена в холодные края. В промедлении усматриваю и свою вину: не сообразил, не осознал сразу...

Между тем, как говорится, весна вступала в свои права. Читая сводки о подготовке и развертывании посевной, Иосиф Виссарионович все больше мрачнел. В деревне полная неразбериха, деревня выявляет подкулачников, режет скот, сгоняет под одну крышу овец, коз, даже кур, ждет новых указаний. Кого еще разорять? И опасается: а вдруг действительно и баб велят сделать общими — последняя осталась собственность!

Разброд в деревне. А сорвется весенний сев, не будет урожая, где взять хлеб для рабочих, для армии? Сырье для промышленности? Это же какие вспыхнут скандалы! В некоторых районах обстановка накалена, можно ждать крестьянских восстаний. И Сталин дрогнул. Был момент, когда он даже испугался, реально представив размеры надвигавшейся катастрофы. Он заболел и несколько дней не появлялся в рабочем кабинете.

Надо было срочно принимать меры. После длительного «отдыха» с Кавказа доставили в Москву Калинина. Ему поручалось растолковывать, разъяснять новую политику в сельском хозяйстве. А дабы было что растолковывать и разъяснять, Сталин воспользовался старым проверенным приемом. В статье «Головокружение от успехов» он указал народу, на кого следует излить гнев, вызванный перегибами в колхозном движении. Это, мол, внутренние и внешние враги со своими подпевалами старались исказить намеченную линию, нарушали принцип добровольности, принудительно обобществляли жилые постройки, мелкий скот, домашнюю птицу. В общем, стремились своими провокациями рассорить крестьянство с Советской властью.

Сталину пришлось временно отступить, пожертвовав при этом частью партийных работников, действовавших на местах, но маневр оказался правильным и своевременным. Сам Иосиф Виссарионович после статьи выглядел носителем справедливости, а также лучшим, надежным и заботливым другом крестьянства. Это ведь тоже надо уметь — так сориентироваться!

Страсти постепенно улеглись, основная буря миновала, поверхность крестьянского океана успокоилась. За год-два коллективизация повсюду была завершена. А потом, как и следовало ожидать, наступил голод. Вся система сельского хозяйства была нарушена, и восстановить ее на новой основе было не просто. Резко сократились посевные площади, упала урожайность, в некоторых районах почти не осталось лошадей и крупного рогатого скота. Даже в таких богатых краях, как Украина и Кубань, люди умирали сотнями тысяч... В городах продовольствие распределялось по карточкам. Мне довелось тогда проехать по областям, охваченным голодовкой, и то, что я видел там, было, пожалуй, самым ужасным в моей жизни. Рука не поднимается писать об этом.

По приблизительным сведениям, голод 1930—1933 годов унес около семи миллионов жизней. Прибавьте к этому примерно семьсот пятьдесят тысяч уничтоженных кулаков и подкулачников. Еще несколько тысяч человек пострадало от кулаков, оказывавших сопротивление. Таков цифровой итог первой крупнейшей ошибки Сталина.

Да, ошибки! Я говорил об этом Иосифу Виссарионовичу и не считаю нужным скрывать свое мнение. Нельзя путать два аспекта. Безусловно, перевести нашу деревню на рельсы нового хозяйствования было необходимо, этого требовала жизнь. Но переводить-то можно по-разному, прежде всего учитывая интересы самих крестьян, проявляя терпение. Варианты могли быть разными... Требовался здравый смысл, гибкость, лояльность. А Сталин попытался решить эту важнейшую проблему так, как привык уже к тому времени решать все другие вопросы: приказом, силой, жестким давлением. А нажав — сломал.

16

Часто встречаясь со Сталиным, работая вместе с ним, я просто не мог не сравнивать Иосифа Виссарионовича с Владимиром Ильичом, и сравнения эти, увы, были не в пользу первого. Иные масштабы, иной калибр, прежде всего различия чисто человеческие. Ленин был по-российски широк душой, терпелив, разнообразен, щедр. Дворянин с хорошим образованием, выросший в интеллигентной семье, он обогатил себя не только революционной теорией, но и близким знакомством с жизнью российского, сибирского крестьянства, нацменов Поволжья, рабочих Питера, трудящихся ряда зарубежных стран. Он с одинаковым успехом дискутировал с умнейшими людьми на международных встречах и убеждал пролетариев в цеху. Мог беседовать по важнейшим теоретическим вопросам с Плехановым или Кларой Цеткин и встречаться с делегациями беспартийных крестьян, ничего не разумеющих в высокой политике. Причем выслушивал представителей не только одной стороны. Вот состав крестьянской делегации: два середняка, два кулака, два бедняка. Разве не самый лучший, не самый справедливый состав для выявления истины? Чтобы объективно разобраться в обстановке, Ленин не счел ниже своего достоинства пригласить из Тамбова крестьян, арестованных за связь с антоновщиной. Не для того, чтобы оправдать, отпустить их, произведя этакий великодушный жест: нет, Владимир Ильич хотел уяснить, что толкнуло крестьян на сторону восставших, сделать соответствующие выводы. Его сила была в понимании многообразия и сложности всего творящегося вокруг.

Ленин жил для народа, и об этом хорошо сказал Алексей Максимович Горький: «Я знаю, что он любил людей, а не идеи, вы знаете, как ломал и гнул он идеи, когда это требовали интересы народа...» Действительно, было так. А Иосиф Виссарионович (тоже ничего не желая для себя) жил прежде всего для идей, ради них, и чем дальше, тем сильнее верил, что разбирается в вопросах социализма и коммунизма, в практике коммунистического строительства лучше всех современников. Люди, с их разнообразными требованиями, поисками, сомнениями, житейскими заботами порой даже мешали ему осуществлять задуманные планы, четкие и грандиозные. Не все люди, а те, кто возражал, спорил, размышлял и вообще проявлял самостоятельность, то есть поступал так, как было при Ленине. А Сталину, у которого развилась раздражительность и подозрительность, казалось, что это выпады и козни лично против него. Много развелось противников и оппонентов, от них проще и надежней избавиться, чем переубеждать.

Чтобы поднять уровень жизни, одеть и накормить людей, Владимир Ильич мог решиться на такой смелый поворот, каким была новая экономическая политика. Он не боялся оживления капиталистических элементов в стране, так как знал: в любой исторический момент найдет выход из сложившейся ситуации. Он ценил конкретное дело, приносящее пользу. Он написал сердито и резко: «Все у нас потонуло в паршивом бюрократическом болоте «ведомств». Большой авторитет, ум, рука нужны для повседневной борьбы с этим. Ведомства — говно; декреты — говно. Искать людей, проверять работу — в этом все». И он действительно неустанно искал, находил, проверял, отбрасывал. Он был в движении. А медлительный, скрытный Сталин, не любивший крутых, неожиданных перемен, громких споров, надеялся как раз на обратное: на послушный аппарат, твердым каркасом охватывающий все стороны жизни в стране. И любыми путями старался укрепить, подчинить себе ведомства, все партийные и государственные организации сверху донизу.

Сила Ленина заключалась в мудрой гибкости, в способности уверенно ориентироваться при любой быстроменяющейся обстановке. Он сразу находил новые формулы для решения новых задач. А слабость его последователей проявлялась в том, что, не имея столь высоких умственных способностей и столь высокой нравственности, они не могли всякий раз находить при изменении условий новые методы, новые способы, пытались подогнать процесс жизни под устаревшие рамки. Ленин шел не от догмы, не от постулата, а от опыта, от реальной действительности. А Иосиф Виссарионович, усвоив какой-то вывод, какое-то правило, наметив определенную цель, упрямо стремился к ней, не считаясь с изменением условий, силой ломая любое сопротивление, заставляя людей преодолеть большие и порой совершенно ненужные трудности. Ярко проявилось это во время коллективизации, когда Сталин использовал одинаковые формы и методы для создания колхозов по всей обширной стране, без учета местных особенностей, обычаев, элементарной целесообразности.

Эпигоны всегда правоверней основоположников. Хотя бы потому, что основоположник живет поисками, сомнениями. Он борется, ошибается, созидает. Он не мнит себя святым. А эпигоны лишь хранят и развивают достигнутое, причем развивают, как правило, то, что понятней и выгодней им. На фундаменте, который в муках исканий создает основоположник, последователи строят дворцы собственного благополучия или крепости для ведения своей борьбы. Особенно заботятся о

целости и сохранности фундамента те, что ведут роскошную жизнь во дворцах. И чем бездарней эпигон, чем меньше в нем истинной веры, тем яростней цепляется он за каждую букву основоположника, видя в этом поплавок, удерживающий на поверхности политического потока. Черт с ней в конце концов, с истиной, она потерпит, было бы самому хорошо.

При Иосифе Виссарионовиче и после него было много подобных людей. Он боролся с ними, но они ловко маскировались и словами, и делами. В отличие от них, Сталин был честным и добросовестным учеником Ленина, он видел смысл своей жизни в осуществлении идей марксизма-ленинизма. Курс намечен был верный. А ошибаться человек может и на самом правильном пути, особенно если шагает первым, прокладывая дорогу в будущее.

17

В феврале 1931 года я прочел в газете речь Иосифа Виссарионовича на конференции производственников. Он говорил об экономической неразвитости нашей страны, о том, что Советская страна отстала «от передовых капиталистических стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Правильно было сказано, ибо страна, разрушенная войнами, гражданской междоусобицей, раздираемая внутрипартийной борьбой, слишком медленно восстанавливала и развивала свое хозяйство. Однако меня до глубины души возмутили такие слова Сталина: «История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били польско-литовские паны. Били японские бароны. Били все — за отсталость...»

Я подчеркнул эти фразы красным карандашом, показал Сталину и произнес с резкостью, которая, в общем-то, не свойственна мне:

— Вы не должны были говорить так.

— Почему? — Иосиф Виссарионович удивился моей запальчивости.

— Охаивать, очернять то, что было до нас, уже само по себе скверно.

— Классовая борьба продолжается.

— В любой борьбе нельзя унижаться до клеветы! (Сталин побледнел, но смолчал.) А здесь — ложь! — ткнул я пальцем в напечатанное.— За тысячу лет своего существования государство Российское, начав с маленького княжества, раздвинуло свои пределы до Балтики на западе и Тихого океана на востоке, от Северного полюса — до границ Индии, стало самой большой страной мира и, позволю себе заметить, самой сильной и самой просвещенной. У нас даже в глухой деревне двое из пяти мужиков знали грамоту. Мы, между прочим, и Аляской, и западом Америки владели. За ненадобностью и по глупости дешево отдали их торгашам, охмурялам из Вашингтона. И не нас били, а мы били и в конечном счете победили всех, кто посягал на нас, кого вы перечислили. И шведов, и французов, и турок, и немцев. Разве что перед японцами один раз, в пятом году сплоховали. А вы, Иосиф Виссарионович, походя, между прочим, ради эффекта, ради красного словца зачеркнули все это. И уж если быть справедливым, то как раз Советская власть, которую вы представляете и возглавляете, умудрилась за короткий срок растерять то, что было нажито столетиями, от наших богатств, от нашего золотого запаса, до территории. Это ведь после революции мы утратили Бессарабию и Польшу, Прибалтику и Финляндию, не считая всяких концессий и контролируемых территорий вроде КВЖД в Маньчжурии.

— Не моя вина,— нахмурился Сталин.— Вы знаете мою точку зрения на этот счет.

— Речь не о конкретных виновниках, меня поражает: как же у вас повернулся язык возводить такую напраслину? Даже в полемическом пылу нельзя топтать и пачкать то, что свято. Вы оскорбили, унизили наше прошлое, всю нашу историю, весь русский народ. Попробуйте спроецировать такую ситуацию на Грузию, сказать нечто подобное о грузинском народе, о его истории, и представьте себе, как это воспримут грузины!

Иосиф Виссарионович помрачнел. Злость была в карих глазах. Промах свой он сознавал, мои искренние слова больно кололи его. А я, разгорячившись, не мог остановиться:

— Вы отталкиваете от себя массы. Можно понять, когда наши враги-троцкисты всерьез обсуждают: а не лучше было бы, если бы Наполеон победил в двенадцатом году и Россия присоединилась бы к европейской цивилизации, а не встала бы над ней, диктуя свои условия? Для сионистов действительно актуальный вопрос.

— Не передергивайте, Николай Алексеевич. Идет борьба, и у меня было обычное политическое выступление в защиту быстрейшего экономического развития нашей страны.

— Разумею, чем диктовались ваши слова. Но это оскорбительно для русского народа. Наши предки поставили замечательный памятник национальным героям Минину и Пожарскому, мы чтили и чтим свято их имена, а те, кто стремится испохабить, уничтожить нашу историю, истребить национальное самосознание русских, жалеют о том, что этот памятник, как и вообще все наше прошлое, не удалось сровнять с землей. Знаете, как поэт Джек Алтаузен во всеуслышанье призывает расплавить памятник Минину и Пожарскому? Стихи сочинил:

Случайно мы им не свернули шею,
Подумаешь, они спасли Расею!
А может, лучше было б не спасать?..

— Чувствуете, какая наглая подлость? Дожили, допустили, чтобы сионисты так рассуждали о нашей истории! Не Россия им нужна, а наша территория после семнадцатого года, населенная серыми мужиками. Это что, классовый подход, как вы говорите?

— Это спекуляция на классовом подходе,— резко ответил Сталин.

— Где грань? Попробуйте разобраться сами,— сказал я и, круто повернувшись через левое плечо, ушел от Иосифа Виссарионовича.

Не люблю ссор, не люблю стычек с людьми, которые мне дороги. Бывало так: скажу что-нибудь в повышенном тоне, а потом совесть мучает — зачем лишняя трата нервов? Но в этот раз я нисколько не раскаивался. Есть нечто такое, чего нельзя прощать даже лучшим друзьям, иначе утратишь себя, свое место в этом большом и шатком мире.

Одним из недостатков Советской власти я считаю то, что она никогда не заявляла о своей борьбе за счастьем и могущество нашего общего Российского государства. Странная, страусиная тактика! Ясно, что, не будь России, мощного притягательного ядра, все объединение рассыплется на мелкие, незначимые и поработимые крупными соседями части. Зачем же умалчивать об этой реальности?! Объяви мы, к примеру, в годы гражданской войны, что боремся за свободную, единую Россию, в которой все равны, так и сражений бы ожесточенных не произошло, во всяком случае накал их был бы значительно слабее. Кому охота биться против своих!.. Думаю, что отсутствие четких общенациональных лозунгов и призывов было на руку Троцкому: в расплывчатой космополитической стихии ему с соратниками легче было разжигать страсти, воду мутить, власть держать.

А Иосиф Виссарионович в тот раз сам явился ко мне с извинениями. Редко, очень редко такое случалось с ним: он признал собственную неправоту! Произнес проникновенно:

— Дорогой Николай Алексеевич, я допустил промах. Понимаю основательность и верность ваших суждений.

Раскаяние было искренним.

Возможно, именно тогда начался поворот в сознании Иосифа Виссарионовича, который со временем привел его к совершенно противоположной трактовке русской истории. Особенно это проявится у Сталина в военные годы. Вспомним его призывы гордиться военной славой Александра Невского, Дмитрия Донского, Богдана Хмельницкого, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Он восхищался мастерством Ушакова и Нахимова, чтил Ивана Грозного и Петра Первого, узрев в себе их продолжателя в деле возвеличивания Российского государства, теперь социалистического.

Он прочитал со временем почти все серьезные книги по русской истории: он гордился славным наследием россиян и с конца тридцатых годов говорил с любой трибуны, и внутренней и международной, не иначе как «мы, русские», подчеркивая тем самым непосредственную связь с прошлым, преемственность. Иосиф Виссарионович сумел подняться до понимания, что он представляет великую, огромную, многонациональную, единственную в своем роде Россию. Он осознал сие, преодолев жесткие рамки своих политических убеждений, и это делает ему честь!

18

Будучи несогласным с поступками Сталина в период коллективизации и последовавшего затем смертоносного голода, а также видя, что слова, советы мои не оказывают на него заметного влияния, не приносят пользы, я расстался бы с Иосифом Виссарионовичем и, найдя спокойную службу, занялся бы воспитанием своей дочки. Лишь одно обстоятельство не позволяло уйти. Простая порядочность говорит о том, что нельзя покидать товарища, когда ему худо. А Сталин переживал далеко не лучшие дни. Жестокость, торопливость и непродуманность при создании колхозов, страшная, растянувшаяся на несколько лет голодовка, выкосившая население целых уездов, статья «Головокружение от успехов», поставившая под удар работников низового и среднего руководящего звена, расплатившихся карьерой и жизнью за чужие ошибки,— все это привело к тому, что авторитет Иосифа Виссарионовича в партии резко упал. Открыто говорилось: Сталин становится диктатором, дальше так продолжать не может, партии нужен другой, более разумный, справедливый, демократичный руководитель, свободный от груза допущенных глупостей. Иосиф Виссарионович не мог не знать об этом и с особой тревогой ждал предстоящего съезда партии, как всегда интригуя, готовя в делегаты нужных людей. Но беда в том, что нужных и послушных становилось все меньше: колебались даже давние приверженцы Сталина.

И в семье опять было скверно. Собственно, семьи-то уже не существовало, одна видимость, внешняя форма, соблюдавшаяся ради детей, ради престижа. Еще в тридцатом году Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна окончательно перестали быть мужем и женой в общепринятом понимании этих слов. Решительно отказалась от супружеских обязанностей Надежда Сергеевна. У нее имелась отдельная комната, где она и спала. А Иосиф Виссарионович отдыхал где придется. На диване в маленькой комнатке рядом со столовой или в домашнем кабинете на кушетке, если долго засиживался за работой. Довольно часто оставался на нашей общей квартире, где заботами Власика всегда застлана была узкая железная койка с жесткой пружиной, стояла в буфете бутылка вина, имелась непортящаяся закуска. Мы разговаривали по ночам. Иосиф Виссарионович не жаловался, но выглядел плохо.

Опять это подчеркнутое, слишком уж невозмутимое спокойствие: много душевных сил тратилось на то, чтобы выглядеть совершенно нормальным, невозмутимым, хладнокровным.

Трудно было Иосифу Виссарионовичу, но он держался без срывов. А Надежда Сергеевна оказалась слабее. Неурядицы в доме, постоянное напряжение измотали ее. Тридцатилетняя женщина, казалось бы полная сил, превратилась в форменную неврастеничку, несколько раз с ней случались истерики, сопровождавшиеся судорогами. Мужа она возненавидела, это отразилось и на отношении к детям. Они были неприятны Надежде Сергеевне, раздражали ее, она старалась меньше видеть их. Маленькая Светлана, пожалуй, не чувствовала наступившего отчуждения, а Василий болезненно переживал незаслуженную обиду, присматривался и уже понимал кое-что. В мальчишеской душе накапливались подозрительность, недоброжелательность не только к матери, но и вообще к женской половине человечества.

Надежда Сергеевна легко чувствовала себя лишь

среди сверстников, с которыми занималась теперь в Промакадемии, надеясь получить специальность и стать совершенно независимой от Иосифа Виссарионовича. Любила бывать среди незнакомых и малознакомых людей, никому не говорила, кто она, скрывала фамилию. Отказывалась ездить на машине, одевалась как можно скромней. Слишком уж подчеркивала самостоятельность, отчужденность от мужа: лишним и ненужным все это было, осложнялось и без того напряженное состояние и Сталина, и ее самой.

Лучший выход из тупика был таков: Надежда Сергеевна заканчивает академию и едет работать в Харьков. Коллега по академии Никита Хрущев обещал обо всем позаботиться. Кроме того в Харькове была сестра Анна, муж которой Станислав Реденс являлся одним из руководителей украинских чекистов. Подобным образом Надежда Сергеевна собиралась поступить, и все были бы довольны, но помешал случай.

Отмечалась пятнадцатая годовщина Октябрьской революции. После торжественной части состоялся товарищеский ужин в узком кругу, проще говоря — банкет. Иосиф Виссарионович не отличался чревоугодием, не пил много вина, но любил продемонстрировать этакое широкое гостеприимство, чтобы стол ломился от яств на все вкусы, чтобы красовались батареи различных бутылок. Так было и в этот раз.

Рядом со Сталиным сидела Надежда Сергеевна в строгом темном платье. Дальше — ее подруга Полина Семеновна Молотова (Жемчужина) с Вячеславом Михайловичем. Был Ворошилов с Екатериной Давыдовной, Орджоникидзе с Зинаидой Гавриловной, Куйбышев со своей Евгенией Коган и все другие, кому полагалось присутствовать на таких мероприятиях. Обстановка дружеская, настроение радостное, подогретое соответствующим образом. Провозглашались тосты: за победу революции, за партию, за достигнутые успехи, за мудрое руководство и, разумеется, лично за товарища Сталина.

Женщины пригубливали. Некоторые основательно. Мужчины пили. Только Надежда Сергеевна каждый раз ставила свой бокал совершенно нетронутым. На это не обращали внимания, так как всем было известно: она вообще в рот не берет никакого зелья. Даже с Иосифом Виссарионовичем, который, по грузинскому обычаю, считал, что к обеду и за ужином на столе должна быть бутылка вина и каждый, включая детей, может пить по желанию, даже с ним конфликтовала по этому поводу в первые годы совместной жизни. Хотя, конечно, в расхождениях между ними сие не было главным.

После тоста, очень приятного для него, Иосиф Виссарионович повернулся к жене:

— За это нельзя не выпить. Хотя бы один раз.

— Ты же знаешь Иосиф,— сдержанно произнесла она.— Тем более сейчас, за этим столом.

Ему бы промолчать, не обратить внимания на ее каприз, не обострять, но он был уже разгорячен вином.

— Почему?

— Совесть не позволяет.— Голос звучал напряженно и резко.

А Сталин опять не понял или не захотел понять, что Надежда Сергеевна взвинчена, что она на пределе. Спросил:

— При чем тут совесть?

— Пир во время чумы! — вырвалось у нее.— Сборище демагогов! Вы тут болтаете о своих успехах, изощряетесь в похвалах, превознося друг друга, а по стране стон катится от ваших мудрых решений, половина земли не возделывается, мужики в город бегут, тюрьмы забиты до отказа...

— Перестань! — оборвал ее Сталин, поняв наконец, что началась очередная истерика.— Замолчи!

— Не хочу больше молчать! Вы разглагольствуете о свободе и демократии, а другим не даете и рта раскрыть! Люди затихли, люди запуганы, а я не могу и не буду! Вы за роскошным столом жуете утиную постромку, закусываете мандаринами и рассуждаете, какой шашлык лучше, какой коньяк приятней, а в эти минуты тысячи деревенских детей умирают с голода на руках беспомощных матерей. А чтобы никто не знал об этом в столице и за границей, ваши войска оцепили районы, охваченные голодовкой, не позволяют людям выйти оттуда, ваши подручные сжигают вымершие деревни вместе с трупами, чтобы не осталось никаких следов. Кучка авантюристов, вот вы кто! Злобные карлики[1], связанные круговой порукой!

Сталин растерялся, но растерянность быстро сменилась гневом. Лицо стало не просто бледным, как обычно в таком состоянии, а почти белым, глаза горели яростью. Будь у него револьвер, он застрелил бы, наверно, жену. Он протянул руку, намереваясь заткнуть ей рот, но я, опомнившись, вклинился между ними, повлек Надежду Сергеевну к выходу. Она уже не могла произносить слова, они клокотали в стиснутом спазмами горле. Тело дергалось и было таким горячим, что от Надежды Сергеевны веяло влажным жаром.

Мне помогала Полина Молотова, тоже весьма возбужденная, выкрикивавшая что-то в поддержку подруги.

Все произошло очень быстро, в считанные секунды. На дальних концах стола даже не заметили этой сцены. А кто заметил — не разобрался. Ну, а те, кто находился ближе к Сталину, сумели сохранить выдержку. И хотя настроение некоторых товарищей было испорчено, застолье продолжалось своим чередом. И тосты звучали прежние, правда, их теперь произносили те, кто сидел в отдалении.

Полина Молотова погуляла с подругой по ночному Кремлю. Убедившись, что Надежда Сергеевна более-менее успокоилась, отправила ее спать. А Иосиф Виссарионович засиделся в тот раз за столом дольше обычного. Пил коньяк, был мрачен, обдумывал что-то. Представляя, в каком состоянии он находится, какие глупости может натворить, я не уезжал, поджидая его. Предложил:

— Провожу вас.

Сталин промолчал. И вообще, пока шли до его подъ-

---

[1] Действительно, все тогдашние соратники Иосифа Виссарионовича, как и он сам, были невысокого роста: Молотов, Киров, Орджоникидзе, Ворошилов, Андреев... (*Примеч. автора.*)

езда, произнес всего лишь одну фразу, прозвучавшую, как приговор:

— Она опозорила меня; она — враг!

В окне Надежды Сергеевны, несмотря на позднее время, горел свет. Я попросил Иосифа Виссарионовича не наведываться сейчас к ней, а выяснить отношения завтра, когда успокоятся нервы. Он кивнул и скрылся за дверью.

А дальше было вот что. В семь часов Каролина Тиль, занимавшая несколько странную должность коменданта кремлевских квартир, пожилая, очень аккуратная и пунктуальная немка из Риги, вошла, как всегда, к Аллилуевой, чтобы разбудить ее и пригласить к завтраку. Переступила порог и вскрикнула от ужаса: Надежда Сергеевна лежала на полу возле кровати в луже загустевшей крови, уже подернувшейся черной коркой. В руке пистолет, подаренный братом Павлом.

Опомнившись от шока, Каролина Тиль бросилась в детскую, подняла там няню — Сашу Бычкову. Вместе они сделали то, что показалось им самым важным: постарались, чтобы труп не выглядел безобразно, отталкивающе. Обмыли Надежду Сергеевну, переодели ее, вытерли кровь. То есть, не желая того, убрали все, что помогло бы следователю установить истину. Впрочем, никто и не решился бы проводить следствие.

Лишь наведя в комнате полный порядок и принарядив покойницу, Тиль и Бычкова позвонили Полине Молотовой, а затем и Енукидзе — начальнику охраны Кремля. А Иосиф Виссарионович между тем все еще спал в комнате рядом со столовой, ни у кого не было достаточно мужества разбудить его и сообщить новость. Приехали Ворошилов и Молотов, квартира была полна людей, когда Сталин наконец проснулся, прислушался:

— Что происходит?

Я решил: надо сказать все с глазу на глаз, подготовить его. Услышав страшное известие, он напрягся, как тугая струна. Крепко сцепив пальцы рук, покачивался взад и вперед, сидя на постели, не поднимая головы. Потом глянул на меня какими-то странными, застывшими и пожелтевшими глазами, произнес:

— Еще один удар в спину!

— Надо идти туда, Иосиф Виссарионович.

— Сейчас?! — вздрогнул он.

— Чем скорее, тем лучше. А то просто неудобно.

В комнате Надежды Сергеевны он осмотрелся опасливо, будто впервые попал сюда, шагнул к кровати, но не нагнулся, не поцеловал жену, только пристально глядел на нее. Каролина Тиль передала Иосифу Виссарионовичу письмо, обнаруженное на столе и адресованное ему. Сталин механически развернул бумагу, начал читать, потом быстро оборотился ко мне, лицо его выражало гнев и недоумение. Протянул мне лист, посмотрите, мол, что же это такое? Но мне в те минуты было не до письма, смерть молодой женщины потрясла меня. Запомнились лишь первые резкие строки, повторявшие то, что Надежда Сергеевна высказала на банкете. «Надо быть воистину гениальным человеком, чтобы оставить без хлеба такую страну, как Россия». И тут же сугубо личный упрек: она забыла, она даже припомнить не может, когда вместе ходили в театр...

Раздались какие-то возгласы, испуганный плач Светланы, и не скажу точно, сам я в этот момент вернул письмо Иосифу Виссарионовичу или он взял его из моих рук. Не взглянув больше на покойницу, вышел из комнаты. В дальнейшем я не видел этого письма, вероятно, Сталин уничтожил его. Потом он вспоминал о нем раз или два, с трудом сдерживая гнев.

Предсмертное послание Надежды Сергеевны окончательно отринуло Иосифа Виссарионовича от жены, зачеркнуло все хорошее, что было прежде у них. Даже на похоронах не смог Сталин преодолеть всколыхнувшуюся ненависть. Когда близкие прощались с покойницей дома, он подошел к гробу, склонился над ним. Что там увидел, что почувствовал — одному лишь ему известно. Лицо Иосифа Виссарионовича исказилось судорожной гримасой: злость, страх, недоумение читались на нем. Резкий отталкивающий жест правой руки был таким сильным, что гроб качнулся, голова Надежды Сергеевны сдвинулась на подушке.

Сталин быстро пошел к двери.

Гроб с телом Надежды Сергеевны был перевезен в помещение хозяйственного управления ЦИК, где впоследствии разместился ГУМ. Здесь состоялась гражданская панихида. Иосиф Виссарионович провел возле гроба жены лишь несколько минут: его снимали фотокорреспонденты. Я назвал бы это своего рода кратким визитом вежливости. Сталин отдал необходимую протокольную дань.

Провожать жену на Новодевичье кладбище он не поехал. Я, конечно, понимал психическое состояние Иосифа Виссарионовича, и все же его действия показались мне странными. Он редко поддавался эмоциям и почти никогда не руководствовался ими. Рассудочность, логика — вот что для него характерно. Здравый смысл требовал, чтобы Сталин до конца присутствовал на траурной церемонии, продемонстрировал свою скорбь (о чем, кстати, и будет туманно сказано в официальных сообщениях).

Лишь спустя время мне стало ясно, что Иосиф Виссарионович и в тот раз не изменил себе, руководствовался именно рассудком, а не чувствами. На церемонии присутствовало много родственников Надежды Сергеевны, которые считали, что ее погубил муж, были женщины — свидетельницы последней безобразной ссоры. Кто-то мог не выдержать, особенно на кладбище, при людях оскорбить Сталина, бросить в него камень в прямом или переносном смысле. Иосиф Виссарионович вынужден был бы ответить, получился бы скандал, политические последствия которого трудно предвидеть. Так что осторожность была не излишней.

А на Новодевичьем он побывал через сорок дней после смерти жены вместе со мной, никого больше не поставив в известность.

Началась работа над памятником. Она была поручена скульптору И. Д. Шадру. Иосиф Виссарионович попросил меня предварительно побеседовать с Шадром. Задача была трудная, ответственная и даже щекотливая. К счастью, скульптор сумел уловить некоторые нюансы. Во всяком случае памятник не вызвал у Сталина возражений и в 1933 году был

установлен на кладбище, удивляя своей необычностью. Православные захоронения всегда возвышаются над уровнем земли, будь то холмик или каменная плита. А здесь наоборот: беломраморная плита образует некое элегантное углубление, раскрытие, из которого вырастает беломраморный же столбик с закругленной верхушкой в виде женской головки. За столбиком, в углублении — небрежно брошенная черная роза. Через некоторое время, не знаю когда и по чьему указанию, мраморная роза была заменена более аляповатой бронзовой, которая, впрочем, тоже вскоре потемнела, почернела[1]. Все связанное с женой, напоминавшее о ней, было настолько неприятно Иосифу Виссарионовичу, что он, после смерти Надежды Сергеевны, решил даже сменить квартиру. Из Петровского дворца его семья перебралась в здание Совнаркома.

---

[1] Удивительное дело: на рубеже семидесятых — восьмидесятых годов черная роза была срублена, исчезла с надгробья. Кому и зачем понадобилось убрать этот символ аллилуевских женщин? Уж не Светлане ли, которая в этот период на некоторый срок возвращалась в нашу страну из эмиграции?! (*Примеч. автора.*)

(Продолжение в следующем номере.)

Владимир Дмитриевич Успенский

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК ВОЖДЯ

РОМАН-ИСПОВЕДЬ

Книга первая

Учредители: **ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «РОМАН-ГАЗЕТЫ», ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ, СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР**

Редактор С. Гладкова

© Иллюстрации худ. А. Дудина

Художественный редактор *А. Моисеев*
Технический редактор *Л. Синицына*
Корректоры *О. Журавлева* и *Н. Гришина*

© Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 10.12.90. Подписано в печать 10.02.91. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 17,7. Тираж 2 886 000 (1-й завод 1—2 386 000 экз) Заказ 2440. Цена 1 р. 10 к.

Адрес редакции: Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской обл.

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.
Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отсылать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ, ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Наш подписчик В. Огнянников из Кривого Рога обратился к читателям «Роман-газеты» с предложением создать фонд «Роман-газеты». Он пишет: «Обращаюсь к тем, для кого «Роман-газета» давно стала любимым изданием, к тем, кто впервые на нее подписался, к тем, кто ее купит в киоске или возьмет для чтения у своих друзей. Обращаюсь к подписчикам и всем читателям, кому дорог журнал.

Из множества изданий только коллектив редакции «Роман-газеты» позаботился о нас, читателях, и не повысил подписную цену на текущий год. Неправильно было бы думать, что наступивший год не поставил перед редакцией таких же острых проблем, как и перед коллективами других изданий, а именно: резкое возрастание стоимости бумаги, полиграфических услуг, расходов по транспортировке и доставке и многих других, не видимых читателями.

Однако все эти трудности для «Роман-газеты» не затмили главного — ЧИТАТЕЛЯ.

Дорогие товарищи! Обращаюсь к Вам с предложением оказать помощь нашему журналу, который остался верен интересам читателей. Нас, подписчиков, более трех миллионов, а точное количество всех читателей трудно и даже невозможно назвать. И если мы поддержим журнал материально, хотя бы в размере до 5 рублей каждым читателем — это будет наша помощь журналу.

Больно становится за отсутствие необходимого внимания к «Роман-гезете» и другим, пользующимся большим спросом изданиям. В то же время прилавки магазинов завалены годами пылящейся макулатурой, для издания которой находятся деньги, бумага, полиграфические мощности. Нет одного — спроса.

Уважаемые товарищи! Еще раз призываю не оставить без внимания мое предложение и выражаю благодарность всем, кто его поддержит».

Просим Вас высказать свое мнение о предложении В. Огнянникова.

«В период подписной кампании я оформила подписку на первый квартал. 4 января продлила подписку до конца года, а через неделю мне вернули деньги обратно. Якобы продлить подписку нельзя. Почему? Неизвестно. Очень огорчена, так как не хотела бы терять подписку. Очень люблю «Роман-газету», выписываю ее много лет. С уважением И. Н. Фролова, учительница-пенсионерка, г. Москва».

Уважаемая Ираида Николаевна! Сообщаем Вам, что подписка во всех отделениях связи должна проводиться беспрепятственно, без всяких ограничений. Продление подписки на второе полугодие также проводится без ограничений.

Дорогие читатели!

В четвертом выпуске «Роман-газеты» за текущий год было опубликовано произведение В. П. Астафьева «Людочка». Хотели бы знать ваше мнение о произведении. Просим ответить на следующие вопросы:

1. Как современная жизнь отражена, на ваш взгляд, в этом произведении?
2. В чем и кто, по-вашему, виноват в случившемся?
3. Насколько безысходным представляется вам положение Люды? Оправдан ли ее поступок? Был ли другой выход и какой, по вашему мнению, из случившегося?
4. Есть ли в ком-либо из героев положительные черты и какие черты вы хотели бы увидеть в окружающих вас людях?
5. Возникает ли у вас надежда на улучшение жизни в железнодорожном поселке?

Ваши ответы просим прислать в редакцию не позднее 1 июля с. г.

Группа общественного литературного мнения

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ
Юрий БОНДАРЕВ
Семен БОРЗУНОВ
Витаутас БУБНИС
Олег ВОЛКОВ
Геннадий ГОЦ
Юрий ГРИБОВ
Владимир ГУСЕВ
Владимир ДУДИНЦЕВ
Александр ЖУКОВ (ответственный секретарь)
Сергей ЗАЛЫГИН
Феликс КУЗНЕЦОВ
Леонид ЛЕОНОВ
Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора)
Василий НОВИКОВ
Петр ПРОСКУРИН
Валентин РАСПУТИН
Леонид ФРОЛОВ

1 р. 10 к.

58-93

70782

РОМАН-ГАЗЕТА

7